

*Serial* ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

# ПОД ЗНАМЕНОМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1-2

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ



ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“  
МОСКВА—1926

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

**ПОД  
ЗНАМЕНЕМ  
МАРКСИЗМА**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ  
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

**№ 1-2**  
ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»  
МОСКВА - 1926

## СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
<i>П. Стучка.</i> —Ленинизм и аграрный вопрос . . . . .	5
<i>И. Разумовский.</i> —К воззрениям Ленина на государство и право . . . . .	31
—	
<i>А. Деборин.</i> —Энгельс и диалектика в биологии . . . . .	54
<i>Ник. Карев.</i> —Тектология или диалектика (К критике «Тектологии» А. Богданова) . . . . .	90
<i>А. Столяров.</i> —Субъективизм и марксизм . . . . .	115
<i>Гр. Баммель.</i> —Аксиоматика и диалектика . . . . .	137
—	
<i>А. Тимирязев.</i> —Предисловие к статье Бьеркнеса . . . . .	168
<i>Бьеркнес.</i> —Сила, которая поддерживает аэроплан . . . . .	168
<i>Б. Завадовский.</i> —Предисловие к статьям Ж. Леба . . . . .	179
<i>Ж. Леб.</i> —1) К сравнит. физиолог. центр. нервной системы . . . . .	180
2) Адаптация окраски у рыб и мозаичное зрение . . . . .	187
<i>А. Максимов.</i> —Об источниках и результатах упрощения в естество- знании . . . . .	189
—	
<i>Л. Рудаш.</i> —Грациади, политико-эконом и коммунист божьей милостью . . . . .	213
<i>В. Позняков.</i> —Гильфердинг или Маркс . . . . .	245
—	
Библиография.	
<i>Ник. Карев.</i> —IV Ленинский сборник . . . . .	268
<i>И. Луппол.</i> —Л. Фейербах. Сочинения, т. II . . . . .	270
<i>К. Н.</i> —А. Деборин. Книга для чтения по истории философии, т. II . . . . .	272
<i>Вас. Сметков.</i> —М. Бубликов. Борьба за существование и обществен- ность. Марксизм и дарвинизм . . . . .	273
<i>В. Позняков.</i> —И. И. Рубин. Физиократы . . . . .	276
—	
Сообщения и заметки.	
Условия приема в Институт Красной Профессуры на 1926—27 уч. г. . . . .	280
Условия приема и разверстка на Подготовительное Отделение И. К. П. на 1926—27 уч. г. . . . .	287

156154

## Ленинизм и аграрный вопрос.

П. Стучка.

Если К. Маркс самые животрепещущие вопросы социальной жизни в своем «Капитале»<sup>1)</sup> изложил в абстрактных формулах политической экономии, то Ленин, наоборот, самый абстрактный социальный вопрос немедленно конкретно ставил на практическую почву. Для него с первого же его выступления «теоретическая и практическая работа сливаются вместе в одну работу» (см. его «Друзья Народа»), а «без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества» (1920 г., XVII, стр. 315).

Так для Ленина и аграрный вопрос из вопроса (буквально) о земле превращается в вопрос о взаимоотношениях людей, вернее, целых классов людей, еще точнее—о революционной классовой борьбе, гражданской войне в деревне, об аграрной или крестьянской революции. Но Ленин был не только гениальный политик, он был и серьезнейший ученый, который ни одного политического шага не сделал без основательной научной подготовки. Для него и политика вообще, и революционная политика в особенности являлись не одним искусством, но и наукою.

Но работа Ленина не была мирною, спокойною работою. Систематических трудов, после его «Развития капитализма», писать ему пришлось немного. Он свои научные выводы делал на полях: в речах, воззваниях, публицистических статьях разбросаны эти мысли и ждут умелого систематического их изложения; притом изложения по диалектическому методу, с оценкою малейшего нового оттенка его мысли. Отличаясь примерной точностью определения важнейших моментов любого явления, дословно повторяя через десятки лет (благодаря феноменальной памяти) раз оформленные мысли, поскольку они остались без изменения,—он

<sup>1)</sup> Нелегко и К. Марксу дается это абстрактное изложение, и местами стихийно прорывается практический революционер Маркс, который отождествляет гражданскую войну с классовой борьбою и т. д. Иногда как бы кажется, что Маркс нарочно изложил социальную революцию абстрактными формулами «Капитала», чтобы—легально дойти до читателя. Повидимому, это наше субъективное впечатление из дореволюционного прошлого.

без малейшего колебания отбрасывал то, что он признал устаревшим или, внося одно или пару новых слов, придавал старой мысли совершенно новые оттенки; для него не существовало абстрактной, вечной истины, для него истина всегда была конкретна в данный исторический период, в данном месте, в данных условиях.

И по аграрному вопросу Ленин не дает нам цельной теории. Его «Капитализм в сельском хозяйстве», «Критика в аграрном вопросе», «Аграрная программа и т. д.» и «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии» могут считаться образцами научной работы, но первые три работы представляют критические, полемические работы, а последняя его работа о сев.-амер. земледелии осталась незаконченной, ибо вышла, как и «Госуд. и революция», только первая часть. А до сих пор нет аграрной теории, кто бы привел в систему все разбросанные на аграрные темы мысли Ленина, популяризуя, разъясняя, а затем и дальше развивая их. Я, хотя и не считая себя достаточно компетентным, не считал себя вправе отказаться от сделанного мне предложения дать набросок на эту тему. Но я вынужден ограничиться лишь беглыми заметками, как бы вроде конспекта на отдельные темы, скорее лишь выдвигая отдельные вопросы, чем давая на них ответы.

## I.

**Основное для революционного марксиста противоречие аграрного вопроса: крупное именьице и крестьянское хозяйство.**

I. «Если говорить о сельском хозяйстве в общем и целом, то... вполне можно сказать, что крупное производство имеет решительное превосходство над мелким... Именно индустрия... создала технические и научные условия нового, рационального земледелия, именно она революционизировала земледелие посредством машин и искусственных удобрений, посредством микроскопа и химической лаборатории, породив, таким образом, техническое превосходство крупного капиталистического производства над мелким крестьянским производством» (Слова Каутского, цитированные Лениным, 1900 г., IX, стр. 7).

II. «У крестьянина есть только вполне назревшее, выстрадавшее, так сказать, и закаленное долгими годами угнетения требование обновить, укрепить, упрочить, расширить мелкое земледелие, сделать его господствующим — и только. Крестьянину рисуется только переход помещичьих латифундий в его руки»<sup>1)</sup> (Ленин, 1907 г., IX, стр. 506).

Какой вывод напрашивается из этих двух, для революционного марксиста бесспорных, тезисов? Сам Ленин формулировал

<sup>1)</sup> Курсив всюду мой. П. Ст.

этот ответ в 1902 г. словами: «Вообще говоря, поддержка мелкой собственности реакционна, ибо она направляется против крупного капиталистического хозяйства, задерживая, следовательно, общественное развитие, затемняя и сглаживая классовую борьбу».

Не звучат ли ныне эти последние слова некоторым анахронизмом? Если дело обстоит так, то какие нам могут быть крестьяносоюзники? Не зачислят ли нас за подобные цитаты в отъявленные социал-демократы, цитирующие искусственно подобранные и вырванные из общей связи слова Ленина против ленинизма, как раз наоборот, провозглашающего, что без поддержки крестьянства невозможна ни российская, ни всемирная революция? Нет, — ответим мы определенно, — эти слова представляют собою лишь действительное, реальное противоречие жизни, без разрешения которого, как мы ныне знаем, была бы невозможна пролетарская революция вообще.

Конечно, и Ленин не сразу разрешил это противоречие. Без колебаний и сомнений Ленин дошел до его разрешения. Без гениальной диалектики Ленина эта задача, может быть, осталась бы нерешенной поныне.

Ныне, обогащенные опытом 1917—1918 годов, мы иначе оцениваем и факты прошлого. Мы видим, как и прежде ставилась жизнью эта задача, но она прошла незамеченной и, по крайней мере, нерешенной. Правда, и у Маркса, в его переписке с Энгельсом, мысль о необходимости вовлечь крестьянство в пролетарскую революцию вскользь была затронута, когда он в 1856 году писал Энгельсу о возможном прикрытии тыла пролетарской революции в Германии новым изданием великой крестьянской войны, той великой крестьянской революции, четырехсотлетие со времени поражения которого так незаметно прошло в истекшем 1925 году<sup>1)</sup>. Правда, Фр. Энгельс увлекся историей этой революции, но он ее оценивал лишь как потерпевший поражение буржуазный переворот XVI столетия. Проблему крестьянской революции полностью охватил и решил лишь Ленин. Как он дошел до этого решения?

В чем заключалась первоначальная аграрная программа Ленина? Его проект программы, написанный в тюрьме в 1895—1896 г.г., требовал: «Для крестьян... отмены выкупных платежей и вознаграждения крестьян за уплаченные выкупные платежи, возвращение крестьянам излишек уплаченных в казну денег и возвращение крестьянам отрезанных от них в 1861 году земель». Это все, и этого не мало. Но Ленин дальше тогда не шел и не мог идти, ибо он еще — боялся за цельность

<sup>1)</sup> См. мое предисловие к Э. Баумгартнер «Великая крестьянская война (1525 г.)». 259 стр. Москва. 1925 г.

крупных имений, хозяйство которых, как он сам тогда показывал так блестяще, все более и более принимало характер капиталистического производства, со всеми его техническими преимуществами для трудящегося человечества. Правда, уже в 1902 г., как мы ныне узнаем из напечатанной в III Ленинском сборнике рукописи статьи Ленина об аграрной программе партии, Ленин выдвинул лозунг национализации земли, но эта мысль, ввиду резкой оппозиции Плеханова против этого лозунга, в столь же резкой форме Лениным была исключена из этой статьи, отнюдь не отказываясь от этой мысли.

Как известно, в 1902 г. Ленин в аграрную программу, необходимость которой вообще тогда оспаривалась весьма многими товарищами, внес требование возвращения «тех отрезков, которые служат орудием закабаления», т.-е. орудием крепостнической (в отличие от капиталистической) зависимости. Эта формула, с удалением из нее по требованию остальных редакторов, особенно Плеханова, слова о закабалении, так и вошла в программу. Ограничительные слова о закабалении показывают, что Ленин еще стоит за сохранение в процессе буржуазной революции крупного капиталистического производства. Но, — продолжает Ленин, — «другое дело — национализация земли. Это требование (если понимать его в буржуазном, а не социалистическом смысле) действительно идет дальше требования вернуть отрезки, и в принципе мы вполне разделяем это требование. В известный революционный момент мы не откажемся, разумеется, его выдвинуть. Но теперешнюю свою программу мы составляем не только и даже не столько для эпохи революционного восстания, сколько для эпохи политического рабства, для эпохи, предшествующей политической свободе. А в такую эпоху требование национализации земли гораздо слабее выражает непосредственные задачи демократического движения в смысле борьбы с крепостничеством». Не отказываясь от своей мысли и не соглашаясь на ее смягчение, Ленин в ответ на возражение Плеханова и товарищей, не различавших национализации демократической от социалистической, вычеркнул пока в своей статье все сказанное о национализации вообще.

Это было весной 1902 года, т.-е. до крестьянских волнений 1902 года. Но еще и в августе 1902 года Ленин отстаивает также энергично свою программу отрезков во имя правого понимания марксизма: «Не делая себе иллюзий на счет возможности процветания или даже сносного существования мелких производителей в капиталистическом обществе... мы требуем полной и безусловной, не реформаторской, а революционной отмены и уничтожения крепостничества». Но и тут он сделал оговорку: «Мы становимся таким образом — в виде исключения и в силу особых исторических обстоятельств — защитниками мел-

кой собственности, но мы защищаем ее лишь в борьбе против того, что уцелело от старого режима» (1902 г., IX, стр. 315).

С ходом революции Ленин все более и более убеждается в недостаточности требования об отрезках. 16 марта 1905 года он уже пишет: «До сих пор у нас в программе было выдвинуто требование возвращения отрезков, а в комментариях к программе указывалось, что отрезки вовсе не загородки, а дверь, чтобы идти дальше... Теперь перед лицом революционных событий невольно возникает вопрос: не целесообразнее ли перенести такое положение нашей тактики из комментариев в самую программу». «В предлагаемой формулировке в программу внесено то, что до сих пор обыкновенно развивалось в комментариях, отрезки же из программы переносятся в комментарии. Этим... программа раз навсегда устраняет нелепую мысль, будто (революционные) с.-д. говорят крестьянину, что дальше отрезков он не может и не должен идти» (VI, стр. 117, 118).

Теперь, после опубликования первоначального проекта статьи 1902 г., мы лучше понимаем смысл его слов «двери, чтобы идти дальше». И как только в январе 1905 года наступает «начало революции» в России, Ленин в своем письме III Съезду 30 марта («Вперед» № 12) решительно выдвигает свой новый проект аграрной программы. Он приводит в исполнение свою мысль 1902 г.: «Теперь, перед лицом революционных событий, невольно возникает вопрос: не целесообразнее ли перенести такое положение нашей тактики («что пролетариат охотно поддержит крестьянство на дальнейшем пути», т.-е., чтобы «добить до конца помещика, отнять у него всю землю») — из комментария в самую программу». Эта мысль вылилась в его проект «об образовании революционных крестьянских комитетов... для принятия революционных мер к улучшению положения крестьянства, к оставлению их перед отнятием земли у помещиков».

Третий Съезд партии программы не пересмотрел, но в резолюцию об «отношении к крестьянскому движению» была внесена эта мысль об «энергичной поддержке всех революционных мероприятий крестьянства, способных улучшить его положение, вплоть до конфискации помещичьих, казенных, церковных, монастырских и удельных земель». А Таммерфорская конференция большевиков (в декабре 1905 года) признала уже необходимым изменить и программу: «пункт об отрезках устранить; вместо него поставить, что партия поддерживает революционные мероприятия крестьянства вплоть до конфискации всей государственной (и т. д.) и частновладельческой земли».

— Как объясняет сам Ленин это постепенное изменение своих программных требований? «Ход событий показывал, что этот пункт программы неудовлетворителен, ибо движение крестьянства растет вширь и вглубь с громадной быстротой, и наша программа в широких массах порождает недоумения» (февраль 1906 г., т. IX, стр. 395). А в 1907 г. он пишет еще более определенные слова: «Решает вопрос программа 1903 г. неверно». Но Ленин тут же дает и пояснение этой ошибке: «Здесь надо принять во внимание, что отсутствие открытого массового движения не позволяло тогда решить вопроса на основании точных данных... Никто не мог учесть, как велик слой сельскохозяйственных рабочих..., насколько обособились их интересы от интересов разоренной крестьянской массы. Основной ошибкой аграрной программы 1903 г. было, во всяком случае, отсутствие точного представления о том, из-за чего может и должна развернуться аграрная борьба в процессе буржуазной российской революции».

Значит, переоценку проникновения капиталистических отношений в деревню и связанной с ними классовой борьбы наемного рабочего (батрака) и капиталистического сельского хозяина Ленин объясняет ориентацию партии в программе 1903 г. (на один отрезки). Раз эта переоценка обнаружилась, раз в деревне преобладала еще классовая борьба крестьянства, как класса — сословия, за всю землю, за ликвидацию помещика и вместе с тем крепостничества, — Ленин решает, что наступил момент, когда в крестьянском движении преобладает революционный момент над реакционным (см. дальше), и он выставляет лозунг национализации без выкупа, т. е. конфискации всей помещичьей земли. Сначала робко — как поддержку требования крестьян, если они его выставят, а вслед за тем и как прямой революционный лозунг.

Чем объяснить эту постепенность нарастания лозунга? Теми же колебаниями между крупным и мелким хозяйством? Тою же борьбою «двух душ»? Едва ли. Скорее всего тем упорством, с каким прочие тогдашние светила русской с.-д., как-то: Плеханов, Мартов, Аксельрод, не говоря уже о менее видных людях, держались за мысль, что требование национализации или конфискации земли есть требование не буржуазной, а социалистической революции (см. Ленинский сборн. III). Лишь Стокгольмский Съезд, после событий 1905 г. и в связи с крестьянскими волнениями в России, присоединился к лозунгу конфискации, но одновременно обезвреживая, вернее извращая это требование — своим меньшевистским требованием муниципализации.

Ленин ставил условием поддержки конфискации помещичьей земли демократическую республику; но он, уже наоборот, не ставит условием этого лозунга потенциальную (возможную) ре-

волюционность крестьянства, а убежден, что лозунг конфискации неизбежно превратит крестьянство в опору революции и, после победы революции, опору демократии — против класса помещиков. Оправдались ли надежды Ленина? Он сам писал после 1917 г.: «На эту борьбу против помещиков не могли не подняться и поднялись в действительности все крестьяне» (Ленин, декабрь 1918 г., XV, стр. 590).

Ленин всегда придерживался того мнения, что для успеха революции необходимо «умение идти на максимальные жертвы». Разбивка крепостнических латифундий ему, кроме того, казалась делом, которое легко будет исправлено свободным развитием капиталистических отношений. «Уничтожение крепостнических латифундий является в такой стране (как Россия. II. Ст.) требованием капиталистического развития. А это уничтожение при господстве мелкой культуры неминуемо означает большую «уравнительность» землевладения» (Ленин, 1907 г., т. IX, стр. 457).

Но — победила пролетарская революция, и вновь возникла старая борьба «двух душ». Как быть с национализированными помещичьими имениями? Ленин едва ли разделял хотя бы на минуту увлечения этими «хлебными и мясными фабриками» в России. Но теоретически он, конечно, тогда, как и до последней минуты жизни, был убежден, что базис коммунистического хозяйства может быть лишь технически превосходное крупное хозяйство. «Равным образом надо поощрять устройство из каждого крупного помещичьего имения образцового хозяйства с общей обработкой земли наилучшими орудиями, под руководством агрономов и по решениям Советов Депутатов от сельскохозяйственных рабочих». Так писал Ленин в мае 1917 г. (т. XIV, ч. 1, стр. 175).

Но русская (да, вероятно, и всякая иная) действительность переубедила во многом. Борьба за инициативу и производительность даже на самых современных фабриках стоила невероятных усилий. Советские сельские хозяйства в общем и целом в глазах Ленина превратились, «за отсутствием необходимых субъективных и объективных предпосылок для социализма», в богательни, где хозяева, как собака на сене, «сама не ест и другим не дает» (его слова в Совнарком). Он стоит за беспощадное наделение крестьянам всего того земельного фонда, в сохранении которого нет абсолютной технической необходимости. И это категорическое требование им переносится и в Коминтерн.

А как быть с прогрессом? Во-первых, интересы революции на первом месте. Во-вторых, прогресс тут играет уже не такую выдающуюся роль, ибо наши крупные капиталистические имения вовсе не представляли собою тип фабрики. Еще в 1913 году Ленин писал: «Капитализм в земледелии находится в стадии ближе к мануфактурной, если сравнить его эволюцию с эволюцией промышленности, чем к крупной машинной индустрии».

стрии. Ручной труд преобладает еще в земледелии и применении машин, сравнительно, чрезвычайно слабо» (IX, стр. 270).

В интересах поддержки революции и ее завоеваний Ленин смело делает ставку на крестьянина, на середняка. А революция сама решит проблему перехода к социализму. Его любимая цитата—фраза Наполеона: «On s'engage et puis on voit». «В вольном русском переводе это значит: сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет» (Ленин, XVIII, ч. 2, стр. 11).

«Нет никакого сомнения, что переход от капитализма к социализму мыслим в различных формах». Эти слова Ленина (март 1921 г., XVIII, ч. 1, стр. 151) надо сопоставить с его же учением о возникновении капиталистических отношений: «Капитализм подчиняет себе и преобразует по своему все эти различные формы землевладения... Процесс роста и победа капитализма во всех этих случаях однороден, но не одинаков по форме» (1913 г., т. IX, стр. 234). Изменяйте тут отдельные слова (*mutatis mutandis*), и вы найдете ответ и по отношению к социализму, к победе <sup>1)</sup> социалистического хозяйства над всеми остальными. Одну из схем переходных форм к социализму набросал нам сам Ленин: Советская власть—союз с крестьянством—смычка—кооперация—электрификация.

## II.

### Второе противоречие—две параллельных буржуазных революции: городская и крестьянская.

Если Ленин был крупнейшим теоретиком революции вообще, всемирной или пролетарской революции в особенности, то по отношению к аграрной революции его можно назвать первым и единственным до сих пор теоретиком, действительно научно поставившим вопрос об аграрной революции. Научная постановка изучения вопросов революции возможна только по революционно-диалектическому методу. А это не является методом книжным, кабинетным, и в применении этого метода Ленин был в своем роде единственным. Переняв от своих революционных предшественников все достойные сохранения и дальнейшего развития традиции, он эти традиции очистил от всякого субъективизма, романтизма, дуализма и поставил вопросы строго научно, по методам революционного марксизма. В частности по вопросу об аграрной революции он имел перед собою такие течения, которые в аграрной революции видели основу революции вообще, которые из мужицкого царства рабства надея-

<sup>1)</sup> Ср. слова Ленина: «Нет сомнения, что соц. революция в стране, где громадное большинство принадлежит к мелким землевладельцам-производителям, возможна лишь путем целого ряда особых переходных мер» 1921 г., март, XVIII, ч. 1, стр. 137)

лись перескочить в царство свободы трудящихся. Это было время, «когда каждый социалист был поэтом, и каждый поэт—социалистом». Ленин отбросил беспощадно их иллюзии, самым безжалостным образом их критикуя и высмеивая. Но в то время, как его товарищи по этой борьбе, отбрасывая теории народничества, видели в их аграрных иллюзиях только одну реакцию, Ленин на первых же своих шагах сумел открыть то, что в них было революционного, и не боялся признать это открыто.

Он писал: «Когда народовольцы, думая представить интересы «труда», уверяли себя и других, что 99% крестьян в будущем русском учредительном собрании будут социалистами, они попадали этим в ложное положение, неминуемо долженствующее привести их к безвозвратной политической гибели, ибо эти обещания и уверения не соответствовали об'ективной действительности» (т. VI, стр. 115). Он беспощадно высмеивал пошлый мещанский радикализм, в который выродилось народническое течение, но про их прошлое мы читаем у него: «Вера в особый уклад, в общинный строй жизни; отсюда вера в возможность крестьянской социалистической революции—вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством. И вы не можете упрекнуть соц.-демократов в том, что они не умели ценить громадной исторической заслуги этих лучших людей своего времени, не умели глубоко уважать их памяти» (1894 г., I, стр. 178).

Сам Ленин так и формулировал разрыв «учеников» (т.-е. марксистов) с лучшими традициями лучшей части русского общества, как «очищение этих лучших традиций от народничества», т.-е. «романтического понимания самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п. в особенности».

В основу теории крестьянской революции Ленин кладет свое понимание дореволюционного крестьянства, как класса. Он пишет: «Поскольку сохраняются еще крепостные отношения, постольку «крестьянство» (Ленин это слово тут ставит в кавчечки) продолжает еще быть классом, т.-е. повторяем, классом не буржуазного, а крепостного общества» (IX, стр. 290). В другом месте он его прямо называет «классом-сословием». «Если одна часть общества присваивает себе всю землю—мы имеем классы помещиков и крестьян. А в чем сила класса помещиков? В земле. У помещиков десятки миллионов десятин земли. Поэтому миллионам крестьянских семей ничего не остается, как идти в кабалу к помещикам. Никакие свободы не помогут крестьянам, пока помещики владеют десятками миллионов десятин земли. Вот, пред вами вся проблема.



Свою теорию аграрной или крестьянской революции Ленин излагает впервые в своей статье 1902 г.<sup>1)</sup> «Аграрная программа русской соц.-демократии», ныне восстановленной по первоначальному тексту в III Ленинском сборнике. Полный текст ее, вместе с опубликованными письмами, как и поясняют издатели Ленинского Сборника, вскрывает интересные разногласия между Лениным и всем остальным коллективом редакции «Искры» и «Зари», имеющие ныне особый интерес в мировом масштабе. А затем эту теорию подробно развивает Ленин в своей замечательной работе «Аграрная программа с.-д. в русской революции 1905—1907 г.г.», написанной в конце 1907 г., а напечатанной в виде книги в 1917 году.

Деление буржуазной революции на две параллельные революции относится практически к революциям XIX и XX в.в., когда имеются налицо и капиталистические отношения, и пролетариат. Деление это, конечно, возможно провести и по отношению французской революции XVIII ст., но это не относится к нашей теме. По поводу революций XIX ст. Ленин отмечает одну особенность, что—и крестьянская революция ныне возможна лишь под руководством пролетариата. «Так как товарное производство не объединяет и не централизует крестьянство, а разлагает и разъединяет его, то крестьянская революция в буржуазной стране осуществима только под руководством пролетариата» (1907 г., IX, стр. 550).

«Всякая крестьянская революция, направленная против средневековья при капиталистическом характере всего общественного хозяйства,—есть буржуазная революция. Но не всякая буржуазная революция есть крестьянская революция. Если бы в стране с земледелием, организованным вполне капиталистически, капиталисты-земледельцы при помощи наемных рабочих совершили аграрную революцию, уничтожив, к примеру скажем, частную собственность на землю, то это была бы буржуазная, но вовсе не крестьянская и т. д. Такая революция вполне возможна, к ней, как указывает Маркс, когда-то стремилась английская буржуазия. Ныне, при существовании более или менее развитого пролетариата, она уже невозможна, ибо буржуазия боится последствий такой революции».

Возможна даже,—продолжает Ленин,—«буржуазная страна без крестьянства и возможна буржуазная революция в такой стране без крестьянства. Возможна буржуазная революция в стране с значительным крестьянским населением, и, однако, такая революция, которая отнюдь не является крестьянской революцией, т.-е. такая, которая не революционизирует специально

<sup>1)</sup> Удивительно, что эта статья неизвестными составителями сборника «Теория аграрного вопроса», Госиздат 1925 г., просто пропущена. Повидимому, ограничились прочтением заглавия и не нашли ее относящуюся к — аграрному вопросу.

касающихся крестьянства поземельных отношений и не выдвигает крестьянства в числе сколько-нибудь активных общественных сил, творящих революцию. Следовательно, общее марксистское понятие «буржуазная революция» содержит известные положения, обязательно применимые ко всякой крестьянской революции в стране развивающегося капитализма, но это общее понятие еще ровно ничего не говорит о том, должна ли (в смысле объективной необходимости) буржуазная революция данной страны стать крестьянской революцией, чтобы одержать полную победу, или не должна» (т. IX, стр. 554—555).

Значит, характер деревни данной страны предопределяет объективные условия возможности параллельно двух революций: городской и аграрно-крестьянской. А осуществление этой второй революции зависит уже от субъективных условий, в том числе и особенно от понимания своей роли в революции пролетариатом и его авангардом. Вот почему такая великая заслуга падает на Ленина.

Ленин эту свою теорию так и развивает подробнее на тему программных вопросов. Он, во-первых, вопреки мнению весьма многих влиятельных товарищей, вводит в программу (ненужную, по мнению этих других) аграрную часть и противопоставляет ее рабочей части ее, подробнее разбирая различие этих двух частей: «Коротко говоря, это различие можно бы формулировать следующим образом: в рабочем отделе мы не в праве выходить за пределы социально-реформаторских требований, в крестьянском отделе мы не должны останавливаться и перед социально-революционными требованиями. Или иначе: в рабочем отделе мы безусловно ограничены рамками программы-минимум, в крестьянском отделе мы можем и должны дать программу-максимум» (Сборник III, стр. 331).

Есть ли что-нибудь общего между этими отделами программы? «В обоих отделах мы излагаем не нашу конечную цель, а наши ближайшие требования. В обоих мы должны поэтому оставаться на почве современного (буржуазного) общества. В этом состоит сходство обоих отделов».

Из чего вытекает различие программы аграрной революции? Из самого различия обеих революций: «В рабочем отделе ближайших требований мы не можем ставить социально-революционных требований, ибо социальная революция, ниспровергающая господство буржуазии, есть уже революция пролетариата, осуществляющая нашу конечную цель. В крестьянском отделе мы ставим и социально-революционные требования, ибо социальная революция, ниспровергающая господство крепостников-помещиков (т.-е. такая же социальная революция буржуазии, каковой была Великая Французская Революция), возможна и на базе данного буржуазного порядка».

Кто является противником в каждой из этих революций? «Коренное отличие (частей программы) состоит в том, что рабочий отдел (нашей программы) содержит требования, направленные против крепостников-помещиков». А какие конкретные последствия вытекают из этих различий для наших требований? «В рабочем отделе мы должны ограничиться частными улучшениями данного, буржуазного порядка. В крестьянском мы должны стремиться к полному очищению этого данного порядка от всех остатков крепостничества. В рабочем отделе мы не можем ставить таких требований, значение которых было бы равносильно тому, чтобы окончательно сломить господство буржуазии: когда мы достигнем этой нашей конечной цели, достаточно подчеркнутой в другом месте программы и ни на минуту не упускаемой нами из виду при борьбе за ближайшие требования, тогда мы, партия пролетариата, не ограничимся уже вопросами о какой-нибудь ответственности предпринимателей или о каких-нибудь фабричных квартирах, а возьмем в свои руки все заводывание и распоряжение всем общественным производством, а следовательно и распределением. Наоборот, в крестьянском отделе мы можем и должны выставить такие требования, значение которых было бы равносильно тому, чтобы окончательно сломить господство крепостников-помещиков, чтобы совершенно очистить нашу деревню от всех следов крепостничества» (там же, стр. 332).

Из этих положений вытекают и различия в способах борьбы: «В рабочем отделе мы остаемся (пока и условно, с своими самостоятельными видами и намерениями, но все же так остаемся) на почве социальной реформы, ибо мы требуем здесь только того, что буржуазия может (в принципе) отдать нам, не теряя еще своего господства... В крестьянском же отделе мы должны, в отличие от социал-реформаторов, требовать и того, что никогда нам (или крестьянам) не будут и не могут дать крепостники-помещики, — требовать и того, что в состоянии только силой взять себе революционное движение крестьянства» (там же).

Наша задача в этой борьбе? «В крестьянских требованиях наше дело — определить, на основании научных данных — максимум этих требований и помочь товарищам бороться за этот максимум, а там уже пускай смеются над его «проблематичностью» трезвенные легальные критики и влюбленные в осязательность результатов нелегальные хвостисты» (там же, 336).

Ограничивается ли аграрная революция этими требованиями? «Красное знамя сознательных рабочих означает, во-первых, то, что мы поддерживаем всеми силами крестьянскую борьбу за всю волю и всю землю; во-вторых, оно означает то, что мы не останавливаемся на этом, а идем дальше. Мы ведем, кроме

борьбы за волю и землю, борьбу за социализм... Борьба за землю и за волю есть демократическая борьба. Борьба за уничтожение господства капитала есть социалистическая борьба».

Так Ленин отмежевывает понятие обще-крестьянской революции от буржуазной, городской революции, с одной стороны, от социалистической, — с другой. Он преследует тут отчасти чисто практические цели; он защищается от нападков с-демократов же на якобы преждевременное разжигание крестьянской революции: «Ради проблематичной возможности восстания крестьян в ближайшем будущем против крепостничества вы, мол, затрудняете в более или менее далеком будущем восстание сельского пролетариата против капитализма». Свой в высшей степени интересный ответ на это возражение Ленин (еще в 1902 г.) окончил весьма современными словами: «Для того, чтобы облегчить впоследствии нашим батракам и полубатракам переход к социализму, крайне важно, чтобы социалистическая партия сейчас же начала «вступаться» за мелкое крестьянство, делая для него «все возможное» с ее стороны, не отказываясь от участия в решении наболевших и запутанных «чужих» (непролетарских) вопросов, приучая всю трудящуюся и эксплуатируемую массу видеть в себе своего вожда и представителя» (стр. 349).

Как известно, Ленин октябрьскую революцию, особенно в ее крестьянской части, охарактеризовал как «доведение буржуазно-демократической революции до конца, как никто» (ни в Англии, ни во Франции). Над этим немало посмеивались невежды-с-предатели как Запада, так и наши собственные. Но еще задолго до того Ленин научно-марксистски обосновал эту мысль: что национализация земли является лишь доведением до конца буржуазной революции. А когда он впервые выдвинул лозунг национализации земли в буржуазном смысле в отличие от национализации в социалистическом смысле, то он (в 1902 г.) встретил возражения в виде: «Надо сказать, что национализацию земли мы принимаем только как непосредственный пролог к социализации всех средств производства» (Мартов) или «Национализация земли и как лозунг восстания — теперь анти-революционна» (Илеханов). Тогда Ленин ограничился резким примечанием: Неверно, далеко не всякая национализация «реакционна». Это «через шлею» (III Сборник, стр. 384—386).

Но тогда уже Ленин поставил вопрос о третьем противоречии аграрного вопроса: двух характерах или свойствах национализации, по отношению к земле. К этому же вопросу Ленин возвращается и впоследствии, и, прочтя ныне его статью

1902 г. в полном виде, я припоминаю небольшой факт, показывающий, когда Ленин окончательно решил тезис: национализация земли является лишь доведением до конца буржуазной революции.

То было в 1906 г. Только что вышел II том К. Маркса «Theorien über den Mehrwert» («Теории прибавочной стоимости»), под редакцию Каутского. Я, тогда еще в провинции (Витебске), получил эту книгу, и в одну из первых моих встреч с Лениным в Ленинграде я в разговоре об аграрном вопросе с восторгом отозвался о том, как Маркс в этой работе особенно рельефно излагает роль абсолютной ренты. Ленин книги еще не имел, и я должен был обещать прислать ее. Но уже через день он известил меня, что он ее получил в немецком книжном магазине на Невском. А вот что писал Ленин на основании этой работы К. Маркса вслед затем в 1907 г. в своей «Аграрной прогр. и т. д.» (т. IX, стр. 528): «Мне кажется, что в следующем рассуждении в «Теории прибавочной стоимости» Маркс отметил иные условия осуществления национализации, чем это обыкновенно думают. Показав, что землевладелец совершенно излишняя фигура для капиталистического производства, что цель этого последнего «вполне достигается», если земля принадлежит государству, Маркс продолжает: «Поэтому радикальный буржуа теоретически приходит к отрицанию частной собственности на землю... Однако на практике у него не хватает храбрости, так как нападение на одну форму частной собственности, на условия труда было бы очень опасно и для другой формы. Кроме того, буржуа сам себя территориализировал» («Theorien über den Mehrwert», II B., I Teil, S. 208)... «Маркс не указывает здесь, как препятствие осуществления национализации, неразвитость капитализма в земледелии. Он указывает два других препятствия, гораздо более говорящих в пользу мысли об осуществлении национализации в эпоху буржуазной революции. Первое препятствие: у радикального буржуа не хватает храбрости напасть на частную поземельную собственность в виду опасности... социалистического переворота. Второе препятствие: буржуа сам себя территориализировал... т.е. эта собственность стала гораздо более буржуазной, чем феодальной... но ни один класс не пойдет против себя». А вывод для пролетариата и крестьянства? На это Ленин отвечает (там же, стр. 532): «Моральное значение национализации в революционную эпоху состоит в том, что пролетариат помогает нанести такой удар «одной форме частной собственности», отзвуки которого неизбежны во всем мире. Пролетариат отстаивает самый последовательный и решительный буржуазный переворот».

Сравните после этого пророческие слова Ленина 1907 г. со словами его в 1921 г. в статье «К четырехлетней годовщине октябрьской революции» о «доведении до конца буржуазной революции, как никто».

### III.

#### Четвертое, внутреннее (имманентное) противоречие крестьянства: труженики и собственники.

Для прежнего исследователя деревни крестьянство, это — единая темная масса, оплот реакции, в лучшем случае, не отгадываемый сфинкс. В нем олицетворяется то противопоставление деревни городу, которое Маркс («Капитал», I, 343) охарактеризовал словами: «Основой всякого развитого разделения труда, осуществляющегося путем товарного обмена, является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся экономическая история общества резюмируется (заключается) в движении (развитии) этого противопоставления».

Вы помните, что Каутский в своем аграрном вопросе доказывает, как город подчиняет себе деревню и ее эксплуатирует. Но это подход экономический, я сказал бы, абстрактно-формальный. Что для нас означает город в социальном смысле? Это уже не единый город, а город, разделенный на два класса: капиталистов и пролетариев. Который же из этих двух классов подчиняет себе деревню? В первую очередь буржуазия — класс капиталистов. Буржуа, капиталист снабжает деревню, сиречь крестьянина, продуктами своей фабрики, т.е. труда класса рабочих, и уже путем этого снабжения [я здесь отбрасываю феодальные пережитки Запада] подчиняет себе крестьянство. Прибавим еще, и своим идейным влиянием.

А почему не сам рабочий класс его снабжает продуктами своего труда? Ответ простой: потому, что его труд непосредственно присваивает лишь класс капиталистов. Ну, а если этот класс капиталистов экспроприрован, если его заводы и фабрики национализированы в пользу рабочего государства? Тут в выдвинутом вопросе уже возникают затруднения, которые нам без помощи Ленина не решить.

Чтобы упростить вопрос, мы берем период, после победы пролетарской революции, т.е. после доведения до конца буржуазной революции и после отмены помещичьей частной собственности на землю. Землевладелец, как класс, исчез, его заменила пролетарская, классовая диктатура. Это, как определяет Ленин, за известными исключениями допущения некоторой части буржуазии, впервые в истории наступило двухклассо-

вое общество из пролетариата и крестьянства. Аграрный вопрос в деревне превратился в чистом виде в крестьянский вопрос.

Но что представляет собою крестьянство? Уже в 1902 г. Ленин писал: «Мы ставим в кавычки слово «крестьянство», чтобы отметить наличие в этом случае не подлежащего никакому сомнению противоречия: в современном обществе крестьянство, конечно, не является уже единым классом. Но кто смущается этим противоречием, тот забывает, что это — противоречие не изложения, не доктрины, а противоречие самой русской жизни. Это — не сочинение, а живое диалектическое противоречие. Поскольку в нашей деревне крепостное общество вытесняется «современным» (буржуазным) обществом, постольку крестьянство перестает быть классом, распадаясь на сельский пролетариат и сельскую буржуазию (крупную, среднюю, мелкую и мельчайшую). Поскольку сохраняются еще крепостные отношения, постольку «крестьянство» продолжает еще быть классом, т. е., повторяем, классом не буржуазного, а крепостнического общества» (IX, стр. 289 и след.).

А после 1917 года в Советской России? Ленин подчеркивает, что хотя наделение крестьян землей помещиков внесло некоторую нивелировку (уравнение) крестьянства, но деление его на слои все-таки совершенно бесспорно. Это Ленин всюду отмечает, начиная с первых своих работ. Он различает три слоя крестьянства: бедняка, т. е. в общем пролетария или полупролетария, середняка и кулака, которого ныне правильнее отнести уже к выходящей новой буржуазии.

Первая ставка Ленина после октября была на бедняка. Когда борьба велась с жесточайшими нападениями свергнутой буржуазии, самым верным союзником должен был быть и оказался бедняк. Но бедняк не составлял большинства деревни. Вторая борьба шла за союз с середняком; за отвоевание его из-под влияния буржуазии. И правильнее всего было бы, относя бедняка к пролетариям и полупролетариям, ныне под крестьянством вообще понимать середняка. Но и это еще не решило бы вопроса, ибо этот середняк величина и элемент колеблющиеся.

Как Ленин определяет этого среднего крестьянина экономически? Этот середняк не продает своей рабочей силы, в отличие от наемного рабочего, батрака или полубатрака; он и не нанимает (за незначительными изъятиями вспомогательной силы) рабочей силы, т. е. он не является эксплуататором.

«Нет сомнения, что этот мелкий крестьянский класс (мы называем средним таким, который не продает своей рабочей силы), этот крестьянин в России, во всяком случае, есть главный эконо-

мический класс, который является основой мирового разнообразия политических течений в буржуазной демократии» (Ленин, 1918, XV, стр. 569).

«Партия должна во что бы то ни стало добиться полной ясности и твердого сознания всеми советскими работниками деревни той, вполне установленной научным социализмом, истины, что среднее крестьянство не принадлежит к эксплуататорам, ибо не извлекает прибыли из чужого труда. Такой класс мелких производителей не может потерять от социализма, а, напротив, выигрывает в очень сильной степени от свержения ига капитала, эксплуатирующего его тысячами способами во всякой, даже самой демократической республике» (Ленин, март 1917 г., XVII, стр. 159).

Но это крестьянство, уже в силу своего особого экономического положения, является элементом колеблющимся. Ибо крестьянин, с одной стороны, труженик, трудящийся, а, с другой стороны, собственник. Эта двойственность, это внутреннее противоречие определяет не только наши отношения к нему, но и его собственные внутренние колебания. Это та неустойчивая среда, из которой в буржуазном обществе ежедневно выделяются слои вверх (в буржуазию) или вниз (в пролетариат), и на которую всякий кризис, как экономический, так и политический, производят сильнейшее впечатление. «Крестьянин, с одной стороны, есть труженик, который десятки лет испытывал гнет помещика и капиталиста, научился и знает своим инстинктом угнетенного человека, что это зверь, который не остановится перед морями крови, чтобы вернуть свою власть. Но, с другой стороны, — это есть собственник» (XVI, стр. 419). «У крестьянства нет той сплоченности, дисциплинированности, которые имеются у пролетариата. Крестьянство распылено экономически; оно является частью собственниками, а частью труженниками. Собственность тащит его к капиталу. Крестьянин-собственник думает: «Чем выгоднее я продам, тем лучше, а при голоде я буду продавать дороже». А крестьянин-труженик знает, что от помещика он видел лишь угнетение, от которого освободил его рабочий. Тут борьба двух душ, которая вытекает из экономического положения крестьянства» (1920 г., XVII, стр. 103).

А собственником он остается и после отмены права собственности на землю. «С замечательной прозорливостью Маркс, тогда представлявший из себя лишь будущего экономиста, указывает на роль обмена товарного хозяйства. Если не землей, — говорит он, — то продуктами земли крестьяне будут обмениваться, а этим уже все сказано» (Ленин, 1905 г., IX, стр. 700).

Пока город был единым, пока его представляла одна буржуазия, последняя господствовала над крестьянством, уже в силу своего экономического положения, в том числе участвуя и в эксплуатации крестьянина, как собственника, т. е. на почве аграрных отношений. Теперь, с отменой собственности на землю, самый аграрный вопрос как бы изменился. Но мы уже видели, что в силу одного пользования землей и трудового присвоения продукта он все-таки остался собственником продукта в сфере свободного обмена. Так — и «аграрный вопрос» из вопроса о земле превратился в вопрос об обмене продуктами.

Как сама буржуазия оценивает свое влияние на крестьянство? «Буржуазии, понятное дело, только того и надо, чтобы как можно больше средних и мелких крестьян тянулось за богатыми, чтобы они верили в возможность избавиться от нужды без борьбы с буржуазией, чтобы они надеялись на свое усердие, на свою прижимистость, на свое обогащение, а не на союз с деревенскими и городскими рабочими. Буржуазия всеми силами старается поддерживать эту обманчивую веру и надежду в мужике, старается ублажать его всякими сладкими речами» (Ленин, 1902 г., IX, стр. 345).

Буржуазия, веря в вечность буржуазного общества, конечно, держится и веры, что город будет вечно властвовать над деревней. «Тот взгляд, что идея об уничтожении противоположности между городом и деревней есть фантазия, — очень не нов. Это — обычный взгляд буржуазных экономистов» (Ленин, 1900 г., IX, стр. 42).

Марксизм, напротив, учит, что задача социализма как раз в том и заключается: разрешить это противоречие, уничтожить это деление города и деревни. Оно отнюдь не означает отказа от сокровищ науки и искусства городов. Как раз наоборот.

Но мы оставим эти культурные вопросы. Нам надо начать с экономики. Ленин так и ставит вопрос: «Крестьянин нуждается в промышленности города, без нее он жить не может, а она в наших руках. Если мы возьмемся за дело правильно, тогда крестьянин будет благодарен нам за то, что мы понесем ему из города эти продукты, эти орудия, эту культуру» (Ленин, 1919, XVI, стр. 154). Кто до сих пор снабжал крестьянина, спрашивает Ленин и отвечает: только капиталист. «Капиталист умел снабжать. Он, — рассуждает крестьянин, — это делал плохо, он это делал грабительски, он нас оскорблял, он нас грабил. Это знают простые рабочие и крестьяне, которые не рассуждают о коммунизме, потому что не знают, что это за штука такая. Но капиталисты все же умели снабжать, а вы умеете?» «Практически нужно доказать, что ты работаешь не хуже капиталистов. Капиталисты создают смычку с крестьянством экономическую, чтобы обог-

титься, ты же должен создать смычку с крестьянской экономикой, чтобы усилить экономическую власть нашего пролетарского государства» (Ленин, XVIII, ч. 2, стр. 30—40). «Крестьянину нужны городские продукты, городская культура, и мы должны ему это дать. Только тогда, когда пролетариат окажет ему помощь, тогда крестьянин увидит, что пролетариат помогает ему не так, как помогали эксплуататоры» (XVI, стр. 176).

Какими Ленин рисует нормальные отношения города и деревни? «Нормальные отношения таковы, и только таковы, чтобы пролетариат держал в своих руках крупную промышленность с ее продуктами и, не только полностью удовлетворяя крестьянство, но давая ему средства к жизни, так бы облегчил его положение, чтобы разница по сравнению со строем капиталистическим была бы очевидна и ощутительна. Это и только это, создает базу нормального социалистического общества» (XVIII, ч. 1, стр. 151).

Но что остается делать, пока таких нормальных отношений быть не может? Ответ один: «Крестьянин знает рынок и знает торговлю. Прямого коммунистического распределения мы вести не могли. Для этого не хватало фабрик и оборудования для них. Тогда мы должны дать через торговлю, но дать это не хуже, чем это давал капиталист, иначе такого управления народ вынести не может. В этом весь гвоздь положения. Наша цель — восстановить смычку» (1922 г., XVIII, ч. 2, стр. 55).

«Для того, чтобы осуществить это в нашей обстановке, необходима та экономическая связь, которая является единственно возможной — связь через хозяйство. Вот причина нашего отступления, вот почему мы должны были притти к государственному капитализму, к концессиям, к торговле. Без этого на почве того разорения, в котором мы оказались, надлежащей связи с крестьянством нам не восстановить. Без этого нам грозит опасность, что передовой отряд революции забежит так далеко вперед, что от массы крестьянской оторвется. Смычки между ним и крестьянской массой не будет, а это было бы гибелью революции. На это мы должны смотреть особенно трезво, ибо отсюда вытекает в первую голову и больше всего то, что называется у нас нашей новой экономической политикой. Вот почему мы сказали единодушно, что эту политику мы проводим всерьез и надолго, но, конечно, как правильно уже замечено, не навсегда» (1921 г., 23 дек., XVIII, ч. 1, стр. 436).

Итак, советская власть еще не решает противоречия города и деревни. Но она создает возможность компромисса, даже обоюдную необходимость союза города и деревни. Смычка, провозглашенная Лениным, сводится в первую очередь

и, главным образом, к правильному взаимоотношению города и деревни, или, перенося это противоречие на живых людей, — пролетариата и крестьянства.

## IV.

Пятое противоречие — две параллельных классовых борьбы: крестьянская и пролетарская.

Мы уже видели, что в деревне шли параллельно два вида классовой борьбы: между крестьянством и помещиком и между капиталистом и пролетарием. Мы видели также, что Ленин объяснял ошибочную аграрную программу 1903 г. переоценкой именно второй борьбы, недооценкой первой. Но в то же время, просматривая все работы Ленина по аграрному вопросу, мы всегда найдем, что Ленин ни на минуту не забывает пролетарской борьбы в деревне, требуя самостоятельной организации для этой борьбы сельского пролетариата, заодно с городским.

В той же статье 1902 года, в которой он впервые выдвинул лозунг национализации земли в целях вовлечения в революцию крестьянства в целом, где он в тех же целях выставляет лозунг революционных крестьянских комитетов, он требует особых организаций сельского пролетариата. В его глазах эта классовая борьба не может быть препятствием для революции. «Центральным фактом и в области аграрных порядков России мы признаем классовую борьбу... Объявляя классовую борьбу своей руководящей нитью во всех «аграрных вопросах», мы тем самым решительно и бесспорно отделяем себя от столь многочисленных в России сторонников половинчатых и расплывчатых теорий: «народнической», «этико-социалистической», «критической», социал-реформаторской и как их там еще звать» (Лев. Сборн. III, стр. 360).

15 лет позже, в своих знаменитых тезисах от 4 апреля 1917 г., он рядом с провозглашением лозунга Советской республики, «всей власти Советам», требует для деревни: в аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов.

Правда, и на этот раз Ленина постигло небольшое разочарование: сельский батрак оказался еще слишком мало проникнутым пролетарским сознанием, еще слишком мало выделен из среды крестьянства, что показало его отношение к разграблению помещичьих имений. Но это не могло ни малейшим образом расшатать убеждения Ленина, что вместе с пролетариатом поднимут восстание и крестьянские низы, пролетарии и полупролетарии.

После октября его первая ставка в деревне делается на бедняка: «Первым этапом было взятие власти в городе, установление советской формы правления. Вторым этапом было то, что для всех социалистов является основным, без чего социалисты — не социалисты: выделение в деревне пролетарских и полупролетарских элементов, сплочение их с городским пролетариатом для борьбы против буржуазии в деревне» (1919 г., XVI, стр. 143).

Каким восторгом проникнуты слова Ленина при взгляде назад на работу первых месяцев октябрьской революции в деревне: «Наша революция подняла на неслыханную высоту массы: некогда темная деревня завершает теперь свою деревенскую революцию» (март 1918 г., XV, стр. 177).

А шесть месяцев позже (в ноябре) он пишет: «Кто наблюдал деревенскую жизнь, кто соприкоснулся с крестьянскими массами в деревне, говорит: октябрьская революция городов для деревни стала настоящей октябрьской революцией только летом и осенью 1918 года».

Откуда этот толчок? Благодаря развивающейся классовой борьбе деревенской бедноты в союзе с городским пролетариатом. «Только сближение городского пролетариата с деревней укрепило нашу власть. Пролетариат, при помощи деревенской бедноты, только он, выдерживал борьбу против всех врагов».

А позже, когда Ленин вовлекает в союз середняка, он продолжает — как мы поныне — формулировать этот союз словами: «Политика рабоче-крестьянского правительства и коммунистической партии должна вестись и вперед в этом духе соглашения пролетариата и беднейшего крестьянства со средним крестьянством» (1919 г., XVI, стр. 161).

Но что случилось с классовой борьбой после октябрьской победы в деревне? Класс землевладельцев был упразднен, наемный труд на время военного коммунизма формально (в законе) устранен. Осталась ли еще классовая борьба? И в этом отношении Ленин первый ясно оформил истину, что с победой пролетариата еще не исчезла классовая борьба, что она продолжается, но в иных формах, иными орудиями: «Социализм есть уничтожение классов. Диктатура пролетариата сделала для этого уничтожения все, что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя. И классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет ненужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата. Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху диктатуры пролетариата; изменилось и их взаимоотношение. Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные формы» (1919 г., XVI, стр. 354).

Ведь, с одной стороны, остались классы землевладельцев и капиталистов на Западе, которые за-одно с нашими эмигрантами ведут бешеную борьбу против нас. Остались остатки, а ныне снова образовались и внутренние капиталисты. Но главное—осталось крестьянство, поскольку Ленин к нему применяет понятие класс. Социалисты Запада (Каутский в том числе) когда-то объявили лозунг нейтрализации крестьянства. Большевизм выдвинул лозунг вовлечения, по крайней мере, части крестьянства в непосредственную борьбу, в союз с пролетариатом. В этой борьбе за крестьянские массы пролетарская победа дает новое средство борьбы: Советскую власть.

«Этой диалектики никогда не могли понять представители II Интернационала: пролетариат не может победить, не завоеывая на свою сторону большинства населения... Чтобы завоевать большинство населения на свою сторону, пролетариат должен, во-первых, свергнуть буржуазию и захватить государственную власть в свои руки; он должен, во-вторых, ввести Советскую власть, разбив вдребезги старый государственный аппарат, чем он сразу подорывает господство, авторитет, влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей в среде непродетарских трудящихся масс. Он должен, в-третьих, добить влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди большинства непродетарских трудящихся масс революционным осуществлением их экономических нужд за счет эксплуататоров» (Ленин, 1919 г., т. XVI, стр. 450).

Эту задачу, как известно, по отношению к крестьянству Советская власть выполнила путем конфискации помещичьих земель. Но и на этом не прекратилась борьба. «И вот мы говорим: мы ставим себе целью равенство, как уничтожение классов. Тогда надо уничтожить и классовую разницу между рабочими и крестьянами». «Уничтожить разницу между рабочими и крестьянами, **сделать всех работниками**» (XVI, стр. 351). Это появится лишь в результате длительного мирного сотрудничества этих двух классов. Это будет одновременно разрешение всех противоречий аграрных отношений.

### V.

**Окончательное разрешение всех противоречий аграрного вопроса:  
— от индивидуального к социалистическому хозяйству.**

Для ленинизма буржуазная революция, победа демократии является лишь исходным пунктом, средством для борьбы за социализм и за высшую ступень социализма—коммунизм. Для окончательного достижения этой цели необходимо вовлечь в социализм и крестьянство. Ленин формулировал эту мысль еще в 1905 году

словами: «Чего хочет крестьянство от революции? Крестьянство хочет земли и воли... Мы ведем, кроме борьбы за землю и волю, борьбу за социализм» (VII, ч. 1, стр. 18 и 20).

Мы уже видели, какие трудности для этого необходимо преодолеть, какие противоречия,—и это далеко не все,—разрешить. Но «пролетариат не знает легких задач», и он должен справиться и с этой. Мы уже видели, что для того, чтобы найти общий путь к этой цели, необходимо прежде всего организовать некоторое переходное состояние путем достижения смычки между двумя системами хозяйства—городским и сельским, а одновременно и между представляющими их у нас классами: пролетариатом и крестьянством. Достигнув этой смычки в удовлетворительном для обеих сторон смысле, мы смягчаем, даже устраняем антагонизм между этими системами и этими классами. Как известно, Ленин будущее совместное шествие пролетариата и крестьянства к социализму в 1922 г. охарактеризовал словами: «Если окажется правильным отступление, то сомкнуться, отступивши, с крестьянской массой, и вместе с ней в сто раз медленнее, но зато твердо и неуклонно идти вперед, чтобы она всегда видела, что мы все-таки идем вперед. Тогда наше дело будет абсолютно непобедимо, и никакие силы в мире нас не победят». «Сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудящимся крестьянством и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действительно будет двигаться вся масса с нами. Тогда ускорение этого движения в свое время наступит такое, о котором мы сейчас и мечтать не можем. Это, по-моему, первый основной политический урок новой экономической политики» (XVIII, ч. 2, стр. 29—30).

Это, конечно, чрезвычайно медленный и длительный, на первый взгляд, путь, но вперед определить эту длительность, вперед исчислить его темп нам нет особой надобности. Не надо забывать, что это величайшая в истории человечества революция, что это одновременно и—последняя классовая борьба. «Весь гвоздь в том, чтобы двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощной массой не иначе, как вместе с крестьянством, доказывая ему делом, практикой, опытом, что мы учимся и научимся ему помогать, его вести вперед. Такую задачу при данном международном положении, при данном состоянии производительных сил России, можно решить, лишь решая ее очень медленно, осторожно, деловито, тысячу раз проверяя практически каждый шаг» (Ленин, 1922 г., XVIII, ч. 2, стр. 71).

К проблемам этого пути Ленин особенно часто возвращается в последний год своей литературной деятельности. Что этот путь

должен быть основан на реальных примерах, убеждающих крестьянство на деле, что социализм представляет чувствительное улучшение его положения, сравнительно с индивидуальным хозяйством, мы уже говорили. Самым удобным путем тут Ленину представляется путь через кооперацию. Но и тут вопрос заключается в той же борьбе за влияние на крестьянство либо капитализма—буржуазии, либо социализма—пролетариата.

Только революционная диалектика Ленина могла дать ему решение о новой роли кооперации. Та же кооперация, которую он в буржуазном мире всегда разоблачал, как шаг не к социализму (о чем мечтали всякие ревизионисты), но к капитализму, после победы пролетариата превращается в прямой шаг к социализму: «Несомненно, что кооперация в обстановке капиталистического государства является коллективным капиталистическим учреждением. Несомненно также, что в обстановке нашей теперешней экономической действительности, когда мы соединяем частно-капиталистические предприятия, но не иначе, как на общественной земле, и не иначе, как под контролем государственной власти, принадлежащей рабочему классу, с предприятиями последовательно-социалистического типа (и средства производства принадлежат государству, и земля, на которой стоит предприятие, и все предприятие в целом), то тут возникает вопрос еще о третьем виде предприятий, которые раньше не имели самостоятельности с точки зрения принципиального значения, именно о предприятиях кооперативных» (1923 г., XVIII, ч. 2, стр. 143).

На первых шагах века (апрель 1921 г.) Ленин в кооперации мелких товаропроизводителей «видел лишь вид государственного капитализма», ибо она «неизбежно порождает мелкобуржуазные капиталистические отношения». Но уже тогда он в своем научном анализе обнаружил и преимущества этой кооперации пред той формой капитализма, к которой мы решили обратиться тогда, т. е. концессионного: «Переход от концессий к социализму есть переход от одной формы крупного производства к другой форме крупного производства. Переход от кооперации мелких хозяйчиков к социализму есть переход от мелкого производства к крупному, т. е. переход более сложный, но за то способный охватить, в случае успеха, более широкие массы населения, способный выравнять более глубокие и более живучие корни старых, до-социалистических, даже до-капиталистических отношений, наиболее упорных в смысле сопротивления всякой «новизне» (1921 г., апрель, XVIII, ч. 1, стр. 220).

Когда Ленин в 1923 году снова пересматривает вопрос о кооперации, он еще раз беспощадно вскрывает все иллюзии и фантазии старых кооператоров, мечтавших путем кооперации пе-

ределать буржуазное общество в социалистическое. Он спрашивает: «В чем заключалась их фантастичность?» Ответ его ясен и бесспорен: В том, что они мечтали... простым кооперированием превратить классовых врагов в классовых сотрудников и классовую войну в классовый мир, гражданскую войну в гражданский мир. Они не учли основного вопроса, вопроса о свержении господства класса эксплуататоров.

Все это изменилось при Советской власти. «Теперь у нас это свержение состоялось, и теперь многое из того, что было фантастического, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью» (XVIII, ч. 2, стр. 139).

Но в аграрном вопросе кооперирование создает особые трудности. С одной стороны, кооперирование вообще требует известного культурного уровня. С другой стороны, из всех видов кооперации—это для такого знатока аграрного вопроса, каким был Ленин, бесспорно и ясно—производительная кооперация в сельском хозяйстве, не по переработке продуктов, а по основному производству, земледелию и скотоводству, является самой сложной формой. Поэтому Ленин, прежде всего, выдвигает смычку с крестьянством, как связь снабжения, через торговую операцию. Он, хотя и на время разочаровавшись в совхозах вообще, все же с большим вниманием следит за каждым случаем удачного коллективного хозяйства. «Первый почин», пример, толчок—вот что нужно, чтобы подвинуть новое дело гигантскими шагами на новый путь. Мы знаем, что мелкое производство никакими декретами перенести в крупное нельзя, здесь нужно постепенно, ходом событий убеждать в неизбежности социализма».

Он знает, как капитализм подчиняет себе и сельское хозяйство, как капитал путем ли капиталистического производства, или путем капиталистического кооператива, командует мелким крестьянским хозяйством. Он отсюда делает соответствующий вывод по отношению к нашему социалистическому хозяйству. Всеми силами надо пока поднимать производительность крестьянского хозяйства, прибавляя: «Если крестьянское хозяйство может развиваться дальше» (1921 г., апрель). Ибо он не рассчитывает на быстрое завоевание влияния на крестьянство. «Минимальный срок, в течение которого можно было так наладить крупную промышленность, чтобы она создала фонд для подчинения себе сельского хозяйства, исчисляется в десять лет... предполагая в основе условия, сколько-нибудь приближающиеся к нормальным. Но мы прекрасно знаем, что их налицо нет. Значит, десятилетие—срок несравненно более краткий» (1921 г., XVIII, ч. 1, стр. 156).



Но не срок тут важен; глубокая мысль, высказанная здесь так сказать между строк, о способе экономического подчинения сельского хозяйства социализму, должна стать руководящим началом нашей политики.

Я не буду останавливаться на той культурной революции, которую Ленин в последние годы жизни провозглашал особенно по отношению к деревне. «Без этого нам своей цели не достигнуть».

За то: «Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией, — это есть строй социализма» (Ленин, XVIII, ч. 2, стр. 142).

## К воззрениям Ленина на государство и право.

*И. Разумовский.*

По мере того, как каждая новая годовщина все более отделяет нас от дня кончины Ленина, все сильнее начинаем мы сознавать всю недостаточность уже написанного и сказанного о нем. Только сейчас приходим мы к мысли о том, какой неисчерпаемый и малоизученный материал во всех решительно областях общественного знания оставил нам он в своем литературном наследии. Не газетные заметки и не журнальные статьи: о Ленине пора писать целые книги, и не одну.

Это всецело относится и к тем материалам, — работам, статьям, отдельным мыслям, которые мы находим у Ленина в области государства и права. Здесь, в особенности: как много известного, и далеко, в сущности, еще неизвестного! Взять хотя бы проблему империалистического государства. Или какое, казалось бы, богатство открывающихся здесь, в связи с нашим советским строительством, проблем, нуждающихся в разработке с точки зрения ленинизма, и как мало использован в этом отношении сам Ленин. Я не говорю уже об остающейся пока совершенно необследованной области законодательного творчества Ленина: но под спудом остаются и очень многие вопросы, поставленные Лениным в его опубликованных и всем известных работах. Характерно, напр., что даже о таком — употребляя немецкое выражение — «эпоху делающем» произведении, как «Государство и революция», мы не имеем еще ни одной серьезной марксистской работы. А между тем какую огромную литературу породило бы во много раз менее гениальное произведение на буржуазном Западе!

Разумеется, я несколько не сомневаюсь в том, что очень немногие могут дать в этом отношении и настоящие беглые заметки. Вопрос, которого я пытаюсь здесь в самых общих чертах коснуться — о правомерности юридической формы и пределах этой правомерности, в его постановку у Ленина, — нуждается в разработке, с самых различных сторон, — в частности, с точки зрения нашей практической законодательной деятельности. Он упирается, к тому же, в другой, не менее сложный вопрос: о воззрениях Ленина на роль и характер социалистического государства, на которых я здесь не имею возможности слишком подробно останавливаться. И, тем не менее, не ставить этих существенных вопросов, хотя бы в настоящей, ограниченной своими

задачами форме, нельзя: они имеют не малое значение и для нашей революции, и для всего нашего социалистического строительства <sup>1)</sup>.

## I.

Характерной и достаточно известной уже особенностью буржуазных теорий государства является неотделимость в них этого последнего понятия от понятия общества. Особенность эта находится в тесной связи с общим юридическим мировоззрением буржуазии: государство мыслится, как «правовое государство», а право—неотъемлемая принадлежность всякого общественного бытия!

Конечно, буржуазная теория не просто отождествляет государство с обществом. Публичное право отделяет «общие» интересы буржуазных индивидов от их частных интересов, «всеобщую волю» государства от частных «воль» буржуа, членов гражданского общества: в буржуазном обществе, как указывает Маркс, «благодаря освобождению частной собственности от общества, государство стало особым существом (Existenz) рядом и вне гражданского общества»; «совокупный интерес в виде государства принимает самостоятельную форму, отличную от реальных, частных и совокупных интересов» <sup>2)</sup>. Тем не менее, государство представляется буржуазным теоретикам именно как правовое образование, как результат правового развития общества, как разумная цель и высшая форма всякой общественной жизни. Юридическая теория государства, —несмотря на значительные бреши, пробитые в ней отдельными ее представителями,—продолжает оставаться наиболее характерной для буржуазного мышления. И неудивительно, что как ранний его расцвет, так и пора его заката выдвигают различные формы той же теории: мы имеем в виду «государство-суверен» в договорных теориях естественного права и современный юридический нормативизм, в лице Г. Кельсена провозглашающий государство «совокупностью норм», порядком долженствования...

Уже в философии права Гегеля—произведения, в котором ошибочно было бы видеть одни только его реакционные моменты,—противоположность между государством и гражданским обществом выходит за пределы обычного буржуазно-юридического понимания. Но для Гегеля государство все же еще остается «действительностью нравственной идеи» и, лишь исходя из критики Гегеля, Маркс и Энгельс выявляют истинный характер политической надстройки, этой особой общественной силы, одифференцировавшейся от общества, в качестве дополнительного «внеэкономического» орудия классовой эксплуатации. Но пони-

<sup>1)</sup> Из отдельных, уже имеющих марксистских попыток подойти и к указанным вопросам, обращаю внимание на следующие: И. Лу п о л: «Ленин как теоретик пролетарского государства» («П. З. М», № 2, 1924 г.); П. С т у ч к а: «Ленин о революционном декрете» и Е. П а ш у к а н и с: «Ленин и вопросы права» (сб. «Революция права», т. I, 1925 г.); также соответствующие статьи в «Энциклопедии государства и права». Особый интерес, для изучения связи взглядов Ленина с воззрениями Маркса и Энгельса, представляет доклад Д. Б. Рязанова о Ленине и государстве в Комм. Академии, к сожалению, до сих пор неопубликованный.

<sup>2)</sup> Архив Маркса и Энгельса, т. I.

мая под государством «правительственную машину или государство, поскольку оно через разделение труда образует обособленный от общества собственный организм» <sup>1)</sup>, под политическим принуждением «давления извне» <sup>2)</sup>, в общей форме обеспечивающей классовые интересы, основоположники марксизма никогда не забывали и другой стороны дела: того, что государство в то же время является «официальным выражением», «официальным резюме» общества, особым «устройством», особой организацией отношений классового общества, его политической формой. Эту мысль они проводили еще в «Немецкой идеологии»: государство—«на деле не что иное, как форма организации, которую необходимым образом придают себе буржуа как во вне, так и внутри в целях взаимной гарантии своей собственности и своих интересов... Так как государство—это та форма, в которой индивид некоторого господствующего класса выявляет свои коллективные интересы и в которой концентрируется все гражданское общество некоторой эпохи, то отсюда следует, что все учреждения общего характера создаются государством, получая, благодаря этому, политическую форму» <sup>3)</sup>. Каким образом создается эта организация «во вне и внутри», становится ясным, когда мы вспоминаем хотя бы характеристику Марксом французской правительственной машины, «этого ужасного организма-паразита, обивающего точно сетью все тело французского общества», создающего «гражданское единство нации», или указания Энгельса об организации граждан по территориальному признаку и т. д.

Последнее нужно иметь в виду, когда мы сопоставляем это понимание Марксом и Энгельсом политической формы, напр., с жалобными lamentациями «марксиста» Г. Кунова, который видит в государстве «совместный порядок людей для совместного действия», «форму жизни», «систему, делающую жизненные устремления народов взаимно-связанными, упорядоченными» и т. п. <sup>4)</sup>. Для Кунова государство, будучи «формой жизни»—«формой жизни» классового общества,—это неприятное обстоятельство Кунов замалчивает!—перестает быть надежной, о с о б о й силой: обими ногами становится он здесь на политико-юридическую точку зрения. Для юридического мышления чуждым остается диалектическое взаимоотношение, существующее между «формой» и «содержанием», между политико-юридическими формами и экономическим содержанием общественной жизни. «Форма» гипостазирована юристами-теоретиками, типа Р. Штаммлера, в совершенно самостоятельное начало, не только независимое от «материально-технического процесса», но еще упорядочивающее, регулирующее этот последний. Идеалистическая основа этой ошибки юристов совершенно очевидна: общественное бытие совпадает для них с общественным сознанием, покрывается, целиком охватывается этим последним. Между тем, политические и юридические формы охватывают далеко не полностью опосредствуемое ими общественно-экономическое содержание. Они «упорядочивают», «регулируют», «организуют» общественную

<sup>1)</sup> К. Маркс, К критике готской программы.

<sup>2)</sup> Письмо Маркса к Ф. Болье от 23 ноября 1871 г.

<sup>3)</sup> Архив Маркса и Энгельса, т. I, стр. 251.

<sup>4)</sup> Н. С u n o w, Marxsche Staats-, Rechts- und Gesellschaftstheorie.

жизнь лишь с точки зрения определенной формы, в определенных ее пределах и их воздействие оказывается лишь «надстройкой» по отношению к внутренним, экономическим законам опосредствуемого ими содержания.

Все эти важнейшие положения марксизма, говорящие об отношении государства и права к экономике, получают свое отчетливое выявление и свое дальнейшее развитие у Ленина. Не малый интерес с этой стороны представляют уже ранние работы Ленина, в которых он полемизирует с народниками. Последние, по его словам, «ограничивались идеологическими и общественными отношениями, т. е. такими, которые, прежде чем им сложиться, проходят через сознание», вместо «анализа материальных общественных отношений, т. е. таких, которые складываются, не проходя через сознание людей». Основная идея Маркса и Энгельса, по словам Ленина, «состояла в том, что общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние представляют собою лишь надстройку над первыми, складывающимися помимо воли и сознания человека, как (результат) форма деятельности человека, направленной на поддержание его существования. Объяснения политико-юридических форм... надо искать в «материальных жизненных отношениях». Так, напр., объяснения особенностей родовой организации «надо искать не в идеологических отношениях (напр., правовых или религиозных), а в материальных»<sup>1)</sup>. Теория Маркса в системе производственных отношений «указала ту основу общества, которая облекается политико-юридическими формами и известными течениями общественной мысли... На место различия важного и неважного было поставлено различие между экономической структурой общества, как содержанием и политической и идейной формой» (курсив Ленина)<sup>2)</sup>. Поэтому требование, напр., буржуазной «свободы промышленности»... «означает всегда несоответствие между юридическими нормами (отражающими производственные отношения, отжившие свой век) и новыми производственными отношениями, которые развились вопреки старым нормам, выросли из них и требуют их отмены...»<sup>3)</sup>. И на замечание Михайловского об «отношении форм к материальным условиям их существования» Ленин отвечает: «это ведь и есть тот вопрос о соотношении разных сторон общественной жизни, о надстройке идеологических общественных отношений над материальными, в известном решении которого и состоит доктрина материализма»<sup>4)</sup>.

Так же отчетливо ставит в этих своих ранних работах Ленин и вопрос о сущности государства. Одним замечанием опрокидывает он нравственно-юридическую теорию народников, пригласивших государство стать «на нравственную точку зрения»: «Государство, к которому вы обращаетесь, современное данное государство, должно становиться на точку зрения той правды, которая мила высшей буржуазии, должно потому, что такое распределение социальной силы между наличными

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. I, стр. 71, 80. Курсив всюду наш.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. II, стр. 73, 74.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 464.

<sup>4)</sup> Собр. соч., т. I, стр. 106.



классами общества»<sup>1)</sup>. Но столь же жестоко критикует Ленин и точку зрения «незараженного ортодоксией» Струве, который видел в государстве «прежде всего организацию порядка»: Струве «совершенно неправильно видит отличительный признак государства в юридической власти: принудительная власть есть во всяком человеческом обществе и в родовом устройстве, и в семье, но государства тут не было. Признак государства — наличие особого класса лиц, в руках которого сосредоточивается власть. Общину, в которой «организацией порядка» заведывали бы поочередно все члены ее, никто, разумеется, не мог бы назвать государством... Тот особый слой, в руках которого находится власть в современном обществе, это — бюрократия...»<sup>2)</sup>. Это последнее замечание Ленина бьет не только по буржуазной теории государства, но и по тем теоретикам права, которые видят сущность его в принудительных нормах. Как не всякая организация порядка является государством, так и не всякие принудительные нормы и правила общегития, — мыслимые и в бесклассовом обществе, — являются правом: правом же — как это мы выясним далее — делает их наличие классового неравенства, «применение равного мерил к неравным людям».

Глубокое, марксистски-продуманное понимание сказывается и в отдельных экскурсах Ленина в область истории политико-правовых учреждений. Так, напр., говоря о развитии собственности, в связи с институтом наследства, он указывает, что «в эпоху процветания поместной системы земля не могла переходить по наследству (так как она считалась только условной собственностью)... Институт наследства предполагает уже частную собственность, а эта последняя возникает только с появлением обмена... И частная собственность, и наследство — категории таких общественных порядков, когда сложились уже обособленные мелкие семьи (моногамные) и стал развиваться обмен... Раздробленные, мелкие семьи сделались господствующими только при буржуазном режиме; они совершенно отсутствовали в доисторические времена»<sup>3)</sup>. Характер «условной» феодальной собственности Ленин выясняет в другом месте: «Собственное» хозяйство крестьян на своем наделе было условием помещичьего хозяйства». Кроме прикрепления к земле таким условием была прикрывающая отношения средневековой эксплуатации «личная зависимость крестьянина от помещика». «Формы и степень этого принуждения могут быть самые различные, начиная от крепостного состояния и кончая сословной неправомерною крестьянства»<sup>4)</sup>. Почему семья и частная собственность делаются «господствующими» лишь в капиталистическом обществе, становится понятным, если принять во внимание ссылку Ленина на известную мысль Маркса: «Продукт принимает форму товара в самых различных общественных производственных организациях, но только в капиталистическом производстве такая форма продукта труда является общей, а не исключительной, не единичной, не случайной». И далее: «Именно капитализм.

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. II, стр. 53.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. II, стр. 81.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. I, стр. 82, 83.

<sup>4)</sup> «Развитие капитализма в России», стр. 148.

оторвавший личность от всех крепостных уз, поставив ее в самостоятельные отношения к рынку, сделав ее товаромладельцем (и в качестве такового — равной всякому другому товаровладельцу) и создал подьем чувства личности<sup>1)</sup>. Последнее не мешало бы принять к сведению тем юристам, которые переносят связанную с обменом буржуазно-правовую форму на докапиталистические правоотношения, которые забывают, напр., те особые юридические маски, которыми прикрывалась классовая эксплуатация в феодальный период<sup>2)</sup>. Мы не можем здесь останавливаться и на других, рассыпанных по работам Ленина замечаниях, относящихся к историческим формам государства, к характеристике русского самодержавия, русской бюрократии и т. д.; укажем лишь на различие между условиями, «одной из форм классовых различий», и классами: «Классы отличаются друг от друга не юридическими привилегиями, а фактическими условиями... Классы современного общества предполагают юридическое равенство... Сословия — принадлежность крепостного, а классы — капиталистическое общества»<sup>3)</sup>.

Важно отметить, что Ленин строго отличает всегда надстройку от экономической основы, политико-юридические формы от экономического содержания, осуществляющегося «во имя идей». Не потому появился, напр., «проект нового закона о стачках... что государство признало основные начала гражданского права (буржуазную «свободу и равенство» хозяев и рабочих), а потому, что отмена наказания за стачки стала выгодной для фабрикантов. Юридические формулировки... имелись налицо давным давно...»<sup>4)</sup>. Или: «Ограниченность земли предполагает действительно, при капиталистическом строе общества, монополизацию земли, но земли, как объекта хозяйства, а не как объекта права собственности. Монополия владения землей на праве собственности и монополия хозяйства на земле — вещи совершенно различные не только логически, но и исторически... С другой стороны, возможно «создание свободной конкуренции в земледелии вопреки монополии земельной собственности и несмотря на бесконечно разнообразные формы этой собственности»<sup>5)</sup>. То же по поводу производимого им подведения различных разновидностей неимущего крестьянства под тип сельского пролетария. «Юридическое основание его права на кусочек земли совершенно безразлично для данной квалификации»<sup>6)</sup>. То же самое по поводу безразличия прежних политико-юридических форм для экономической сущности капитализма, подчиняющего их себе. «И самодержавие, и конституционная монархия, и республика суть лишь различные формы классовой борьбы, при чем диалектика истории такова, что, с одной стороны, каждая из этих форм проходит через различные этапы развития ее классового содержания, а с другой стороны, переход

1) Собр. соч., т. II, стр. 97, 77.

2) Ср. Собр. соч., т. II, стр. 67.

3) Собр. соч., т. II, стр. 285. Ср. об «особом юридическом месте» для каждого класса при рабстве и феодализме (Ленинский сборник, III, стр. 329).

4) Собр. соч., т. IV, стр. 142.

5) Собр. соч., т. IX, стр. 65, 67.

6) «Развитие капитализма в России», стр. 140.

от одной формы к другой несколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплуататорских классов при иной оболочке...<sup>1)</sup>.

Конституция для пролетариата — лишь «новое поприще», «новая форма классовой борьбы». Здесь Ленин уточняет известную формулу Лассалья: «Сущность конституции в том, что основные законы государства вообще и законы, касающиеся избирательного права в правительственные учреждения, их компетенция и пр. выражают действительное соотношение сил в классовой борьбе. Фиктивная конституция, когда закон и действительность расходятся: не фиктивна, когда они сходятся»<sup>2)</sup>. Политико-юридические формы не суть что-либо самостоятельное, они всегда опосредствуют определенное экономическое содержание, определенные классовые, имущественные — в конечном счете — отношения. Юридические формы, будучи особыми формами экономического содержания, не представляют из себя, однако, чего-либо совершенно отдельного от своего содержания, не охватываемого развитием экономического содержания, если только они находятся в соответствии с этим последним. Такова основная мысль, последовательно проводимая Лениным, который категорически отвергает, напр., как попытки Струве отделить социальные категории от экономических, социальное неравенство от хозяйственного строя, сдать вопрос о социальных неравенствах «в архив юриспруденции», так и стремление Ерманского сузить понятие классовой борьбы от борьбы за государственную власть до либерального понятия «непосредственной экономической борьбы»<sup>3)</sup>.

Насколько бесконечно далек Ленин от всякого юридического фетишизма, показывает то соотношение, которое мыслится им между экономикой и правом, с одной стороны, правом и государством, с другой. Ленин не сводит права к экономике: он понимает качественно особый характер правовых отношений, формально опосредствующих не покрываемое ими экономическое содержание. Но он чужд и другой крайности, в которую зачастую впадают марксисты-юристы и против которой в свое время возражал Маркс, полемизируя с теми, «кто право сводят к закону» («Нем. идеология»). Ленин, как мы видели, совершенно правильно начинает анализ права прежде всего с правовых, идеологических отношений, служащих формой материальных отношений и в то же время надстройкой над этими последними; институт наследства он связывает с развитием собственности, с распространением товарной формы и т. д. То, возникшая как «(результат) форма деятельности человека направленной на поддержание существования», правовые отношения должны быть «закреплены», осознаны, охранены. И тут выступает роль политической надстройки, придающей общественно-правовым отношениям политическую форму закона. «Закон есть мера политическая, есть политика»<sup>4)</sup>. Так, напр., фабрика вводит свои «правила», свой «порядок» классовой эксплуатации. «Создаются общие правила, составляется закон об отно-

1) Собр. соч., т. XI, ч. 1, стр. 203. Ср. т. XIV, ч. 2, стр. 179.

2) Собр. соч., т. XI, ч. 1, стр. 202.

3) Собр. соч., т. XII, ч. 1, стр. 126, 127; ч. II, стр. 102, 388.

4) Собр. соч., т. XIII, стр. 358.

шениях рабочих к фабрикантам, закон, обязательный для всех. И в этом законе потворство интересам хозяина закрепляется уже государственной властью<sup>1)</sup>. Право, таким образом, является в результате взаимодействия экономической структуры общества и его политической надстройки — взаимодействия, разумеется, в конечном счете, на экономической основе. Формальным опосредованием экономики оно становится, будучи в то же время средством, формой политики. И неудивительно, что и в суде, напр., Ленин видит, прежде всего, политическое, а не чисто «юридическое» учреждение.

Тесная связь между правом и государством, при полном сознании, однако, того, что право вовсе не порождается одним лишь государством — такова единственно правильная марксистская точка зрения, резко отличающая ее от юридического мировоззрения и последовательно проводимая Лениным. Отсюда понятно, почему, говоря о сохранении «буржуазного права» на первой фазе коммунизма, Ленин говорит и о сохранении «постольку» и буржуазного государства. «Постольку» остается еще необходимость в государстве, которое бы, сохраняя общую собственность на средства производства, охраняло равенство труда и равенство дележа продукта». «Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство, ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права...<sup>2)</sup>».

## 2.

Уже из всего сказанного очевидно, что, будучи чужды всякому фегицизму юридической формы, всякому гипостазированию правовых отношений, воззрения Ленина на государство и право, однако, ничего общего не имеют и с тем односторонним пониманием взаимоотношений «содержания» и «формы», которое ведет к экономическому фегицизму, к «карикатуре на марксизм».

Марксистская точка зрения — как это указывает, напр., Плеханов в своем ответе А. Богданову — вовсе не отождествляет «форму» и «вид»: форма — как этому учит гегелевская диалектика — не только «вид», но и закон, принцип построения содержания с точки зрения данной формы. Отношение «формы» к «содержанию» в известной мере аналогично отношению «качества» к «количеству»: как качество, в свою очередь, переходит в количество, так и форма переходит в содержание. Качество, форма — так же активно начало; порождаясь определенным содержанием, форма также оказывает свое воздействие на развитие содержания. Но это воздействие осуществляется в известных пределах: политические и правовые формы, по словам Энгельса, «определяют преимущественно форму» дальнейшего развития экономического, классового содержания, форму исторической борьбы.

Относительно указанных взаимоотношений экономики и политики мы находим интересные соображения Ленина в его по-

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. I, стр. 420.

<sup>2)</sup> «Государство и революция» — Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 374, 377.

лемике с т. Пятаковым (П. Киевским) в 1916 г. П. Киевский исходил из той же точки зрения, на которой в свое время стояли «экономисты»: раз империализм победил, то зачем ставить вопросы о политической демократии, о национальных, «справедливых» войнах, о самоопределении нации и т. д. Между понятиями «империализм» и «самоопределение нации» он находил «логическую противоречивость». Ленин указывает ему, что, прежде всего, необходимо отличать экономический империализм... есть высшая ступень развития капитализма, такая, когда производство стало настолько крупным и крупнейшим, что свободу конкуренции сменяет монополия. В этом экономическая сущность империализма... Политической надстройкой над новой экономикой является поворот от демократии к политической реакции. В этом смысле неоспоримо, что империализм есть «отрицание» демократии вообще, всей демократии, а вовсе не одного из требований демократии, именно: самоопределения наций. Будучи «отрицанием» демократии, империализм также «отрицает демократию» и в национальном вопросе (т.-е. самоопределение наций): «также», т.-е. он стремится нарушить ее... Но, по словам Ленина, он осуществляет это нарушение экономическим путем, вполне для него осуществимым и без политической аннексии. Поэтому нельзя, основываясь на этом, говорить об «экономической неосуществимости» самоопределения при империализме. Американские тресты... «для устранения конкурента не ограничиваются экономическими средствами, а постоянно прибегают к политическим и даже уголовным. Но было бы глубокой ошибкой считать экономически неосуществимой монополию трестов при чисто экономических приемах борьбы».

Вопрос, который должен был бы поставить П. Киевский: «отношение экономики к политике; отношение экономических условий и экономического содержания империализма к одной из политических форм... Противоречие между империализмом и республикой есть противоречие между экономикой новейшего капитализма (именно: монополистического капитализма) и политической демократии вообще... Это есть противоречие между экономическим строем и политической надстройкой». Капитализм — указывает Ленин — совмещается с демократией «посредством государственного проведения в жизнь всевластия капитала»; так же обстоит дело и с империализмом. Конечно, «никакой политической мерой нельзя запретить экономики», но «самоопределение касается только политики». Закону экономической концентрации вовсе не соответствует «закон» политической концентрации. «Империалистическая тенденция к крупным империям вполне осуществима и на практике нередко осуществляется в форме империалистического союза самостоятельных и независимых, в политическом значении слова, государств». Для империализма «иногда прямо выгодно» «дать как можно больше демократической свободы, вплоть до государственной независимости отдельным маленьким нациям». «От логических ошибок «экономизма» политические вопросы не исчезли». Для остальных наций «есть еще объективно общезначимые задачи, именно задачи демократические, задачи свержения чуже-национального гнета». Марксизм требует для определения всякого лозунга точного ана-

лиза и экономической действительности, и политической обстановки, и политического значения этого лозунга», и т. д. 1).

Мы подробно остановились здесь на развитии мыслей Ленина, так как в них мы находим лишнюю иллюстрацию той «неравномерности экономического и политического развития», которая, по словам Ленина, «есть безусловный закон капитализма» 2). Но интересны и отдельные частности. Во взаимодействии экономики и политики Ленин умеет выявить его экономическую основу, «главенство экономического фактора», но, в противоположность «экономистам», делает это правильным размежеванием областей экономики и политики. Осуществление экономического развития «в чистом виде», — при анализе действия лишь экономических законов, — мыслимо и независимо от политико-юридических форм: последние, однако, возникая на почве экономики, создают наиболее выгодные формы, пути экономического развития, по которым последнее неизбежно и направляется, не удовлетворяясь действием одних экономических законов и используя гарантии и дополнительные возможности политики и права. Эту роль политико-правовых форм Ленин неоднократно подчеркивает, начиная с ранних своих работ: «Сила «экономически сильного» в том, между прочим, и состоит, что он держит в своих руках политическую власть. Без нее он не мог бы удержать своего экономического господства» 3). При возникновении капитализма, люди устраивали — по его словам — «чрезвычайно искусные плетзы и плотины, загонявшие непокорного крестьянина в русло капиталистической эксплуатации; они создавали чрезвычайно хитрые обводные каналы политических и финансовых мероприятий, по которым (каналам) устремлялись капиталистическое накопление и капиталистическая эксплуатация, не удовлетворявшиеся действием одних экономических законов» 4). «Энгельс вовсе не полагает, чтобы «экономическое» само собой и непосредственно уладило все трудности. Экономический переворот побудил все народы потянуться к социализму, но при этом возможны и революции — против социалистического государства — и войны. Приспособление политики в экономике произойдет неизбежно, но не сразу и не гладко, не просто, непосредственно» 5). Ту же мысль проводил Ленин и в своей последней статье «О кооперации», говоря, что «каждый общественный строй возникает лишь при финансовом подержке определенного класса» 6). Одним словом: в определенных условиях политико-юридические формы начинают играть немаловажную роль для развития экономического содержания!

А отсюда и общий вывод: «политические вопросы не исчезают». Или как это формулирует Ленин в «Двух тактиках»: «Из верной посылки марксизма о глубоких экономических корнях

1) Собр. соч., т. XIII, стр. 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 369 и т. д.

2) Собр. соч., т. XIII, стр. 133.

3) Собр. соч., т. I, стр. 174.

4) Собр. соч., т. II, стр. 63.

5) Собр. соч., т. XIX, стр. 210.

6) Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 141.

классовой борьбы вообще и политической борьбы в особенности экономисты делали тот оригинальный вывод, что надо повернуть спиной к политической борьбе»... Напротив того: «чем глубже теперь корни нашей борьбы, тем шире, смелее, решительнее, инициативнее должны мы вести эту борьбу». «Из тех посылок, что демократический переворот отнюдь еще не есть социалистический, что он «интересует» отнюдь не одних только неимущих, что его глубочайшие корни лежат в неотвратимых нуждах и потребностях всего буржуазного общества в целом — из этих посылок мы делаем вывод, что тем самым должен передовой класс ставить свои демократические задачи, тем резче должен он договаривать их до конца» 1).

Приведенные слова Ленина, наряду с общей истиной о важности политической борьбы и необходимости участия во всякой политической борьбе, содержат и другую, глубоко проникнутую диалектикой мысль: о правомерности использования пролетариатом политико-юридических лозунгов и форм, создающихся в развитии буржуазного общества лозунгов и форм буржуазной революции. И здесь необходимо оговориться: если вопрос о роли и значении для борьбы пролетариата политических форм буржуазной демократии получил более или менее обстоятельную оценку в социал-демократической литературе, то совершенно недостаточное освещение получил другой, тесно связанный с ним вопрос: об использовании в тех же целях буржуазно-юридической формы и о борьбе на юридической почве. Между тем, в работах Ленина этот вопрос не только поставлен, но и даны некоторые вехи для его разрешения.

Как это обстоятельно выяснил Маркс и Энгельс, и что не устают повторять за ними Ленин, современная юридическая форма является «слепком с отношений товарного производства», достигающего высшего развития при капитализме. Характерными признаками правовой идеологии или, как выражаются юристы, признаками права, является свобода и равенство «субъекта прав». Зародившись в отношениях товаровладельцев, эти лозунги переносятся затем и в область публичного права и проникают во мировоззрение буржуазного общества, юридическое мировоззрение». Однако лозунги эти имеют чисто формальное значение: они служат выражением классового неравенства, неравенства в распределении. «В буржуазной республике, хотя бы самой свободной и самой демократической, «свобода» и «равенство» не могли быть и никогда не были ничем иным, как выражением равенства и свободы товаровладельцев, равенства и свободы капитала... «Свобода и равенство» в буржуазном строе... и в буржуазной демократии остаются только формальными, означая на деле наемное рабство рабочих (формально свободных, формально равноправных) и всевластие капитала, власть капитала над трудом» 2). Этот формальный момент равенства в праве Ленин, как известно, освещает и в «Государстве и революции»: «Буржуазное право», как и всякое право, предпо-

1) Собр. соч., т. VI, стр. 321.

2) Собр. соч., т. XVI, стр. 240.

лагают неравенство. Всякое право есть применение одинакового масштаба к различным людям, которые на деле неодинаковы, не равны друг другу»<sup>1</sup>). Попутно заметим, что Ленин совершенно правильно считает формальное равенство признаком не только буржуазного, но и всякого права: и феодальное право—хотя и связанное с личной зависимостью и с неравноправностью, но даже и оно знает равенство прав феодалов и равную для всех форму «привилегии» при получении каких бы то ни было «прав».

Эти «азбучные истины социализма» о равенстве, как о лозунге буржуазной революции, Ленин сообщает профессору Туган-Барановскому, который пытался «сразить» социализм своими соображениями о том, что люди, мол, физически и духовно неравны: «к социализму такое равенство не имеет никакого отношения... Под равенством социал-демократы в области политической разумеют равноправие, а в области экономической... у них что-то иное классовое. Об установлении же человеческого равенства в смысле равенства сил и способностей (телесных и душевных) социалисты и не помышляют. Равноправие есть требование одинаковых политических прав для всех граждан государства... Это требование выдвинуто впервые вовсе не социалистами, не пролетариатом, а буржуазией. Буржуазия выдвинула требование равенства прав всех граждан в борьбе с средневековыми, феодальными, крепостническими, сословными привилегиями»<sup>2</sup>). Здесь Ленин подчеркивает уже положительные стороны этого лозунга. Та же мысль еще более отчетливо выдвигается им по поводу народнической идеи «уравнительности» землепользования, мелкобуржуазного «социализма равенства»: «Пролетариат несет с собой не социализм равенства мелких хозяев, а социализм крупного обобществленного производства. Но та же идея равенства есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач. Идея равенства выражает всего цельнее борьбу со всеми пережитками крепостничества, борьбу за самое широкое и чистое развитие товарного производства»<sup>3</sup>). Вышним выражением этой идеи юридического равенства является буржуазная демократия: «Демократия... представляет из себя, как и всякое государство, организованное систематическое применение насилия к людям. Это — с одной стороны. Но, с другой стороны, она означает формальное признание равенства между гражданами, равного права всех на определение устройства государства и управления им»<sup>4</sup>). То же и о «свободе»: «Вся политическая свобода вообще, на почве современных, т.-е. капиталистических, производственных отношений, есть свобода буржуазная. Требование свободы выражает раньше всего интересы буржуазии. Ее представители первые выставили это требование. Ее сторонники воспользовались повсюду, как хозяева, полученной свободой, сводя ее к умеренной и аккуратной буржуазной мерке... Но выводить из этого отрицание или принижение борьбы

<sup>1</sup>) Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 372.

<sup>2</sup>) Собр. соч. т. XII, ч. 2, стр. 401, 402.

<sup>3</sup>) Собр. соч., т. VI, стр. 350.

<sup>4</sup>) Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 378.

за свободу могли только бунтари-народники, анархисты да «экономисты»<sup>1</sup>).

Отсюда понятно значение юридической идеологии на определенном этапе исторического развития, в период буржуазной революции. Отражая потребности капиталистического развития, выдвигая принципы и лозунги, тесно связанные с этими потребностями, буржуазно-правовая форма является на этом этапе всеобщей формой общественного сознания: на ее языке формулирует свои политические требования и рабочий класс, использование ее, как средства борьбы, становится правомерным и необходимым. О необходимости для рабочих выдвигать «требования правового характера» говорили еще Маркс и Энгельс. Ленин продолжает в этом отношении ту же марксистскую традицию, и никакого противоречия нет в том, что разоблачаемые им фетиши «свободы», «равенства», «демократии», «конституции» и—о, какая ересь для каждого последователя «экономиста!»— даже пресловутое «правосознание» используется им для формулирования требований и нужд пролетариата. Феодальным, сословным привилегиям должны быть противопоставлены абстрактные «равноправие» и «демократизм»: таков необходимый этап развития. Но своеобразная диалектика указанных юридических понятий такова, что, будучи насыщены фактическим содержанием, они выходят за пределы буржуазного развития и буржуазного миропонимания. Задача марксиста заключается в том, чтобы, не отвергая юридических формул, стоя на юридической же почве, разоблачить их иллюзорность и недостаточность, чтобы, в дальнейшем процессе развития революции, насытить их материальным, классовым содержанием.

Этой, революционной на определенном этапе развития, роли буржуазного права не понимали народники, игнорировавшие связь юридическо-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов, выступавшие в защиту феодально-правовых пережитков (сословной замкнутости крестьян, круговой поруки, отсутствия права продавать землю и т. д.), наивно полагая, что «сохранившиеся в нас остатки старой регламентации могут... послужить основанием для дальнейшего развития регламентации»<sup>2</sup>). Борьба Ленина с этими народническими предрассудками, нашедшая свое отражение в первой аграрной программе российской с.-д., ведется им с точки зрения и в плоскости лозунга юридического равноправия крестьянства. Характерно в этом отношении, что даже в 1917 г., говоря о необходимости безвозмездного перехода к крестьянам помещичьих земель, он упреждает характерное выражение: «Это—не самоуправство, а восстановление права»<sup>3</sup>). Но интересно, что борьбу за пролетарские требования Ленин, юрист по образованию и одно время числившийся пом. прие. поверенного—кстати, мы находим у него едкую характеристику адвокатской политической болтологии<sup>4</sup>)—указанную борьбу в этот ранний период ведет также, стоя на юридической почве. Невольно

<sup>1</sup>) Собр. соч., т. VI, стр. 379.

<sup>2</sup>) Собр. соч., т. II, стр. 335, 336 и т. д.

<sup>3</sup>) Собр. соч., т. XIV, ч. 1, стр. 159.

<sup>4</sup>) Собр. соч., т. VI, стр. 196.

направляется аналогия с ранним периодом деятельности Маркса, — правда, тогда еще идеалиста и буржуазного радикала, но также деботированного своей чисто юридической защитой «свобод печати», немущих крестьян и т. д. (в «Новой Рейнской Газете»). В своих первых работах «О штрафах», «Новый фабричный закон» и т. д. Ленин не только использует легальные возможности борьбы, но пытается исходить из чисто юридических понятий «закона», «равноправия», «справедливого суда» и т. д. Стоя на это и почве, он показывает рабочим, что закон укрепляет только произвол хозяев, что у рабочих нет законных средств давить на правительство, что законы обходятся при помощи инструкций и т. д. Эта точка зрения господствует и в первом ленинском «проекте программ»: «Самым насущным требованием рабочих и первой задачей влияния рабочих на государственные дела должно быть достижение политической свободы, т. е. прямого, обеспеченного законами (конституцией) участия всех граждан в управлении государством» и т. д. <sup>1)</sup>

Юридические лозунги и формулировки обычны в устах Ленина в период нарастания первой русской революции. В «беглой заметке» 1901 г. об одном судебном процессе, выявившем произвол и безнаказанность царской полиции, мы читаем: «С юридической точки зрения этот процесс — образец той казуистики, на которую способны судьи-чиновники... Почему разбирал дело не суд присяжных, а суд-коронных судей с сословными представителями? Потому, что правительство... признало опасным суд присяжных, «суд улицы»... Состав этой улицы изменялся с поразительной быстротой, и темных обывателей заменяли граждане, начинающие создавать свои права, способные даже выставлять борцов за права» и т. д. <sup>2)</sup> И в других местах: «Мы потребуем учреждения судов, которые бы имели право понижать безмерно высокую плату за землю, взимаемую помещиками благодаря безвыходности положения крестьян...» <sup>3)</sup> В Америке «никто не смеет рассуждать о разрешении или неразрешении переселений, потому что каждый гражданин имеет право переселяться куда ему угодно. Там свободные земли на окраинах государства по закону имеет право занять всякий, кто хочет заниматься сельским хозяйством» <sup>4)</sup>. Более того: в этот период Ленин находит оправдание и для публично-правового понятия «единства народной воли»: оно оправдывается «общенародным характером демократического переворота». «Если «общенародный», то значит есть «единство воли», именно постольку, поскольку этот переворот осуществляет общенародные нужды и потребности. За пределами демократизма не может быть и речи о единстве воли между пролетариатом и крестьянской буржуазией. Классовая борьба между ними неизбежна, но на почве демократической республики эта борьба и будет самой глубокой и самой широкой народной борьбой за социализм» <sup>5)</sup>. И если бы в этот период

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. I, стр. 429.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. V, стр. 8, 9, 10.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. IV, стр. 29.

<sup>4)</sup> Собр. соч., т. IV, стр. 54.

<sup>5)</sup> Собр. соч., т. VI, стр. 359.

Ленину поставили вопрос: а почему он забывает о конституционных иллюзиях, то он бы ответил так, как сделал это несколько позже по поводу неустойчивой позиции некоторых меньшевиков: «Когда конституционный строй упрочился, когда конституционная борьба стала на известное время главной формой борьбы классов и борьбы политической вообще, тогда разоблачение конституционных иллюзий не является специальной задачей с.-д., задачей момента...» <sup>1)</sup>

«Самоопределение наций», как известно, является также одной из задач буржуазной революции. Неудивительно, что и национальные требования облекаются в характерную для нее юридическую форму — форму юридического, формального равноправия наций. «Никаких безусловно привилегий, — пишет Ленин, — ни одной нации, ни одному языку, решение вопроса о политическом самоопределении наций, т. е. государственном отделении их, вполне свободным демократическим путем; издание общегосударственного закона, в силу которого любое мероприятие..., проводящее в чем бы то ни было привилегию одной из наций, нарушающее равноправие наций или права национального меньшинства, объявляется незаконным и недействительным...» <sup>2)</sup>. Но юридическая форма, способствуя пробуждению национальных прав от феодальной спячки, отнюдь не должна способствовать национальной ограниченности, не должна из средства превращаться в самоцель, как это имело место в программе «культурно-национальной автономии». «Безусловная обязанность для марксиста отстаивать самый решительный и самый последовательный демократизм во всех частях национального вопроса. Это — задача, главным образом, отрицательная. А дальше идти в поддержке национализма пролетариат не может; ибо дальше начинается «позитивная» деятельность буржуазии, стремящейся к укреплению национализма» <sup>3)</sup>. «Поэтому пролетариат ограничивается отрицательным, так сказать, требованием признания права на самоопределение, не гарантируя ни одной нации, не обязываясь дать ничего на счет других наций... Пролетарии требуют «абстрактного» равноправия, принципиального отсутствия малейших привилегий, будучи враждебны всякому национализму» <sup>4)</sup>.

Именно «абстрактное» равноправие, — чего не понимала Роза Люксембург, — не требование действительного отделения, но лишь юридическая возможность такого отделения, является той буржуазно-правовой формой, только в рамках которой возможно наиболее демократическое разрешение национального вопроса на данном этапе развития, возможна ликвидация национального «феодализма». Форма, как мы видим, аналогичная форме борьбы с пережитками крепостного права и т. п. В лозунгах буржуазной революции юридическая форма, таким образом, играет принципиально-существенную роль.

То же всецело относится и к партийному «праву». Да, к «партийным нормам», к партийному уставу, по отношению к которым Ленин свободно использует весь арсенал юридиче-

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. VII, ч. I, стр. 207.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XIX, стр. 41.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. XIX, стр. 52.

<sup>4)</sup> Собр. соч., т. XIX, стр. 111.



ской терминологии <sup>1)</sup>. Но, могут воскликнуть «критики» марксизма: не рухнет ли от такого признания вся марксистская теория права, связывающая последнее с классовыми производственными, именно распределительными отношениями, с государством? Нисколько, если только мы не будем, наподобие буржуазных юристов, ставить партийные законы рядом с официальным правом, с имущественными отношениями; если мы, наоборот, из этих последних, будем выводить те формы, в которые в буржуазном обществе облекаются и правила партийного распорядка. И неудивительно, что и здесь должна сыграть свою роль юридическая форма; неудивительно, что Ленин в свое время вел такую отчаянную борьбу за уставное оформление партийной организации со сторонниками «организации-процесса», с партийными «экономистами». «Идея № 1 в моей формулировке, — писал Ленин, — состоит в стимуле: «организоваться, в обеспечении реального контроля и руководства». «Не в том дело, что пункты устава могут создавать оппортунизм, а в том, чтобы сковать при помощи их более или менее острое оружие против оппортунизма... «Фактические отношения (в партии. И. Р.) не мертвы, а живут и развиваются. Юридические определения могут соответствовать прогрессивному развитию этих отношений, но могут также (если эти определения плохи) «соответствовать регрессу или застою...» <sup>2)</sup>. «Вопрос идет о том, будет ли наша идейная борьба облекаться формами более высокими, формами обязательной для всей партийной организации или формами старого разброда и старой кружковщины». «Именно форма нашей деятельности (т. е. организация) давным давно отстает и отчаянно отстает от содержания... Неразвитость и непрочность формы не дает возможности сделать дальнейшие серьезные шаги в развитии содержания...» <sup>3)</sup>.

Одним из полемических приемов, излюбленных нашими врагами, является, как известно, противопоставление, проводимое ими между Марксом и Лениным. Этот прием самым невежественным образом используется ими и в вопросах права. В то время как для Ленина, пишет, напр., какой-нибудь эмигрантский профессор С. Гессен, право — лишь «выявление и средство власти», для Маркса право в каждую эпоху соответствует «объективным производственным отношениям», «выражает для отдельного периода общие интересы общественного хозяйства и поэтому действительно является правом» <sup>4)</sup>. А отсюда следуют выводы о «самостоятельной ценности права», о правовом нормативизме и т. д., и т. п. Мы могли убедиться, насколько нелепы все эти хитроумные разграничения и рассуждения. Могли убедиться также, что для признания — при определенных условиях и в определенных пределах! — ценности и существенности юридической формы решительно никакого «нормативизма» не требуется: нужна лишь марксистская диалектика!

<sup>1)</sup> См., напр., т. VI, стр. 156, 164; т. VIII, стр. 27 и др.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. V, стр. 361, 362, 363.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. V, стр. 459, 461.

<sup>4)</sup> «Der Staat, das Recht und die Wirtschaft des Bolschewismus», F. II, Berlin, 1925, S. 5, 6.

3.

Поставив вопрос о правомерности — в определенных пределах и на определенной ступени развития исторической борьбы буржуазно-правовой нормы, Ленин ставит также вопрос о пределах этой правомерности. И по этому последнему поводу мы находим в работах Ленина также не мало ценных указаний, могущих способствовать правильному его разрешению.

«Политика имеет свою внутреннюю логику, — пишет в одном месте Ленин. — Сколько раз указывали на то, что между с.-д. и либералами возможны соглашения технические, насколько не ведущие к политическому блоку... И жизнь неизменно разбивала эти красивые построения и добрые пожелания, ибо из-за прикрытия «технических» соглашений неуклонно пробивали себе дорогу идеи политического блока» <sup>1)</sup>. Эта мысль Ленина с полным правом может быть отнесена и к юридической форме. И последняя, как это указывал еще Энгельс, построена на внутренней согласованности со своими принципами, с «идеями права», не может идти против самой себя. И здесь чисто «техническое», казалось бы, оперирование формальным равноправием, формальной свободой и т. п. может привести к «политическому» соглашению с их буржуазным содержанием, — к подчинению юридической форме. И тут нужна сугубая осторожность: постоянное внимание не к «букве», но к «мысли» проводимых правовых положений и лозунгов, к их классовому, материальному содержанию. И тут сказывается любопытная особенность юридической формы: внешне безукоризненные и внутренне согласованные положения и принципы буржуазного права обнаруживают вдруг самые неожиданные внутренние противоречия, как только мы начинаем доводить их до их логического конца, как только мы начинаем раскрывать их реальный смысл. Здесь сказывается, разумеется, общий закон отношения формально-логического рассуждения к рассмотрению диалектическому...

Эти реальные противоречия правовой формы, при всей внутренней формальной ее согласованности, Ленин делает порой попытки раскрывать, и стоя на чисто юридической почве, противопоставляя одно другому проникнутые как-будто одним духом правовые положения. Он иронизирует, напр., по поводу того, что самодержавие боится, «что хитросплетения канцелярских правил и чиновничьих прав и обязанностей столкнутся с каким-нибудь другими канцелярскими правилами... с правилами и обязанностями каких-нибудь других чиновников...» <sup>2)</sup>. Или, переходя от бюрократических привилегий к применению буржуазно-правовых принципов, он так искусно оперирует ими, говоря о свободе слова в партии: «Свобода слова и печати должна быть полная. Я обязан тебе предоставить, во имя свободы слова, полное право кричать, врать и писать что-угодно. Но ты обязан мне, во имя свободы союзов, предоставить право заключать или расторгать союз с людьми, говоря им то-то и то-то» <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. VIII, стр. 464.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. I, стр. 269.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. VII, ч. 1, стр. 24.

Но в партийной организации «право» и «законность» вообще теряют свой чисто формальный характер и юридические определения получают лишь весьма ограниченное применение. Здесь играет роль не буква, а смысл устава <sup>1)</sup>. И хотя Ленин говорит и в этих случаях о «гарантии прав», но, как он сам замечает в другом месте, здесь право зачастую сливается с обязанностью <sup>2)</sup>. По поводу формального отношения к партийной «законности» Богданова и др., организовавших школу на Капри, Ленин замечает: «Все тут вполне законно. Законно то, что единомышленники в партии группируются вместе. Законно то, что единомышленники собирают кассу и затевают одно общее пропагандистски-агитационное предприятие. Законно то, что формой этого предприятия они желают выбрать в данный момент, скажем к примеру, не газету, а «школу». Законно то, что они считают ее официально-партийной, раз ее устраивают члены партии... Все тут вполне законно, и все было очень хорошо,—если бы не было обмана своей собственной партией. Разве это не обман партии, если вы публично подчеркиваете партийность школы, т.е. ограничиваетесь вопросом о формальной ее подзаконности и не называете имен инициаторов и устроителей школы, т.е. умалчиваете об идейно-политическом направлении школы, как предприятия новой фракции нашей партии?» <sup>3)</sup>. Как полезно было бы вспомнить эти слова Ленина о формальной законности некоторым любителям дискуссий в нашей партии!

Формализм в понимании и в применении юридической формы становится вреден и нежелателен при столкновении с вопросом целесообразности. Нельзя смешивать юридическую возможность, доставляемую формальным равноправием, с фактическим ее использованием. Правовая норма, выдвигаемая как принцип, использующим ее пролетариатом, может иметь смысл именно в своей юридической абстрактности, именно, как юридическая гарантия, охраняющая права меньшинства и т. п. Но она вовсе не должна отождествляться с практическим ее применением. Мы знаем из нашей партийной практики, как часто на такую чисто формальную почву становились наши «композиционеры» по вопросу о «назначенстве» и т. п., ссылаясь на «демократию». И как Ленин, сам выдвигавший необходимость разграничения советской и партийной работы, отвергает этот общий принцип там, где обнаруживается его нецелесообразность, напр., по вопросу о ЦКК и РКК. Но такое строгое различие между юридическим и фактическим проводилось им и ранее. Право наций на самоопределение нельзя понимать, как предложение им всегда действительно отделяться. То же относится к разводу: «Пример развода наглядно показывает, что нельзя быть демократом и социалистом, не требуя сейчас же полной свободы развода, ибо отсутствие этой свободы есть сверхприращение угнетенного пола, женщины, хотя вовсе не трудно смекнуть, что признание свободы ухода от мужей не есть приглашение всем женам уходить!» <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. VI, стр. 164.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. VII, ч. 1, стр. 295.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. XIII, стр. 382.

<sup>4)</sup> Собр. соч., т. XIII, стр. 382.

Но особенно нелепым становится юридический формализм, когда твое «право» сталкивается с чуждой тебе «силой», когда при помощи юридической формы проводится чуждое классовое содержание. Здесь отчетливо выявляется относительность юридической формы, вся иллюзорность пустых речей о «свободе» и «демократии», об Учредительном Собрании, когда оно не имеет «силы и власть учреждать» <sup>1)</sup>. Штрафы налагаются на рабочих самым «законным» образом, Дума распускается правительством на самом «законном», конституционном основании: собирается новая Дума, в которой кадетские профессора занимаются «юридической казуистикой по римскому праву». И здесь «совершенно недопустимо для марксиста ограничиваться абстрактно-юридическим противопоставлением «ответственного» министерства «безответственному», «думского» самодержавному и т. п., как делает Плеханов... Надо разобрать классовое значение обсуждаемой меры... Содержание ее—сделка или попытка сделки самодержавия с либеральной буржуазией для прекращения революции. Объективно-экономическое значение думского министерства именно таково...: это на деле кадетское министерство». А меньшевики «не хотели понять довода большевиков, сводивших юридическую фикцию к классовому основанию» <sup>2)</sup>.

С этим тесно связан вопрос об исполнении легальных возможностей. Есть компромиссы и компромиссы—любил говорить Ленин. «Марксист не зарекается от подзаконной борьбы, от мирного парламентаризма, от «планового» подчинения рамкам исторической работы, определенным Бисмарками и Беннигсенами, Столыпинными и Милкоковыми. Но марксист, используя всякую, даже реакционную почву для борьбы за революцию, не опускается до апофеоза реакции, не забывает о борьбе за наилучшую возможную почву деятельности. Поэтому марксист первый проводит наступление революционной эпохи..., первый вступает на путь прямой революционной борьбы... последний, покидает путь непосредственно-революционной борьбы... Этого не понимал в свое время т. Ларин, который «регресс русской революции... возводил... в прогресс от стихийного к планомерному», который «восторгался планомерностью подзаконной борьбы и поносил стихийность борьбы за силу и власть, определяющие пределы «подзаконного»» <sup>3)</sup>.

Что «сила и власть определяют пределы подзаконного», с особенной отчетливостью выявляется в периоды революции. Революция сама себе дает законы. «Революция есть война. Это—единственная законная, правомерная, справедливая, действительно великая война...» <sup>4)</sup>. Известно, какие безуспешные попытки обосновать революцию и ее завоевания, стоя на чисто юридической почве, делал Лассаль. Ленин совершенно чужд этой нелепой затее: революция может быть оправдана с этической точки зрения—точки зрения общих потребностей общественного развития. Но она совершенно не может быть обоснована чисто юридически, исходя из продолжающего

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. VI, стр. 331.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. VIII, стр. 269.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. VIII, стр. 40, 41. Ср. т. XI, ч. 2, стр. 291.

<sup>4)</sup> Собр. соч., т. VI, стр. 71.

действия прежних юридических институтов, из «законной почвы». Революция не укладывается в рамки юридической формы. Именно эту простую мысль, столь чуждую юридическому мышлению, так рельефно выразил Ленин, разъяря «кадетским публицистам и ученым профессорам», что существенный из методов «революционного вихря» состоит именно в «захвате» народом политического свободы, осуществлении ее без всяких прав и законов». «Новая революционная власть,—говорит он,—не признавала никакой другой власти, никакого закона, никакой нормы от кого бы то ни было исходящей». Она «не ограничена никакими законами», она опирается на насилие. В революция масса населения «сама и непосредственно выступает на сцену, сама чинит суд и расправу, применяет власть, творит новое революционное право»<sup>1)</sup>. Не опирающаяся на право революция творит право. И не какое-либо абстрактное «правосознание» творит она (последнее, конечно, прилагается, но не в нем дело!): она создает непосредственным массовым действием новый порядок правовых отношений. Тут окончательно теряется свой смысл формальная логика, и ее место занимает революционная диалектика. И совершенно целиком представляется чисто «юридическое» предложение Отто Бауэра об «упорядоченной экспроприации»<sup>2)</sup>—на законной почве!

По работам Ленина интересно проследить, как развитие пролетарской революции окончательно убивает юридические фетиши, правомерные на этапе буржуазной революции. И здесь Ленин также исходит из тщательного анализа юридической формы, выявляет все ее внутренние противоречия при доведении ее до ее логического конца, при сопоставлении ее с ее экономическим содержанием. Эту мысль он развивает еще в дореволюционный период: «При капитализме обычные не как отдельные случаи, а как типичное явление, такие условия, когда для угнетенных классов «реализовать» их демократические права невозможно. Право развода в большинстве случаев останется нереализуемым при капитализме, ибо угнетенный пол задавлен экономически. Право выбрать «своих» народных судей, чиновников, учителей, присяжных и т. д. также в большинстве случаев при капитализме неосуществимо именно в силу экономической заданности рабочих и крестьян. То же относится к демократической республике...»<sup>3)</sup>. Пролетарская революция завершает это разоблачение внутренних противоречий буржуазного права.

Мы не станем останавливаться здесь на достаточно известной критике буржуазной демократии, которую ведет в этот период Ленин, противопоставляя ей «новый тип государства»,—по цитируемым словам Маркса,—«открытую, наконец, политическую форму, в которой может произойти экономическое освобождение трудящихся». Отметим только, что новое «социалистическое», «пролетарское» государство (Ленин употребляет оба эти термина) играет у него двойную роль. С одной стороны, оно орудие про-

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. VII, ч. 1, стр. 124. Ср. т. XIV, ч. 1, стр. 24, 32, 40, 244 и т. д.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XVII, стр. 19.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. XIII, стр. 362.

летариата в его классовой борьбе, орудие подавления сопротивления эксплуататоров, «особая дубинка». С другой стороны, и вместе с тем—оно орудие социалистического строительства, социалистического воспитания масс. Отсюда и особый характер того права, которое, создаваясь победившим пролетариатом, закрепляется в государственных законах и декретах. Существование права «неизбежно в обществе, выходящем из недр капитализма»<sup>1)</sup>. Но он получает совершенно иной смысл в период ожесточенной борьбы,—смысл, оставшийся непонятным ни «юридически мыслящим» Каутскому и меньшевикам, упрекавшим советскую власть в несоблюдении конституции, ни, в не меньшей мере застрявшим на буржуазно-правовой точке зрения, левым эсерам, искавшим формальных недочетов в нашем законодательстве. «Издавая законы, идущие навстречу чаяниям и надеждам широких народных масс, новая власть ставит веки на пути развития новых форм жизни»<sup>2)</sup>,—говорит Ленин. «Мы согласны изменять... конституцию и ее текст в связи с требованиями времени»<sup>3)</sup>. «Если бы мы ожидали, что от написания сотни декретов изменится вся деревенская жизнь, мы были бы круглыми идиотами. Но если бы мы отказались от того, чтобы в декретах наметить путь, мы были бы изменниками социализму. Эти декреты, которые практически не могли быть проведены сразу и полностью, играли большую роль для пропаганды... Наш декрет есть призыв... Декреты—это инструкции, зовущие к массовому практическому делу... Мы не будем смотреть на них, как на абсолютные постановления, которые надо во что бы то ни стало, тотчас же, сразу провести...»<sup>4)</sup>.

Из приведенных слов Ленина ясно, как ошибочно было бы видеть в декретах периода гражданской войны «социалистическое право» в том смысле, который хотят придать ему некоторые юристы-теоретики. Содержание их не «социалистический правопорядок», а призыв, путь к социализму, инструкции практической работы. Форма же их неизбежно остается «буржуазно-правовой» для «общества, выходящего из недр капитализма», и формальные недочеты в соблюдении этой формы объясняются именно особым характером их содержания. И здесь интересно отметить, что даже в этот период беспощадного разоблачения юридических фетишей и иллюзий, мы сохраняем всю характерную юридическую терминологию, начиная от «декларации прав» и «правосознания» и кончая «свободой», «равенством» и пролетарской «демократией». Но эти последние понятия получают новое, материальное, отчетливо классовое содержание. Перелистайте речи и статьи Ленина, относящиеся к 1918, 1919 и 1920 г.г. Почти всюду один и тот же лейт-мотив, одна и та же упорная, постоянно возвращающаяся мысль: противопоставление формальных «свободы» и «равенства» «свободе» и «равенству фактическим». «Свобода от угнетения каким классом? Равенство какого класса с каким? Демократия на почве част-

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 378.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XV, стр. 28.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. XVI, стр. 429.

<sup>4)</sup> Собр. соч., т. XVI, стр. 149. Ср. стр. 152 и др.

ной собственности или на базе борьбы за отмену частной собственности? и т. д.»<sup>1)</sup> Эта мысль о том, что буржуазное право не может служить средством революционной борьбы за социализм, хотя оно было пригодно в борьбе за буржуазную революцию, получила у Ленина в одном месте такое отчетливое выражение: «Формальное равенство не может быть формой борьбы за материальное равенство, против фактического неравенства»<sup>2)</sup>.

Могут сказать: значит, советское право в этот период было основано на привилегии? Да, это—«привилегия», но привилегия для огромного большинства, привилегия, которая провозглашается так же открыто и в том же смысле, как открыто и в каком смысле Ленин называл нашу форму правления «олигархией». Потому здесь мы имеем дело уже с тем высшим типом демократизма, в котором понятие «олигархии» и «привилегии» теряют всякий смысл, в котором правовая форма начинает терять все свои характерные для «субъекта прав» особенности. И, тем не менее, отмирая, она все же остается правовой формой, «вышедшей из недр капитализма». И постольку подтверждается высказанная по другому поводу глубокая мысль Ленина: «Могучее содержание работы (за советскую власть, за диктатуру пролетариата)... может и должно проявить себя в любой форме и новой и старой, может и должно переродиться, победить, подчинить себе все формы, не только новые, но и старые,—не для того, чтобы со старым помириться, а для того, чтобы уметь все и всячески, новые и старые формы сделать орудием полной и окончательной, решительной и бесповоротной победы коммунизма»<sup>3)</sup>.

Именно это положение должно лежать в основе всей нашей новейшей законодательной политики, со времени перехода к новой экономической политике. Допущение в определенных областях государственного капитализма, допущение свободы торгового оборота, наряду с существованием государственных предприятий последовательно-социалистического типа и соответствующих форм кооперативной организации—позволяет, по словам Ленина, найти «ту степень соединения частного интереса, частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общими интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов»<sup>4)</sup>. С одной стороны, здесь сохраняется принцип правовой привилегии: так, напр., ряд привилегий экономических, финансовых и банковских—кооперации; в этом должна состоять поддержка нашим социалистическим государством нового принципа организации населения»<sup>5)</sup>. С другой стороны, в тех случаях, когда допускается капитализм, в концессиях, напр.: «мы имеем здесь прямо формальный письменный договор... мы точно знаем свои выгоды и свои потери, свои права и свои обязанности...»<sup>6)</sup>. Аналогичным образом рассматривает Ленин

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XVI, стр. 355.

<sup>2)</sup> Ленинский сборник, III, стр. 495.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. XVII, стр. 188.

<sup>4)</sup> О кооперации, Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 139.

<sup>5)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 142.

<sup>6)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 218.

и кооперацию на том более раннем этапе, когда он еще видит в ней черты госкапитализма. Он говорит об «известном расширении ее «свободы» и «прав», о том, что, по сравнению с концессией, «кооперация не допускает ни вполне точного договора, ни вполне точного срока»<sup>1)</sup>. Как осуществляется это соединение обоих принципов, в форме подчинения «частного интереса» «общим интересам» Ленин поясняет, характеризуя наш гражданский кодекс и общее судостроительство: «Мы и здесь старались соблюсти грани между тем, что является законным удовлетворением любого гражданина, связанным с современным экономическим оборотом, и тем, что представляет собой злоупотребление правом,—которое во всех государствах легально и которое мы легализовать не хотим»...

Задача борьбы с злоупотреблениями и направление «частного интереса» в социалистическое русло лежит на советском законодательстве. Это—уже не прежние декреты, правовые формы социалистической пропаганды. Новые законы борются со спекуляцией, помогают урегулированию коммерческих отношений, «предоставляют всем возможность бороться с бюрократизмом—волокистой». «Суд у нас пролетарский, и суд у нас сумеет посмотреть за каждым частным предпринимателем, чтобы законы писались для них не так, как они пишется в буржуазных государствах»<sup>2)</sup>. Однако «центр внимания не в том, чтобы законодательствовать»<sup>3)</sup>: «гвоздь» в распределении сил, в построении государственного аппарата, лишнего бюрократизма и т. д. Важно «не допустить ни в коем случае того, что было бы наиболее опасно и вредно в настоящее время... излишней и неудачной, скороспелой, не проверенной с опытом регламентации». И, в частности, «быть как можно осторожнее, дабы неумелым вмешательством не затруднить успешного развития сельско-хозяйственного производства»<sup>4)</sup>.

Период «отступления» усилил буржуазно-правовое содержание используемой нами юридической формы. «Наступление» приводит к тому, что в этой форме все отчетливее выступает новое, складываемое в нее, социалистическое содержание. В своем дальнейшем развитии сил оно должно привести к постепенному отмиранию характерных особенностей ее прежнего буржуазно-правового содержания. И в области допущенной торговли формальное равенство должно все более вытесняться «фактическим равенством», формальная свобода—фактической возможностью участия в торговом обороте. Одновременно должна постепенно стираться грань между публичным и частным правом,—общими и частными интересами. Государство и кооперация, выступая в качестве «субъектов права», должны все более становиться привилегированными «субъектами прав». Но самое понятие привилегии должно утрачивать свой смысл, равно как и различие между правами и обязанностями. И самое право, в связи с ростом социализма, должно «отмениться в меру уже достигнутого экономического переворота».

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 218, 219.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 228, 283, 392, 394, 446.

<sup>3)</sup> Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 54.

<sup>4)</sup> Ленинский сборник, IV, стр. 395.

## Энгельс и диалектика в биологии.

А. Деборин.

### I.

В настоящей статье мы намерены подвергнуть анализу мысли Энгельса о диалектике в биологии. Нам придется в связи с этой задачей заняться сопоставлением его идей с результатами и данными, доставляемыми нам современной биологией. Мы убедимся, что витализм и идеализм в современной биологии в значительной степени объясняется неспособностью многих биологов и философов встать на диалектическую точку зрения. С другой стороны, предполагаемый краткий очерк должен убедить нас в том, что все поистине великие открытия в области биологии совершены теми мыслителями и учеными, которые пользовались—пусть бессознательно—диалектическим методом при исследовании явлений жизни.

Биология собственным своим развитием приводит к необходимости диалектической точки зрения. В самом деле, биология топталась бы на одном месте, если бы она продолжала оставаться, например, на почве неизменности видов, если бы она продолжала пользоваться метафизическим методом с его неизменными категориями и абсолютными противоположностями. Логика биологии—не формальная логика, а логика диалектическая. До сих пор диалектическая логика в биологии применялась бессознательно, стихийно. Необходимо, чтобы биологи и в особенности биологи-марксисты поняли, что диалектический материализм составляет теоретическую и методологическую основу их науки. Это относится не только к биологии, но и к естествознанию вообще. Тогда борьба с витализмом и идеализмом в этой области значительно будет облегчена.

Достаточно ознакомиться с книгой виталиста Д. Эйнгорна<sup>1)</sup>, чтобы убедиться в абсолютной неспособности этого философа выйти за пределы формальной логики и метафизического метода. Чрезвычайно характерно, что автор сопоставляет Геккелевскую теорию органического развития, которая исходит из «бесформенных форм», «организмов без организа-

<sup>1)</sup> David Einhorn, Erfahrung und Deszendenztheorie, 1924.

ции» «и безжизненных живых существ», т. е. из очевидного противоречия, с учением Гегеля, также кладущего в основу своей логики «самопротиворечие», бытие, равное небытию»<sup>1)</sup>.

Этим сопоставлением Эйнгорн хотел показать всю чуждость теории Геккеля. Однако надо сказать, что проведенная параллель довольно удачна, ибо она действительно свидетельствует о том, что современная научная биология «заражена» диалектикой. Эйнгорн мобилизовал всех виталистов и всю свою эрудицию для борьбы против современной эволюционной теории. В результате же он приходит к выводу, что современная эволюционная теория Дарвина—Геккеля есть не что иное, как гегельяница, ибо она покоится на принципе «самопротиворечия». Если Эйнгорн в чем-нибудь прав, то в этом своем заключении о близком «родстве» между современной теорией органического развития и диалектикой. Энгельс еще в семидесятых годах указал на то, что «процесс органического развития как отдельных индивидов, так и видов, путем дифференцирования, является поразительнейшим образцом рациональной диалектики»<sup>2)</sup>.

Современная теория эволюции в методологическом отношении в значительной степени покоится на диалектической логике и в этом смысле не отделима от последней. Кто принимает теорию органического развития Дарвина—Геккеля, тот естественно не может довольствоваться метафизическим методом и вынужден признать правильность материалистической диалектики.

### II.

Теперь обратимся к Энгельсу и попытаемся привести в систематическую связь его взгляды на диалектический характер биологии. Само собою разумеется, что общие законы диалектики применимы и к биологии, несмотря на то, что они могут принять в этой области несколько иные формы, поскольку они преломляются здесь в особой среде.

Прежде всего, Энгельс подчеркивает тот общий закон, по которому все в природе находится в состоянии постоянного изменения и превращения. Если этот закон верен для неорганической природы, то он сугубо верен для органической природы.

В органической природе,—говорит Энгельс,—так же неприменимо абстрактное тождество, как и в неорганической природе. «Растение, животное, каждая клетка в каждое мгновение своей жизни тождественны сами с собою и в то же время отличаются от самих себя, благодаря усвоению и выделению веществ, бла-

<sup>1)</sup> David Einhorn, Erfahrung und Deszendenztheorie, стр. 205.

<sup>2)</sup> Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. II, стр. 5

годаря образованию и умиранию клеток, благодаря процессу циркуляции,—словом, благодаря сумме непрерывных молекулярных изменений, которые составляют жизнь и итог которых выступают наглядно в разных фазах жизни—эмбриональной жизни, молодости, половой зрелости, процесса размножения, старости, смерти. Мы оставляем в стороне развитие видов. Чем больше развивается физиология, тем важнее становятся для нее эти непрерывные, бесконечно малые изменения, тем важнее также становится для нее рассмотрение различия внутри тождества, и старая абстрактная, формальная точка зрения тождества, согласно которой органическое существо рассматривается как нечто просто тождественное с собой, постоянное, оказывается просто устарелой. Несмотря на это, основывающийся на ней образ мышления продолжает существовать вместе со своими категориями. Но уже в неорганической природе тождество, как таковое, в действительности не существует»<sup>1)</sup>.

Абстрактное тождество и его антитеза, различие,—продолжает Энгельс,—уместны только в математике, которая является абстрактной наукой, имеющей дело с уместными построениями. Но даже и в математике абстрактное тождество постоянно снимается. В конкретных же науках мы имеем дело с реальностями, с конкретными тождествами. Диалектика по самому существу своему конкретна. Теория диалектики есть отражение реальной, объективной диалектики. Она формулирует всеобщие законы движения и в этом смысле, поскольку она отвлекается от массы отдельных, конкретных случаев, можно говорить условно о диалектике, как абстрактной науке о движении и изменениях вообще, в отличие от конкретной диалектики в каждой отдельной области действительности. Но так как диалектика тем и отличается от формальной логики, что она исследует живую действительность, а не ее тени или отвлеченные формы, то диалектика, в особенности материалистическая диалектика, конкретна по самому своему существу. Это в особенности видно на самом исходном пункте диалектики,—на конкретном понятии или на конкретном тождестве, поскольку речь идет об отдельной вещи. Формальное тождество означает постоянство и неизменность вещи: оно не допускает движения и изменений вещи внутри ее самой. Это—абстрактная точка зрения. Диалектика же исходит из конкретного тождества, из тождества, содержащего в себе и различие.

«Закон тождества в старо-метафизическом смысле есть основной закон старого мировоззрения:  $a=a$ . Каждая вещь равна самой себе. Все было постоянным—солнечная система, звезды, организмы. Естествознание опровергло этот закон в каждом от-

1) См. Энгельс, там же, стр. 13—15.

дельном случае, шаг за шагом; но теоретически он все еще продолжает существовать и приверженцы старого все еще противопоставляют его новому. Вещь не может быть одновременно сама собой и чем-то другим. И, однако, естествознание в последнее время доказало в подробностях тот факт, что истинное, конкретное тождество содержит в себе различие и изменение»<sup>1)</sup>.

Метафизические категории, в том числе и абстрактное тождество, применимы в очень узких границах. «Но для синтетического естествознания абстрактное тождество совершенно недостаточно даже в любой отдельной области, и хотя в целом идея о таком тождестве практически теперь отвергнута, но теоретически она все еще властвует над умами, и большинство естествоиспытателей все еще воображают, что тождество и различие являются непримиримыми противоположностями, а не однородными полюсами, имеющими значение только в своем взаимодействии, во включении различия в тождество»<sup>2)</sup>.

Мы уже выше указали на то, что современное естествознание, и в особенности биология, практически и фактически давно уже не стоит на почве формальной логики, но теоретически это обстоятельство в широких кругах естествоиспытателей не осознано еще до сих пор, между тем, как естествознание и в частности биология дают богатейший материал для подтверждения правильности диалектического понимания процессов природы.

### III.

Понятие, с точки зрения диалектики, конкретно. Формальная логика превращает понятие в абстрактную, бессодержательную тень действительности. На самом же деле понятия полны реального содержания. Помимо этого, они не являются чем-то застывшими и неизменными, а текучими и переходящими друг в друга, конечно, поскольку они составляют отражение реальных процессов действительности. Так как отдельные вещи не существуют вне связи с другими вещами, с общим, составляя моменты, звенья последнего, то естественно, что противоположность между отдельным и общим только относительная. С другой стороны, общее не существует вне отдельных вещей. Поэтому мы в праве сказать вместе с Лениным: «Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного... Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.»<sup>3)</sup>.

1) Энгельс, Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. II, стр. 37.

2) Там же, стр. 37.

3) Ленин, К вопросу о диалектике,—«Большевик», 1925 г., № 5—6, стр. 103.

На такой же точке зрения стоит и Энгельс, для которого нет абсолютной противоположности между единичным, особенным и всеобщим—этим тремя категориями, в рамках которых движется все «учение о понятии». Здесь Энгельс имеет в виду гегелевское учение о понятии, различающее в нем три указанных звена или категории. Грани между этими моментами текущи и подвижны. Единичное переходит в особенное, особенное переходит во всеобщее. Гегель,—говорит Энгельс,—довольно часто иллюстрирует этот переход на примере перехода индивида в вид и вида в род. «И вот приходят Геккели,—продолжает Энгельс,—со своей индукцией и выдвигают против Гегеля, видя в этом какой-то большой подвиг, ту мысль, что надо переходить от единичного к особенному и затем от особенного к всеобщему, от индивида к виду, а затем от вида к роду, позволяя затем делать дедуктивные умозаключения, которые должны уже повести дальше!»<sup>1)</sup>

К вопросу об индукции и дедукции мы вернемся ниже; пока же нам важно установить природу понятия. Конкретное понятие является единством, включающим отдельное и особенное. Само же понятие подвижно и текуче, так как действительность, которую она отображает, находится постоянно в состоянии движения и изменения. Все переходит друг в друга. «У низших животных невозможно строго установить понятие индивида,—говорит Энгельс.—Не только в том смысле, является ли вот это существо индивидом или колонией, но и по вопросу о том, где в истории развития прекращается один индивид и начинается другой»<sup>2)</sup>.

В свете современного естествознания все противоположности переходят друг в друга, нет абсолютных граней между позвоночными и беспозвоночными, между живыми и неживыми и т. д. Единство всего существующего утверждается процессом превращения форм. Промежуточные члены или формы служат звеньями, соединяющими противоположности. «Диалектика, которая точно также (как и теория развития А. Д.) не знает hard and fast lines и не знает безусловного, пригодного повсюду «или-или», также и то, и другое, примиряя между собою противоречия, диалектика—это единственный пригодный на высшей ступени развития метод мышления. Разумеется, для повседневно-го обихода, для научной мелочной торговли метафизическая категория сохраняет свое значение»<sup>3)</sup>.

Понятие вида составляет основу всей современной биологии, всего дарвинизма. Как же образуются виды? Посредством не-

<sup>1)</sup> Энгельс, там же, стр. 183.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 61.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 61.

заметных изменений отдельных индивидов создаются такие различия, которые превращают данный вид в новый вид, качественно отличный от старого.

В своей превосходной работе «Исторический метод в биологии» К. А. Тимирязев подвергает как логическому, так и биологическому анализу понятие вида. Наш выдающийся биолог часто становится на диалектическую точку зрения. В его работах можно найти превосходные образцы диалектического понимания и истолкования биологических проблем. В главе IV названной работы К. Тимирязев разбирает вопрос о том, является ли естественно-научный вид отвлеченным понятием или реальным фактом. Его трактовка этого вопроса чрезвычайно интересна. Естественно-научные биологические явления,—говорит он,—стало возможным только с тех пор, как исчез призрак постоянного, вечно неизменного вида. Но для того, чтобы окончательно разрушить этот старый метафизический предрассудок, требовалось, во-первых, найти в самых свойствах представителей видовых форм указания на подвижность, на текучесть этих форм, уловить признаки как бы застывшего движения, как он прекрасно выражается, и, во-вторых, подыскать несомненные, очевидные примеры наблюдаемого движения форм, т. е. их изменения за память истории. «Таким образом,—говорит он,—мы или сопоставляем различные формы, захваченные в различные моменты движения: это—довод, так сказать, статический; или стараемся уловить самый процесс движения, т. е. изменения форм: этот довод назовем динамическим»<sup>1)</sup>.

Представители видовых форм в своем как бы застывшем движении не обнаруживают тех абсолютных и неизменных граней, той законченности и замкнутости, которые были бы характерны для постоянства и неизменности видов.

Второе соображение, которое приводит К. Тимирязев,—это факт существования разновидностей, т. е. неполного тождества всех представителей вида. «Видовые формы изменчивы,—в этом согласны все без исключения натуралисты,—но по одним эта изменчивость имеет предел, по другим—она беспредельна, т. е. может достигать таких размеров, что выделенные разновидности ничем не будут отличаться от самостоятельных видов»<sup>2)</sup>.

Я не намерен привести здесь целиком ход мыслей К. Тимирязева. Для нас важны только его выводы, которые сводятся к тому, что между разновидностью и видом существует лишь различие в степени, т. е. различие только количествен-

<sup>1)</sup> К. А. Тимирязев, Исторический метод в биологии, 1922 г., стр. 59—60.

<sup>2)</sup> К. Тимирязев, там же, стр. 61.

ное. Но различие в степени между разновидностью и видом,—говорит правильно Тимирязев,—может в данном случае служить лишь новым доказательством в пользу изменчивости видов. Разновидность и вид,—заключает он,—это два понятия, нечувствительно переходящие одно в другое. Но эти количественные различия,—прибавим мы от себя,—ведут к качественным различиям.

«Следовательно, самый факт существования разновидностей должен быть признан за выражение изменчивости, подвижности видовых форм. Никто ранее Дарвина не представлял этого логического вывода с такою неустрашимой силой, обставив его массой фактических документов и формулируя в положении: разновидность есть зачинающийся вид, вид—резкая разновидность<sup>1)</sup>. Разновидность и вид—только две ступени или стадии одного и того же процесса.

Далее, К. Тимирязев приводит факты, доказывающие действительные и бесспорные случаи изменения известных форм, т. е. реальное историческое движение форм. Что же этим устанавливается? Прежде всего существование разновидностей разных степеней или, как Тимирязев говорит, всех степеней в пространстве и во времени. Абсолютного отличия вида от разновидности не существует. Мы имеем здесь целый ряд переходов, количественных различий, чем и доказывается текучесть, подвижность самого вида. Но нам кажется, что определенная «мера степени различия»,—как выражается Тимирязев,—все же должна давать возможность отличить уже качественный переход, благодаря количественным изменениям, когда возникает из изменения разновидностей данного вида новый вид. Вряд ли бы против этого и возражал К. Тимирязев, хотя он и аргументирует чисто количественными, степенными различиями и не указывает на переход к новому качеству. Мы не согласны с К. Тимирязевым, когда он подчеркивает «невозможность определить объективную меру той степени различия, которая давала бы право две несходные формы признавать за два вида или только за две разновидности того же вида»<sup>2)</sup>.

Но ведь нет никакого сомнения, что, при всей текучести и подвижности видовых групп, мы все же отличаем виды друг от друга, как относительно самостоятельные качественные формы. Конечно, и видовые формы так же связаны между собой переходами, как и разновидности одного вида. Абсолютных граней, разумеется, нет, везде существуют переходные формы; тем не

<sup>1)</sup> К. Тимирязев, там же, стр. 67. См. также: Дарвин, Происхождение видов (Собрание сочинений, 1907 г., т. I), стр. 138.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 62.

менее, мы не можем ограничиться одними количественными различиями; необходимо иметь в виду, что количественные различия связаны с определенными качественными формами, что отношение между количеством и качеством взаимно.

А теперь уместно будет обратиться к основному вопросу, который нас интересует в этой связи: представляет ли собою вид отвлеченное понятие или реальный факт? К. Тимирязев формулирует этот вопрос следующим образом: «Но если вид представляется чем-то текущим, изменяющимся в пространстве и во времени, если самое понятие о нем является неопределенным, неуловимым, то, с другой стороны, как же согласить это с фактом, что в установлении значительного большинства видов мнения натуралистов вполне согласны? Как объяснить себе, наконец, возникновение этого понятия в человеческой голове?»<sup>1)</sup>.

Тимирязев прежде всего отвергает точку зрения Шлейдена, полагающего, что в учении об естественно-историческом виде мы имеем пережиток средневекового схоластического спора об «универсалиях». Если принять точку зрения крайнего номинализма,—скажем мы от себя,—то придется признать, что в действительности не существуют не только виды, не существуют и классы в человеческом обществе. Все это, мол, лишь отвлеченные понятия, которым ничего реального в действительном мире не соответствует.

Очевидно, что это неверно, очевидно, что естественно-исторический вид или общественный класс не простые отвлеченные понятия, существующие только в нашей голове. «Слово вид в применении к организмам,—говорит К. Тимирязев,—имеет, очевидно, два значения и от неясного различия двойственности этой точки зрения проистекают бесконечные недоразумения и разногласия ученых. В одном случае вид, очевидно, только отвлеченное понятие, в другом—он реальный факт. Мы, очевидно, то противопоставляем вид разновидности, то противопоставляем его другим видам. Вид, противопоставляемый разновидности, есть, конечно, отвлеченное понятие, но виды, целый ряд видов, противопоставляемых друг другу, представляют несомненный объективный факт, и от этого-то объективного факта, а не от отвлеченного понятия, отправлялись первые классификаторы, установившие учение о виде.

Соединение разновидностей в видовые группы, точно так же, как и соединение видов в роды, родов в семейства, конечно, достигается путем отвлечения, но положение, что виды, из которых слагаются коллективные единицы высшего порядка, в большем числе случаев не связаны в одно непрерывное целое.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 70—71.



а представляют между собою отдельные звенья разорванной цепи, есть простое явление наблюдаемого факта и никаким образом не вытекает из психологического процесса образования отвлеченных понятий.

Шлейден прав, говоря, что «лошадь» вообще не существует иначе, как в нашем представлении, потому что отвлеченная лошадь не имеет масти. Это верно по отношению к вариации в пределах этого понятия. Но отвлеченность общего понятия «лошадь» по отношению к обнимаемым им конкретным частным случаям не уничтожает того реального факта, что лошадь, как группа сходных существ, т. е. все лошади, резко отличаются от других групп сходных между собою существ, каковы осел, зебра, квага и т. д. Эти грани, эти разорванные звенья органической цепи не внесены человеком в природу, а навязаны ему самою природою».

Общий вывод, к которому приходит Тимирязев на основании приведенных соображений, сводится к следующему: «Виды, как категории, строго определенной, всегда себе равной и неизменной, в природе не существуют; утверждать обратное значило бы действительно повторять старую ошибку схоластиков—«реалистов». Но рядом с этим, и совершенно независимо от этого вывода, мы должны признать, что виды—в наблюдаемый нами момент—имеют реальное существование, и это—факт, ожидающий объяснения»<sup>1)</sup>.

Таким образом, анализ К. Тимирязева привел его к утверждению, что вид есть отвлеченное понятие по отношению к разновидности, так как здесь мы имеем дело с непрерывностью, при которой совокупность сливающихся, так сказать, разновидностей, благодаря наличию всех промежуточных форм и чисто количественным различиям между ними, образуют вид. В этом смысле вида, как чего-то постоянного и неизменного, в действительности не существует. Но если мы будем рассматривать вид в отношении других видов, то мы вынуждены будем признать, что они образуют разорванные, прерывистые звенья органической цепи, так что каждый вид составляет группу сходных существ, резко отличающихся от других сходных между собою существ. И это именно обстоятельство заставляет нас признать вид реальным фактом. Мы могли бы еще формулировать точку зрения Тимирязева таким образом: вид в состоянии движения—отвлеченное понятие; вид в состоянии относительного покоя—застывшее движение (т. е. в «наблюдаемый нами момент») имеет реальное существование.

Нам впоследствии, быть может, придется вернуться к вопросу о том, что собственно составляет «реальный элемент», тот закон

<sup>1)</sup> К. Тимирязев, Исторический метод в биологии, стр. 72—73.

движения, который придает виду объективное значение. Но это вопрос особый; что нас интересует в этой связи, так это проблема конкретного понятия, в противоположность отвлеченному понятию. Отвлеченное понятие вида предполагает существование его в форме единичного, отдельного объекта. Так как в действительности такое существование общего в единичном в одном экземпляре не имеет места, то отвлеченное понятие вида существует только в нашем представлении. Конкретное же понятие вида предполагает существование коллектива, целого, общего, состоящего из совокупности отдельных экземпляров, связанных между собою принадлежностью к данному целому. Поэтому, когда Ленин говорил, что «отдельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему», то он имеет в виду не только то, что каждая отдельная вещь находится в связи со всей вселенной, со всеми другими вещами в мире, но и то, что разновидность, скажем, существует только в связи с видом. В самом деле, без вида нет разновидности и, наоборот, без разновидностей нет вида. Между отдельным и общим существует реальная связь.

При противоположении вида разновидностям предполагается, что вид существует как реальный факт, вне зависимости от разновидностей. В этом случае вид отрывается от составляющих его реальных элементов. Поэтому Тимирязев прав, когда считает вид, противоположаемый разновидностям, отвлеченным понятием, ибо вид без составляющих его разновидностей не существует. Но вид, как реальная совокупность разновидностей, есть, конечно, реальный факт, конкретное понятие. Те же самые соображения применимы, разумеется, и к вопросу о взаимоотношении между видами и родами, родами и семействами и т. д.

Иосиф Дидген говорит по этому поводу следующее: «До Дарвина нам были известны только живущие отдельные экземпляры животных, животное вообще существовало лишь как отвлеченное понятие. Но со времени Дарвина мы узнали, что не только отдельные экземпляры, но и животное вообще является живым существом. Это собирательное животное существует, движется и изменяется, переживает историю, представляет собой организм, состоящий из многих членов... Он доказал нам, что собирательное животное представляет собой не мертвое отвлеченное понятие, а движущийся процесс, лишь сгущенную картину которого давало нам до сих пор наше познание» (цит. по сб. «Дарвинизм и марксизм», под ред. М. Равич-Черкасского, 1923 г., стр. 120—121). То же самое мы можем сказать и относительно К. Маркса, который впервые показал, что общественный класс существует, движется и изменяется, переживает историю, рождается, борется и умирает, что общественный класс, словом, не отвлеченное понятие, а живое коллективное существо.

## IV.

Мы уже выше привели возражение Энгельса против Геккеля, противопоставляющего индукцию—дедукции и не замечающего, что и эта противоположность только относительная. Переход от индивида к виду, а затем от вида к роду совершается, по мнению Геккеля, одним путем, а именно индуктивным. Энгельс доказывает, что как индукция, так и дедукция одинаково являются умозаключениями. Если дедукция является умозаключениями, что индукция также является дедукцией. «Умозаключение поляризуется на индукцию и дедукцию»,—как выражается Энгельс.

Обычно думают, что индукция есть умозаключение от множества отдельных наблюдаемых случаев к всеобщему закону. Дедукция же, напротив того, означает выведение отдельных еще не наблюдаемых фактов или случаев из всеобщего закона. Энгельс полагает, что такое противопоставление незаконно. Индукция неотделима от дедукции, как анализ неотделим от синтеза. Геккель утверждает,—говорит Энгельс,—что Гете путем индуктивного умозаключения пришел к тому выводу, что человек должен иметь межчелюстную кость. Но этот случай,—продолжает Энгельс,—только доказывает, что иногда приходит к верным выводам путем неверной индукции, ибо индуктивное умозаключение Гете имеет примерно такой вид: человек, обыкновенно имеющий межчелюстную кость, должен ее иметь. Неправильность этого индуктивного умозаключения очевидна, а вывод верен. «Индукция и дедукция связаны между собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того, чтобы превозносить одну из них до небес за счет другой, лучше стараться применять каждую на своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если иметь в виду их связь между собой, их взаимное дополнение друг другом.

По мнению индуктивистов индукция является непогрешимым методом. Это настолько неверно, что ее якобы надежнейшие результаты ежедневно опровергаются новыми открытиями<sup>1)</sup>.

Далее Энгельс приводит ряд фактов в доказательство того, что индукция никакими преимуществами перед дедукцией не отличается. Путем индукции было установлено, что все позвоночные животные обладают дифференцированной на головной и спинной мозг центральной нервной системой и что спинной мозг заключен в хрящевых или костных позвонках, а между тем, амфиокс—позвоночное животное с недифференцированным центрально-нервным канатиком и без позвонков! Разве это не разительное диалектическое противоречие? Индукция установила,—говорит Энгельс,—что рыба—позвоночное животное, дышащее

<sup>1)</sup> Энгельс, Диалектика природы,—«Архив», кн. II, стр. 59.

исключительно жабрами. Но оказывается, что существуют животные, которых все считают рыбами, но которые обладают, наряду с жабрами, хорошо развитыми легкими. Индуктивны-естествоиспытатели продолжали бы вращаться в кругу этих противоречий, если бы на помощь им не пришло учение о развитии.

«Для силы мысли наших естествоиспытателей,—подчеркивает Энгельс,—характерно то, что Геккель фанатически выступает на защиту индукции как раз в тот самый момент, когда результаты индукции—классификации—повсюду поставлены под вопрос... и когда ежедневно открываются новые факты, опровергающие всю прежнюю классификацию. Какое великолепное подтверждение слов Гегеля, что индуктивное умозаключение по существу проблематическое! Мало того, благодаря успехам теории развития, вся классификация организмов отнята у индукции и сведена к «дедукции», к учению о происхождении—какой-нибудь вид буквально дедуцируется, выводится из другого путем происхождения, а доказать теорию развития при помощи простой индукции невозможно, так как она целиком анти-индуктивна. Благодаря индукции понятия сортируются: вид, род, класс; благодаря же теории развития, они стали текучими, а, значит, и относительными; а относительные понятия не поддаются индукции»<sup>1)</sup>.

Классификация, таким образом, покоится на индукции и на описании. Теория развития имеет дело с текучими и подвижными вещами; она является теорией происхождения и, вместе с тем, теорией объяснения явлений. И именно поэтому теория развития не может базироваться на одной индукции. Энгельс упрекает индуктивистов в том, что они сводят все формы умозаключения только к индукции и дедукции, что вследствие этого они бессознательно подводят под них совершенно другие формы вывода и упускают из виду все «богатство форм умозаключения». К сожалению, Энгельс ограничивается только одним этим указанием, не разъясняя, каковы же эти формы умозаключения. Говоря о переходе от единичного к особенному, от особенного ко всеобщему, он подчеркивает, что переход этот совершается не одним, а многими способами. С другой стороны, Энгельс обращает внимание на то, что «все формы умозаключения, начинающие с единичного, экспериментальны и основываются на опыте. Индуктивное умозаключение начинается даже с А не В (всеобщ.)»<sup>2)</sup>.

Для всякого очевидно, что Энгельс имел в виду Гегелевскую классификацию форм умозаключения. Это определенно следует из того отрывка, в котором он останавливается на Гегелевской

<sup>1)</sup> Энгельс, там же, стр. 185.

<sup>2)</sup> Энгельс, там же, стр. 185.

классификации форм суждения. «Диалектическая логика, — пишет Энгельс, — в противоположность старой, чисто формальной логике, не довольствуется тем, чтобы перечислить и сопоставить без связи формы движения и мышления, т.-е. различные формы суждения и умозаключения. Она, наоборот, выводит эти формы одну из другой, устанавливает между ними отношение субординации, а не координации, она развивает высшие формы из низших»<sup>1)</sup>.

Энгельс считает учение Гегеля о формах движения мышления, т.-е. его учение о суждениях и умозаключениях, гениальным. Гегелевское учение о понятии и его развитии, о суждении и умозаключениях составляют основную часть его диалектики. Энгельс совершенно основательно считает и эту часть его логики чрезвычайно важной для научного познания вообще. Мы знаем хорошо, что люди, привыкшие мыслить формально-логически, легко отделаются от наших соображений по этому вопросу указанием на «схоластику». Но как же поступить с Энгельсом, который объявляет учение Гегеля о формах суждений и умозаключений гениальным. Повидимому, дело обстоит не так просто. Только изумительной ленью мысли или полным непониманием марксистской диалектики можно объяснить такое отношение к основному проблематике марксистской методологии.

В самом деле, наука и философия имеют дело с понятиями, в которых получает отражение действительность. Из понятий строятся суждения, далее—умозаключения. Возникает вопрос о том, являются ли наши суждения и умозаключения только актами нашего рассудка или же они имеют объективное значение. Если предположить вместе с сторонниками того взгляда, что наши суждения и заключения являются только деятельностью нашего рассудка, то придется признать, что в наших научных системах нет никакого реального содержания. Гегель впервые подошел к этим вопросам совершенно по-новому и дал действительно глубокий анализ интересующей нас проблемы.

Гегель в своем учении дает нам движение, т.-е. диалектику мышления, развивая различные его формы—понятия, суждения и заключения и переход их друг в друга. Мы имеем уже случай указать, что понятие есть прежде всего непосредственное единство различных его моментов—всеобщего, особенного и единичного. Эти различные моменты содержат друг друга, и каждый из них представляет вместе с тем целое, поскольку он заключает в себе другие моменты. Так, напр., индивид, как единичное, содержит в себе вид и род; род, как всеобщее, содержит в себе единичное—индивид и вид, как частное и т. д.

<sup>1)</sup> Энгельс, там же, стр. 179.

Отдельные моменты понятия вместе с тем находятся в определенной связи, которая и реализуется, обнаруживается, как необходимая связь и зависимость в суждении. Эти моменты—единичное, особенное и общее,—диалектически переходят друг в друга. Нет общего, которое бы не «реализировалось», как особенное, и особенного, которое бы не «реализировалось», как единичное. Общее понятие металла имеет реальность только в особенных, частных формах; с другой стороны, эти частные формы существуют только в единичном металле.

То же самое мы можем сказать и относительно понятия вида и проч. Формальная логика забавляется чисто отвлеченными категориями, как всеобщность, частность и единичность, отрывая их друг от друга и предполагая существование их в абсолютной разделенности. Всеобщность есть конкретное единство, когда обнаруживается связь всех различий, всех моментов. Когда это единство берется нами отвлеченно, отдельно от особенного и единичного, словом, когда мы берем только формальное тождество, мы получаем абстрактное понятие, отвлеченную всеобщность. Под такую отвлеченную, формальную всеобщность можно подвести какие угодно явления, лишь бы мы нашли в них какой-либо общий признак. Между тем мы должны иметь в виду необходимую объективную связь между моментами научного понятия.

Всеобщее и особенное имеют реальность через единичное. Именно в единичном общем обнаруживается как целокупность его моментов. Совершенно правильно было замечено, что нет отдельного человека без человеческого рода. Общее и особенное являются необходимым содержанием отдельного. В суждении отношение между моментами понятия обнаруживается и реализуется. «Акт суждения есть постольку некоторая другая функция, чем понимание, или, правильнее, другая функция понятия, поскольку оно есть акт определения понятия через себя самого; и дальнейшее движение суждения в различии суждений есть это дальнейшее определение понятия. Какие имеются определенные понятия, и как эти их определения вытекают с необходимостью, это должно быть обнаружено в суждении. Суждение может поэтому быть названо ближайшим реализованным понятием, поскольку реальность обозначает вообще выход в существование в виде определенного бытия»<sup>1)</sup>.

Понятие есть в своем единстве суб'ект, который определяет себя к своим различиям, как к своим предикатам. В суждении один момент является суб'ектом, другой—предикатом. Природа определения понятия, — говорит Гегель, — требует, чтобы оно

<sup>1)</sup> Гегель, Наука логики, II часть, стр. 37.

не было чем-то отвлеченным и неизменным, но содержало внутри себя и полагало в себе свое противоположное. Отношение между субъектом и предикатом в суждении выражает тождество, объединяющее противоположное. Субъект получает свое определение через предикат, предикат же, с своей стороны, имеет реальность только в субъекте. Субъект без предиката есть то же, что в явлении вещь без свойств, вещь в себе, пустое неопределенное основание,—говорит Гегель.—Цель движения суждения, как выражается далее Гегель, состоит в том, чтобы «восстановить тождество понятия». В суждении высказывается то, что субъект есть предикат; но так как предикат не должен быть тем, что есть субъект, то возникает противоречие, которое должно быть разрешено, должно перейти в некоторый результат<sup>1)</sup>.

Не имея возможности вдаваться в подробности относительно учения Гегеля о формах суждения, мы здесь приведем только основное, поскольку это необходимо для понимания взглядов Энгельса. Гегель различает следующие формы суждения: 1) суждения наличного бытия (или качественные суждения), которые в свою очередь подразделяются на суждения положительное, отрицательное и бесконечное. Положительное суждение имеет форму: единичное есть всеобщее. Напр., роза красна. «В суждении эта роза есть красная, связка есть должна выражать, что субъект равен предикату. Но роза есть конкретный предмет; она не только красна, но имеет запах, имеет определенную форму и многие другие определения, которые не содержатся в сказуемом. С другой стороны, сказуемое есть отвлеченное всеобщее определение и может относиться ко многим другим предметам. Есть другие растения и другие вещи, которые также красны»<sup>2)</sup>.

Именно потому, что субъект имеет еще целый ряд других предикатов, необходимо ближе определить субъект посредством исключения других определенных предикатов. Это достигается посредством отрицательного суждения, которое имеет след. форму: единичное не есть то или другое особенное. Напр., роза не голубая (пример Энгельса. А. Д.), т. е. иначе говоря: роза, которая имеет красный цвет, не есть голубая роза. Косвенно исключением одного определения утверждается другое определение. Отрицательное суждение выявляет особенность всеобщего, оно ограничивает субъект более точным определением его предиката. «Это первое отрицание (в суждении: единичное не есть особенное),—говорит Гегель,—не уничтожает связи субъекта и сказуемого. Вследствие того, сказуемое сохраняет характер относительной всеобщности и только одна определен-

<sup>1)</sup> Гегель, там же, стр. 42.

<sup>2)</sup> Гегель, Логика, пер. Чижова, стр. 299.

ность ее отринута»<sup>1)</sup>. Отрицание связки дает отрицательное суждение. Отрицание же предиката дает бесконечное суждение. Бесконечное суждение означает в движении форм суждения отрицание отрицания (роза не верблюд, как говорит Энгельс). Положительное суждение переходит в отрицательное, а отрицательное в бесконечное. Смысл всего этого движения сводится к следующему: единичное есть всеобщее. Но всеобщее, как непосредственное качество единичного, есть нечто особенное. Субъект противоречит себе в предикате всеобщности и разрешает это противоречие в суждении: единичное есть особенное. Но особенное не является адекватным выражением для непосредственного единичного субъекта. Только в суждении: единичное есть единичное—субъект тождествен предикату. Субъект отделяет себя в своей непосредственной единичности, чем и завершается суждение наличного бытия. Но так как единичное теперь уже определило себя, оно перестало быть непосредственным бытием, а стало сущностью. Таким образом, суждение наличного бытия перешло в суждение рефлексии или суждение количественное.

В суждениях рефлексии о субъекте высказывается некоторое отношение. Суждения рефлексии подразделяются на суждения единичные, частные и универсальные. Суждения рефлексии переходят в суждения необходимости, а последние—в суждения понятия, где о субъекте высказывается, насколько он соответствует своей всеобщей природе, т. е., говоря словами Гегеля, своему понятию.

Мы несколько более подробно остановились только на суждениях качественных, чтобы ознакомить читателя с характером Гегелевских рассуждений по этому вопросу и чтобы показать, что и здесь Гегель остается великим диалектиком, который не просто сопоставляет различные формы суждения, а устанавливает их необходимую связь и переход одних форм в другие.

Энгельс, принимая Гегелевскую классификацию форм суждения, дает свое диалектико-материалистическое истолкование их. Прежде всего он указывает на то, что предлагаемая Гегелем классификация является внутренне истинной и необходимой, ибо она обоснована не только законами мышления, но и законами природы. Далее он подчеркивает, что то, что у Гегеля является развитием логической формы суждения, на самом деле представляет собою также и развитие наших, опирающихся на эмпирическую основу, теоретических сведений о природе движущей вообще. Это показывает, что законы мышления и законы природы

<sup>1)</sup> Гегель, там же, стр. 300.

необходимо согласуются между собою, если они только правильно познаны»<sup>1)</sup>.

Оригинальность точки зрения Энгельса состоит в том, что «развитие логической формы суждений» он выводит как результат исторического развития наших знаний о природе. «Развитие, напр., какого-нибудь понятия или отношения (положительное и отрицательное, причина и действие, субстанция и акциденция) в истории мышления относится к развитию его в голове отдельного диалектика, как развитие какого-нибудь организма в палеонтологии—к развитию его в эмбриологии (или скорее и в истории и в отдельном зародыше). Что это так, было впервые открыто Гегелем для понятий»<sup>2)</sup>.

Но то, что верно для понятия, также верно и для форм суждений и умозаключений. Много тысяч лет должно было пройти, прежде чем человек мог, на основании опыта, формулировать суждение: трение есть источник тепла. От этого положительного суждения наличного бытия до универсального суждения рефлексии: всякое механическое движение способно превратиться при помощи трения в теплоту, также прошли тысячелетия. «Но огненные дела пошло быстрее. Уже три года спустя Майер смог поднять—по крайней мере, по существу—суждение рефлексии на ту высоту, на которой оно находится теперь.

Любая форма движения способна и вынуждена, при определенных для каждого случая условиях, превратиться прямо или косвенно в любую другую форму движения: суждение понятия и притом аподиктическое—высшая вообще форма суждения».

«Мы можем рассматривать первое суждение как суждение единичности: в нем регистрируется единичный факт, что трение порождает теплоту. Второе суждение можно рассматривать как суждение особенности: особенная форма движения, механическая, обнаруживает свойство переходить при особых обстоятельствах (благодаря трению) в другую особенную форму движения, в теплоту. Третье суждение, это—суждение всеобщности: любая форма движения, оказывается, способна и должна превращаться в любую другую форму движения. В этой форме закон достиг своего последнего выражения. Благодаря новым открытиям мы можем найти новые доказательства его, придать ему новое, более богатое содержание. Но к самому закону, как он здесь выражен, мы не можем прибавить более ничего. В своей всеобщности, в которой одинаково всеобща форма и содержание, он непо-

<sup>1)</sup> Энгельс, Диалектика природы, стр. 181.

<sup>2)</sup> Энгельс, там же, стр. 199.



собен к дальнейшему расширению: он абсолютный закон природы»<sup>1)</sup>.

Таким образом, можно сказать, что различные формы суждений составляют исторические ступени в развитии нашего познания любого закона природы. Наше познание начинается с единичных фактов, с суждения наличного бытия и возвышается до суждения понятия, где выражена одинаково всеобщность формы и содержания.

Ознакомившись с формами суждений в самых общих чертах, мы можем теперь указать и на формы умозаключения, как они сгруппированы Гегелем. От анализа их здесь мы отказываемся в виду того, что это материя действительно очень сухая. Достаточно только сказать, что формы умозаключения у Гегеля также подразделяются на умозаключение наличного бытия или качественное умозаключение, умозаключение рефлексии (сущности) и умозаключение необходимости (понятия). Качественное умозаключение имеет следующие три формы: субъект как единичное, есть всеобщее через посредство особенного (Е-О-В). Но вследствие этого единичный субъект сам становится всеобщим и является единством всеобщего и особенного (В-Е-О). В этой фигуре всеобщее признано как особенное и, следовательно, оно образует единство особенного и единичного (О-В-Е).

Умозаключения рефлексии или сущности обнимают дедукцию, индукцию и аналогию. В умозаключении: «все люди смертны: Сократ—человек, след., Сократ смертен», большая посылка правильна лишь постольку, поскольку правильно заключение. Если бы Сократ не был смертен, то большая посылка была бы неправильна. Следовательно, дедукция опирается на индукцию. «Силлогизм целости,—говорит Гегель,—ведет к силлогизму индукции, в котором средний термин образует неделимые. Когда мы говорим: все металлы суть проводники электричества, мы высказываем эмпирическое предложение, основанное на предварительном исследовании всех отдельных металлов. Следственно, оно предполагает умозаключение индукции, которое имеет следующую форму: Всеобщее, единичное, особенное.

«Золото есть металл, серебро есть металл, медь, свинец и проч.—металлы. Такова большая посылка; меньшая посылка—вытекает заключение: все металлы проводят электричество. Следовательно, средний термин здесь образует совокупность всех неделимых»<sup>2)</sup>. Но так как наведение, индукция не может исчерпать опыт полностью, то очевидно, что, говоря все растения все металлы, мы имеем в виду только известные и наблюдаемые нами растения, или металлы. Иначе говоря, индукция наша

<sup>1)</sup> Энгельс, там же, 181 стр.

<sup>2)</sup> Гегель, Логика, пер. Чижова, стр. 321.

не полна, не закончена. «Как бы много ни делали наблюдения, нельзя видеть всех случаев, всех неделимых. Этот недостаток наведения приводит к аналогии. Если из того, что некоторые предметы, принадлежащие к известному роду; обладают каким-нибудь качеством, выводят заключение, что и другие предметы того же рода имеют то же качество, то судят по аналогии. Так, например, делают умозаключение этого рода, когда говорят: до этих пор находили, что все планеты движутся по такому-то закону; следственно, вероятно, что вновь открытая планета движется по тому же закону. В эмпирических науках аналогия справедливо играет значительную роль, и этим путем достигли важных результатов<sup>1)</sup>».

Дедуктивное умозаключение в настоящем смысле слова вовсе не является выводом, ибо то, что дано в заключении, уже содержится в большой посылке, обнимающей все единичные явления. Индуктивное заключение является лишь проблематическим и частичным, а не необходимым и всеобщим, потому что оно не может быть распространено на все объекты. В этом случае вывод не доказан, а только предвосхищен, предположен. Аналогия также не имеет характера необходимости, хотя те или другие свойства предметов, открытые опытом, и свидетельствуют о том, что они имеют основание в объективной природе вещей.

Высшими формами умозаключения являются те, которые вытекают из необходимой природы предмета, из «саморазвития» его. Процесс развития раскрывает необходимые связи вещей, их внутреннее соотношение. Предикат здесь вводится из субъекта, как особенное или частное из всеобщности субъекта, как рода. Отношение между универсальным и частным становится отношением между родом и видом. Та же необходимость связи и единства, которая существует между родом и видом, существует между видом и индивидуумом. Всеобщность не оставляет здесь отвлеченное общее или какое-либо просто определенное качество, а специфическое различие рода; особенность должна выражать здесь существенную природу единичного. Поэтому единичное, индивидуум, является в силу своего вида родом. Всеобщее или род составляет основание особенного, частного. Единство рода—действительное основание сходства, родства, тождества. В дедукции идут от сущности к явлениям; индукция представляет собою обратный путь от явлений к сущности. Умозаключение необходимости выражает единство сущности и явления, или, иначе говоря, закон явлений.

Мы бегло обозрели различные формы умозаключения, как они развиты Гегелем, не вдаваясь в их критику и более подробный анализ. Само собою разумеется, что Гегель остается идеалистом

<sup>1)</sup> Гегель, там же, стр. 321—322.

и в этой части своей логики, поскольку он утверждает, что последняя форма умозаключения порождает из себя объективный мир, что здесь совершается переход от субъективного понятия к объективности. Но если отбросить эту идеалистическую теорию о порождении объекта из понятия, а брать различные формы вывода сами по себе, то они заключают в себе много ценного. Это обстоятельство и подчеркивается Энгельсом в его защите Гегеля против Геккеля.

## V.

«Другая противоположность, в плену которой находится метафизика,—пишет Энгельс,—это—противоположность между случайностью и необходимостью. Есть ли что-нибудь более противоречащее друг другу, чем обе эти логические категории? Как возможно, что обе они тождественны, что случайное необходимо, а необходимое точно так же случайно? Обычный здравый смысл, а с ним и большинство естествоиспытателей, рассматривает необходимость и случайность как категории, безусловно исключаящие друг друга. Какая-нибудь вещь, какое-нибудь отношение, какой-нибудь процесс либо случайны, либо необходимы, но не могут быть тем и другим. Таким образом оба существуют бок-о-бок в природе; в последней заключаются всякого рода предметы и процессы, из которых одни случайны, другие необходимы, при чем важно одно—не смешивать их между собою<sup>1)</sup>».

Метафизическое противопоставление случайности и необходимости ведет к абсолютному утверждению или первой или второй. Детерминизм, перешедший в естествознание из французского механического материализма, признает лишь непосредственную необходимость и отрицает всякое значение за случайностью. Что в этом стручке пять горошин, а не четыре или шесть, что этот клеверный цветок был оплодотворен в этом году и именно этой пчелой, а тот нет, что в прошлую ночь меня укусила блоха в четыре часа утра, а не в три или в пять и проч...,—говорит Энгельс,—все это факты, вызванные неизменным сцеплением причин и следствий, связанные незыблемой необходимостью. «С необходимостью этого рода,—продолжает Энгельс,—мы все еще не выходим из границ теологического взгляда на природу. Для науки совершенно безразлично, назовем ли мы это, вместе с Августином и Кальвином, известным решением божьим, или, вместе с турками, кисметом, или же назовем необходимостью<sup>2)</sup>».

<sup>1)</sup> Энгельс, Диалектика природы, стр. 191.

<sup>2)</sup> Энгельс, там же, стр. 193.

У детерминистов названного толка необходимость остается чисто отвлеченной категорией и переходит в фатализм. И действительно, у французских материалистов XVIII столетия необходимость часто принимает форму фатализма. Эта абстрактная необходимость предполагает, что тот или иной отдельный факт предвиден, т.е. предопределен в первичном устройстве солнечной системы. Но если бы мы стали на такую абстрактную точку зрения, мы не были бы в состоянии вообще что-либо объяснить. Для того, чтобы объяснить, почему в этом стручке пять горошин, мы должны бы были добраться до первичного устройства солнечной системы и «вывести» из него необходимость стручка с его пятью горошинами. Очевидно, что это совершенно неосуществимая задача. Но, с другой стороны, мы можем сколько угодно признавать необходимость вообще, но до тех пор, пока мы не объяснили, от чего конкретно зависит число горошин в стручке, мы остаемся на почве абстрактной необходимости, поскольку утверждаем, что число горошин в стручке подчинено вообще закону необходимости. Тем самым необходимость низводится на степень случайности, т.е. переходит в свою противоположность. «Если тот факт, что определенный стручок заключает в себе шесть горошин, а не пять или семь, явление того же порядка, как закон движения солнечной системы или закон превращения энергии, то значит, действительно, не случайность поднимается до уровня необходимости, а необходимость деградируется до уровня случайности. Мало того, можно сколько угодно утверждать, что разнообразие находящихся на определенном участке бок-о-бок органических и неорганических видов и индивидов покоится на ненарушимой необходимости, но для отдельных видов и индивидов оно остается тем, чем было, т.е. случайным»<sup>1)</sup>.

Другое направление мысли считает необходимым естественным, а случайное неестественным или сверхъестественным. При этом происходит обыкновенно следующее: главные признаки явлений считают необходимыми, а не главное—случайными. Далее, необходимое подводится под всеобщие законы, а случайное остается необъяснимым. «Легко видеть, что это такого сорта наука,—говорит Энгельс,—которая выдает за естественное то, что она может объяснить, сводя непонятное ее к сверхъестественным причинам. При этом по существу дела совершенно безразлично, назову ли я причину непонятных явлений случаем или богом»<sup>2)</sup>. В этом случае огромная область явлений, называемых случайными, выпадают из цепи необходимой связи. Стало быть, тем самым необходимость здесь разрывается и аннулируется.

<sup>1)</sup> Энгельс, там же, стр. 193.

<sup>2)</sup> Энгельс, там же, стр. 191.

«В противовес обоим этим взглядам,—говорит далее Энгельс,—выступает Гегель с неслыханным до того утверждением, что случайное имеет основание, ибо оно случайно, и в то же время не имеет никакого основания, ибо оно случайно: что случайное необходимо, что необходимость сама определяет себя как случайность, и что, с другой стороны, эта случайность есть скорее абсолютная необходимость»<sup>1)</sup>.

Но естествознание,—продолжает Энгельс,—предпочло игнорировать учение Гегеля, как парадоксальную игру слов, т.е. как «схоластику», оставаясь теоретически на почве вольфовской метафизики, или же бессодержательного механического детерминизма. Таким образом, Энгельс присоединяется целиком к тому диалектическому решению проблемы о соотношении случайности и необходимости, которое дано Гегелем в его логике, в отделе «Действительность». К учению Гегеля о действительности мы обратимся ниже. Здесь же мы ограничимся констатированием того факта, что, по мнению Энгельса, и в вопросе о необходимости и случайности естествознание долгое время отставало от правильного решения этого вопроса Гегелем, т.е. диалектической философией. Из естествовников только Дарвин впервые вступил на правильный путь. Только у Дарвина мы находим диалектическое решение этого вопроса. «Дарвин в своем составившем эпоху произведении исходит из крайне широкой, покоящейся на случайности фактической основы. Именно незаметные случайные различия индивидов внутри отдельных видов, различия, которые могут усиливаться до изменения самого характера вида, ближайшие даже причины которых можно указать лишь в самых редких случаях, именно они заставляют его усомниться в прежней основе всякой закономерности в биологии, усомниться в понятии вида, в его прежней метафизической неизменности и постоянстве»<sup>2)</sup>.

В другом месте Энгельс делает следующую запись: «показать, что дарвинова теория является практическим доказательством гегелевской концепции о внутренней связи между необходимостью и случайностью»<sup>3)</sup>. Повидимому, он имел в виду еще более подробно заняться этим вопросом, хотя основное во всяком случае им достаточно выяснено. Мы позволим себе сказать несколько слов по этому вопросу, чтобы стала более ясной мысль Энгельса о связи между необходимостью и случайностью.

Действительность есть конкретное единство сущности и явления. Это значит, что сущность и явление обнаруживают себя как моменты высшей ступени—действительности, представляю-

<sup>1)</sup> Энгельс, там же, стр. 193—195.

<sup>2)</sup> Энгельс, там же, стр. 195.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 217.

щей конкретное единство противоположностей. Действительность есть сущность, поскольку она исключает явление, но которая именно постольку заключает в себе явление как реальную возможность. Возможность на этой ступени тождественна с действительным, но вместе с тем имеет тенденцию обнаружить в свою противоположность. Поэтому возможность есть внутренняя, но обнаруживающаяся, внутреннее, становящееся внешним. Например, семя есть реальная возможность дерева; стало быть, дерево в семени есть еще внутреннее, становящееся вследствие своего развития «обнаружение» внешним. Или: эмбрион есть реальная возможность социализма. Социализм в эмбрионе есть «внутренняя» сторона, еще не развившаяся, но в процессе дальнейшей эволюции становящаяся внешним, т.е. осуществляющимся.

Когда же мы от понятия возможности абстрагируем вот это развивающееся, обнаруживающееся, осуществляющееся «внутреннее», то мы остаемся при абстрактной, т.е. чисто логической, возможности. Мы в этом случае становимся на почву чисто формального тождества, беря возможность вне связи с другими явлениями. Формальная или логическая, т.е. чисто мыслимая возможность — категория схоластическая, бессодержательная. Реальная же возможность — понятие конкретное; эта категория имеет применение не к мыслимому, а к осуществляющемуся и развивающемуся в действительности.

Противоположность между внутренним и внешним имеет, разумеется, только относительный характер. Отношение между ними таково, что они взаимно переходят друг в друга. Возможность этого перехода объясняется их единством, их «действительностью», их взаимной связью. Внешнее есть проявление внутреннего, внутреннее есть вместе с тем и внешнее. Во внутреннем нет ничего, чтобы не проявилось во внешнем, а во внешнем нет ничего, чего бы не было во внутреннем. Внешнее и внутреннее составляют лишь моменты одного и того же; внешнее лишь относительно внешнее, стало быть, одновременно и внутреннее, и наоборот. Для уразумения этих абстрактных соотношений, достаточно вспомнить и соотношение между вещью и ее свойствами, между вещью в себе и явлениями, между субъектом и объектом и проч. Словом, между внутренним и внешним не существует метафизической противоположности, как это обычно себе представляют. Напротив того, они составляют единство и переходят друг в друга вследствие этого их единства.

Формальная возможность есть действительность, рассматриваемая только как отвлеченное тождество. Вот почему формальные мысленные устанавливает следующее правило: чтобы вещь была возможна, она не должна содержать противоречия. «Вследствие этого, — говорит Гегель, — все возможно, потому что помощью

отвлечения можно ко всякому содержанию приложить эту сферу тождества. Но, с другой стороны, все невозможно, потому что всякое содержание, или всякий конкретный предмет совпадает в себе противоположные определения и, следовательно, противоречит самому себе<sup>1)</sup>.

Поэтому Гегель справедливо считает все рассуждения о возможности и невозможности бесплодными и схоластическими. Ни философ, ни историк не должны, по его мнению, пользоваться такими категориями.

«С первого взгляда кажется, — продолжает Гегель там же, — что сфера возможности обширнее и богаче, а сфера действительности теснее и беднее. Поэтому говорят, что все возможно, но не все, что возможно, находится в действительности. Вникнув глубже в значение этих слов, мы найдем, что действительность богаче возможности, потому что последняя составляет только один из моментов действительности. И мы сознаем это различие, потому что, говоря о каком-нибудь возможном предмете, мы прибавляем, что он только возможен, но еще не действителен<sup>2)</sup>. Гегель резко критикует идеалистическую и формально-логическую точку зрения, согласно которой все, что мыслимо, возможно. При таких условиях можно признать возможной всякую вещь, как бы бессмысленна и нелепа она ни была. Например, возможно, что сегодня вечером луна упадет на землю. Такое рассуждение естественно считается Гегелем бессмысленным. «Чем человек невежественнее и чем менее знакомы ему определенные соотношения рассматриваемых предметов, тем легче вдается он во всякого рода возможности, как это случается, например, с современными публицистами.

Точно также нерадение и леность нередко укрываются за категорию возможности, чтобы уклониться от исполнения обязанностей, на них лежащих; но все эти возможности имеют то же самое значение как и различные основания, которые приводят в их пользу<sup>3)</sup> и о которых мы говорим в своем месте. Люди практические и умные не обольщаются возможным, потому что оно только возможно, а держатся действительности, под которой не должно, однако, разуметь непосредственное состояние вещей<sup>3)</sup>. Возможность, лишенная всякой действительности, есть логическая возможность, чистая субъективность, ибо она оторвана от действительности, следовательно, не имеет никаких реальных условий для своего существования. Реальная возможность есть определенная возможность, которая имеет свое основание, усло-

1) Гегель, Логика, стр. 254.

2) Там же, стр. 254.

3) Гегель, там же, стр. 255.



вия своего существования в действительности и которая есть сама так или иначе часть действительности.

Можно сказать, что случайное совпадает с внешней необходимостью. Все, что обуславливается чисто внешними условиями, не вытекающими из необходимой природы вещей, можно называть случайным. Например, из семени разрастается дерево с внутренней необходимостью. Но от других, внешних условий зависит, скажем, рост дерева. С другой стороны, то, что кажется нам на первый взгляд случайным, при исследовании всей внутренней нам совокупности связи явлений вскрывает иногда внутреннюю необходимость данного явления. Случайное есть то, что обусловлено или, говоря словами Гегеля, положено только другим, т. е. не собственной необходимой природой его.

Значение законов случая или законов вероятности в науке огромно. В настоящее время проводится строгое различие между динамической и так называемой статистической закономерностью даже в физике. Статистические законы не дают возможность предвидеть единичное явление, но выражают лишь общий результат, относящийся к довольно большому числу аналогичных явлений<sup>1)</sup>. «Тщательно изучая явления, подчиненные статистическим законам, легко показать, что между ними возможно установить довольно определенные числовые отношения, при чем закономерность проявляется тем лучше, чем больше число обследуемых явлений. Если, например, в продолжение нескольких лет изучать пол рождающихся детей в небольшом человеческом обществе, то можно констатировать, что число рождающихся мальчиков и девочек приблизительно одинаково. Это первое замечание приводит к мысли, что рождение мальчика и рождение девочки одинаково вероятно; иначе говоря, каждое из этих явлений имеет за собою один шанс из двух, или его вероятность равняется одной второй. Наблюдение, более продолжительное или распространенное на более многочисленное население, показывает, с другой стороны, что, в среднем, рождается несколько больше мальчиков, чем девочек: в среднем, на 100 рождений приходится 51 мальчик и 49 девочек; иначе говоря, вероятность рождения мальчика равна 0,51, а девочки 0,49.

Вероятность в этом смысле и есть так называемая статистическая вероятность, так как ее величина неизвестна заранее в самой природе явления, но вытекает из точного и подробного знания большого числа явлений<sup>2)</sup>.

В другом месте тот же Борель выясняет значение статистической закономерности в применении к явлениям наследственности и к проблеме эволюции вообще. Каждое явление в отдель-

<sup>1)</sup> Э. Борель, Случай, стр. 6.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 7.

ности «случайно». Но эти случайности могут быть сведены к необходимости, если брать большое число случаев. «Теперь понятно, — говорит Борель, — в каком смысле возможно относить изменение вида к определенному образцу, раз этот образец определяется самим изменчивым видом. Этот вид изменяется каждую минуту; некоторые виды рождаются, другие становятся взрослыми, иные умирают или выходят из пределов круга наблюдений.

Но если эти изменения делают логически невозможным точное определение среднего значения такого свойства, как рост, то они все же достаточно незначительны для того, чтобы это среднее значение могло быть определено с большой точностью. Таким образом, легко будет выяснить, меняется ли среднее значение или нет в различных группах или в одной и той же группе в различные эпохи. Таков принцип методов, с помощью которых можно сделать попытки точного изучения эволюционных проблем; они основаны на статистическом исследовании большого числа отдельных наблюдений. Каждое отдельное наблюдение в действительности лишено интереса; что рост некоего индивида равен 1,75 м., факт, но не научный факт; нам интересно знать, сколько из 100.000 индивидов найдется таких, рост которых равнялся бы 1,75 м. (или, вернее, был бы ближе к 1,75 м., чем к 1,74 м. или 1,76 м.)<sup>1)</sup>.

М. Планк справедливо возражает против попытки проведения принципиальной разницы между закономерностью физической и исторической. Совершенно неправильно думать, — говорит он, — что в естественных науках закономерность повсюду абсолютная и ход явлений определен с необходимостью, не допускающей исключений, между тем как в духовной области господствует случайность. «Ведь, с одной стороны, всякое научное мышление, даже на самых отдаленных вершинах человеческого духа, неизбежно руководится допущением, что в глубочайшей основе лежит абсолютная закономерность, не зависящая от произвола и случайности. С другой стороны, в самой точной из естественных наук — физике — часто приходится оперировать с явлениями, закономерная связь между которыми пока совершенно не выяснена, так что их, несомненно, приходится считать случайными в самом определенном значении слова<sup>2)</sup>.

Во всех закономерностях физики, — говорит Планк, — проводится ныне различие между необходимостью и вероятностью или «случайностью». Поэтому во избежание дуализма делались попытки устранить из физических наук всякую абсолютную достоверность и признать лишь большую или меньшую степень вероятности. В этом случае «понятие абсолютной необходимо-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 102.

<sup>2)</sup> М. Планк, Физические очерки, стр. 69.

сти было бы совершенно исключено из физики. Но такое воззрение, — говорит правильно Планк, — нужно неизбежно признать роковой и близорукой ошибкой, если даже не считаться с тем, что все без исключения обратимые явления управляются динамическими законами, и нет никакого основания упразднить эти законы. Физика, в такой же мере, как и всякая другая наука, не может обойтись без допущения абсолютной закономерности. Даже законы вероятности... лишились бы без нее всякого серьезного основания»<sup>1)</sup>.

Таким образом, и для Планка законы вероятности имеют свое основание в абсолютной закономерности, в абсолютной необходимости, без которой они собственно не существуют. Необходимое есть истина случайного и возможного. Истинно действительное есть необходимое; необходимое преодолевает, так сказать, все случайности и возможности. Познание необходимости какого-либо явления, какой-либо вещи означает познание его действительной сущности.

«Возможность образует одну внутреннюю сторону действительности, — говорит Гегель, — и по этому самому она есть поверхностная, внешняя действительность, или случайность. Оттого все случайное имеет свое основание не в себе, а вне себя. С первого взгляда все действительное кажется случайным, но не должно смешивать конкретную действительность с случайностью. Внешняя действительность случайна потому, что предметы, ее составляющие, зависят от других, или только возможны. Согласно с этим, мы признаем, что случайное может быть, но может и не быть, что оно может существовать так или иначе, и что и то и другое зависит не от него самого, а от внешних обстоятельств»<sup>2)</sup>.

Случайность есть только относительная внешняя необходимость. Достаточно изменения внешних обстоятельств, чтобы данный ход вещей мог принять несколько иное направление. Например, если бы в ноябре 1918 г. Эберт не заключил союза с генералом Гренером на предмет подавления революции, то весьма вероятно, что события в Германии получили бы иное развитие. Никто не станет утверждать, что заговор Эберта был абсолютно необходим. Это вместе с тем отнюдь не значит, что поступок Эберта не был причинно обусловлен. Всякое случайное событие имеет, разумеется, свою причину.

Гегель правильно указывает на то, что даже все разнообразие органических и неорганических форм представляет неопределенную случайность. На поверхности природы мы находим эту случайность, которую «необходимо допустить, не думая утвер-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 78.

<sup>2)</sup> Гегель, Логика, стр. 257.

ждать, что всякая вещь должна быть такова, как она есть, и не могла бы быть иначе». «Справедливо, что наука, и в особенности философия, имеет своим предметом узнать необходимость, скрытую за кажущейся случайностью; но не должно себе представлять, будто случайность есть только продукт субъективной мысли, и что необходимо отвергать ее, чтобы достигнуть истины»<sup>1)</sup>.

«Так как случайное может в одинаковой степени иметь место в действительности и не иметь места, то случайное, как выражается Энгельс, имеет основание, ибо оно случайно, но вместе с тем не имеет никакого основания, ибо оно случайно, что случайное необходимо и необходимо случайно. «Итак, случайное имеет свой источник во внешней действительности, поскольку оно является результатом внешнего стечения явлений. Необходимость случайного только внешне обусловленная. Так как случайное есть момент в процессе действительности и так как оно касается единичных явлений, то оно составляет снятый момент во всеобщей связи действительности»<sup>2)</sup>.

«Случайный предмет, — говорит далее Гегель, — есть предмет, непосредственно находящийся в действительности; но в то же время он содержит возможность другого существования, потому что он существует не в нашем уме, а во внешности. Таким образом, он есть условие другого существования. Во всяком условии содержатся два момента: во-первых, оно представляет непосредственный, внешний предмет, и, во-вторых, оно должно быть снято и должно служить к осуществлению другого.

Непосредственная действительность не соответствует своему понятию; она недостаточна, конечно, и потому она должна уничтожиться. Но в этой действительности есть другая, существенная сторона, которая не должна оставаться только возможной, или только внутренней. Обнаруживаясь, она производит новую действительность, которую первая уже предполагала. Когда условия существуют, из них необходимо должна произойти эта новая действительность. Сначала кажется, будто условия могут существовать неизменно. Но в них уже таится зерно будущего; сначала это будущее только возможно, но потом оно осуществляется во внешней действительности. Эта вновь происшедшая действительность только обнаруживает то, что таилось внутри первой, непосредственной действительности. Итак, это новое состояние вещей собственно не представляет ничего нового; оно уже содержалось в тех условиях, которые ему предшествовали. Условия,

<sup>1)</sup> Гегель, Логика, стр. 258.

<sup>2)</sup> Ср. Kuno Fischer, Logik und Metaphysik, 1852 г., стр. 129.

снимаясь и исчезая, воспроизводится под другою формою в новой действительности.

Таким образом, действительность постоянно движется. Она не остается неизменною в своем бытии; ее непосредственное состояние исчезает и обнаруживает свою сущность в новых формах; и во всех этих формах она остается т-ю же самою действительностью<sup>1)</sup>.

В необходимости реальная возможность и действительность сняты. Необходимость есть вполне развившаяся действительность. «Действительность, которая достигла той ступени развития, когда эта смена внутреннего и внешнего совмещаются в одном и том же определении, когда смена этих противоположных движений от одного определения к другому образует одно движение, такая действительность есть необходимость<sup>2)</sup>».

Мы изложили вкратце взгляды Гегеля на взаимную связь случайности и необходимости. Мы не будем входить здесь в рассмотрение того, насколько взгляды Гегеля приемлемы для нас во всех подробностях. Необходимо всегда иметь в виду, что Гегель, при всей глубине трактовки проблемы действительности, случайности и необходимости, стоит на идеалистической точке зрения и что для использования его правильных указаний надо их очистить от идеалистической скорлупы, которая ими покрыта. Гегель и здесь стремится вывести законы действительности из законов мышления. По мнению Гегеля достаточно исследовать процесс человеческого мышления, чтобы мы получили уже вместе с тем правильное представление о внутренней сущности мирового процесса. В этом его основной грех. Тем не менее, в общем и целом, его точка зрения, если отбросить его идеалистическую форму, заслуживает, как это подчеркивает Энгельс, самого серьезного внимания.

Итак, осуществленная возможность есть случайность. Случайность, стало быть, есть результат различных реальных условий на поверхности действительности, которые перекрещиваются и действуют друг на друга. Случайное только относительно необходимо. Но относительно необходимое, с другой стороны, было бы невозможно, если бы оно не было обосновано абсолютной необходимостью, т.-е. если бы оно не имело своего основания в «сущности».

Совокупность случайностей сама создает определенную необходимость, необходимость же, в свою очередь, вызывает ра-

<sup>1)</sup> Гегель, Логика, стр. 259—260.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 260.

случайностей, создает ряд возможностей, которые имеют свои корни в сущности, т.-е. в законе развития данной действительности. Если, таким образом, случайное необходимо, а необходимое случайно, т.-е. само себя определяет как случайное, то случайность есть скорее абсолютная необходимость, как выражается Энгельс.

Как представлял себе Ленин возможные пути развития Советской Республики?

«Конечно, в нашей Советской Республике социальный строй основан на сотрудничестве двух классов: рабочих и крестьян, к которому теперь допущены на известных условиях и «шпмань», т.-е. буржуазия. Если возникнут серьезные классовые разногласия между этими классами, тогда раскол будет неизбежен, но в нашем социальном строе не заложены с необходимостью основания такого раскола, и главная задача нашего ЦК и ЦКК, как и нашей партии в целом, состоит в том, чтобы внимательно следить за обстоятельствами, из которых может вытечь раскол, и предупреждать их, ибо в последнем счете судьба нашей Республики будет зависеть от того—пойдет ли крестьянская масса с рабочим классом, сохраняя верность союзу с ним, или она даст «шпманам», т.-е. новой буржуазии, раз'единить себя с рабочими, расколоть себя с ними. Чем яснее мы будем видеть перед собой этот двоякий исход, чем яснее будут понимать его все наши рабочие и крестьяне, тем больше шансов на то, что нам удастся избегнуть раскола, который был бы губителен для Советской Республики. (Н. Ленин, Собр. сочин., т. XVIII, ч. 2, стр. 115—116).

Но если мы знаем конкретные условия действительности, при которых даны две возможности, одинаково имеющие свои основания в действительности, и если конкретное изучение действительности обнаруживает эти различные возможности и основные тенденции их развития, то мы можем сознательно действовать в направлении одной возможности, отрицающей другую возможность. Наивно думать, будто действительность одноцветна и идет с какой-то прямолинейностью по одному направлению, не допуская никаких зигзагов. В действительной жизни всегда борются различные тенденции; в классовом обществе различные классы «тянут» в различные стороны. Само собою разумеется, что «возможности» ограничены объективной необходимостью и сами имеют свои основания в этой необходимости, в данном социальном строе, в основных тенденциях развития действительности. Вместе с тем, здесь крайне важно то, что развитие противоречий происходит на основе одной определенной возможности.

Определенная возможность, например, возможность победы социалистических элементов нашей экономики над капиталистическими на известной ступени ее развития может превратиться, перерастя в абсолютную необходимость, в объективную неизбежность.

## VI.

А теперь обратимся к дарвинизму. Противники дарвинизма обычно называют это учение теорией случайностей, желая этим унижить его. Проф. Л. Берг, например, в своей работе «Теория эволюции» приводит следующее рассуждение Карла Бэра, с которым он обнаруживает полное единомыслие в смысле признания целесообразности процессов органического мира. «Можно было бы сказать, — писал Бэр в одном из своих последних произведений, — что бессмысленно разлагать органический процесс на бесчисленные случайности, ибо процесс этот основан на необходимости, совершенно исключающей случайность»<sup>1)</sup>. Это рассуждение чрезвычайно любопытно; здесь метафизически противопоставляется случайность необходимости. Необходимость, мол, совершенно исключает случайность. Далее Бергом приводится из Бэра следующее место: «Но если вы признаете необходимость без цели, то необходимости в этом случае не связаны друг с другом, и взаимные действия есть не что иное, как случайности. В ваших необходимостях, очевидно, скрыты цели, которых вы не желаете признать, но без которых немислимо ничто живое».

Таким образом, необходимость для Бэра и его русского последователя Л. Берга есть не что иное, как целесообразность. Необходимость же без целесообразности — простая случайность. Это, конечно, чисто идеалистическая и метафизическая точка зрения. Поэтому совершенно прав Б. Козо-Полянский, резюмирующий взгляды Берга в следующих выражениях: «Бэр телеолог (имманентный), платоник, считает эволюцию закономерным процессом на том основании, что видит в ней разумное предустановление, выполнение определенной цели, «осуществление некоего метафизического принципа добра». Его задача — доказать целесообразный характер эволюции, что докажет телеологическую «закономерность» в органическом мире»<sup>2)</sup>. Б. Козо-Полянский справедливо выражает свое удивление по поводу увлечения некоторых марксистов «номогенезом» Л. Берга.

Для К. Бэра и всех современных неовиталистов необходимость означает именно целесообразную закономерность. Поэтому

<sup>1)</sup> Л. С. Берг, Теория эволюции, 1922 г., стр. 60.

<sup>2)</sup> Б. М. Козо-Полянский, Диалектика в биологии, 1925 г., стр. 54.

они вовсе не склонны отрицать закономерность, необходимость, но понимают под ними только целесообразность. Поэтому К. Бэр признавал существование случайностей в таких процессах, которые являются процессами развития. Необходимость без цели составляется из взаимных действий одних случайностей и такая необходимость не ведет к развитию, к эволюции. Стало быть, весь дарвинизм, с этой точки зрения, оказывается грубым заблуждением. Только необходимость, стремящаяся к определенной цели, целесообразная необходимость лежит в основании процесса развития<sup>1)</sup>. На такой же точке зрения стоят все представители неовитализма. Их стремления сводятся в конечном счете к признанию универсального, абсолютного разума, управляющего миром и ставящего ему определенные цели. Известный антидарвинист проф. Паули<sup>2)</sup> считает истинным в учении Дарвина идею изменчивости органических форм, но ложной идею борьбы за существование и естественного отбора. Принцип, который лежит в основе целесообразностей, — говорит Паули, — заложен в самом организме. Это — способность органической материи к суждению. На место материальных принципов и, в частности, на место учения о естественном отборе, необходимо поставить «психологический» принцип. Но великая заслуга Дарвина и заключается именно в том, что он освободил биологию от метафизических принципов, от телеологии и вместе с ней от теологии, ибо истинный смысл телеологии состоит в признании творческого разума, который ведет к отрицанию всякой науки. Современные виталисты думают найти выход из этого положения в том, что «сочетают» телеологию с причинностью. «Почему невозможно, — говорят они, — чтобы творческий разум не осуществлял своих целей именно посредством причинной необходимости?» Стало быть, первая и последняя мысль виталистов — это творческий разум, осуществляющий в природе свои цели. Вот почему им совершенно недоступно учение Дарвина, которое отвергает идею телеологии в мистическом ее понимании и дает научное, диалектическое разрешение проблемы необходимости, случайности и целесообразности.

Дарвин исходит из той основной мысли, что эволюция осуществляется на основе случайных вариаций. Но Дарвин, разумеется, под случайностью никогда не понимал «беспричинно-

<sup>1)</sup> См. К. Е. v.-Baer, Ueber Zweckmässigkeit oder Zielstrebigkeit, 2. Ausg., 1886.

<sup>2)</sup> См. его работу „Wahres und Falsches in Darwins Lehre“, München 1902.

сти». Напротив того, даже Берг вынужден признать, что «случайность несколько не исключает причинности, закономерности». «И мы, называя свои предположения номогенезом, в отличие от дарвиновой теории случайностей, — говорит он, — отнюдь не думаем приписывать великому ученому мысли, что те случайные вариации, с которыми он имел дело, не подлежат закону причинности»<sup>1)</sup>. Как ни далек Берг от дарвинизма, он все же признает, что эволюция логически мыслима при наличии естественного отбора, т. е. в результате случайных вариаций.

Основная идея Дарвина состоит, прежде всего, в признании факта постоянной изменчивости организмов. «Так как естественный отбор, — как выражается Дарвин, — действует исключительно посредством накопления незначительных, последовательных, благоприятных изменений, то он и не может производить значительных и внезапных превращений; он подвигается только короткими и медленными шагами»<sup>2)</sup>. В течение длинного ряда случайных изменений слабые различия, характеризующие разновидность того же вида, разрастаются в резкие различия. Природа, по прекрасному выражению К. Тимирязева, находится в состоянии постоянных родов, разновидности суть только различные возрасты новых видов<sup>3)</sup>. Вся природа находится в постоянном движении, все органические формы постоянно изменяются. Слабые различия, мелкие, незначительные изменения переходят путем количественного их накопления в резкие различия. Органические существа обладают способностью изменяться под влиянием различных условий. Эта способность изменяться составляет их всеобщее свойство. Но самые изменения носят случайный характер. Изменения эти мы считаем случайными не потому только, как это подчеркивает Дарвин, что причины их нам неизвестны<sup>4)</sup>. Они случайны в более глубоком объективном смысле. Случайный характер изменчивости органических форм не только не исключает необходимости, но предполагает ее. Случайность представляет собою частную, специальную форму необходимости. Поэтому мы считаем, что Дарвин ближе к истине, когда в другом месте пишет следующее: «А если организованные существа в естественном состоянии хотя бы в слабой степени изменчивы, благодаря переменам в окружающих условиях (о которых мы имели множество геологических данных) или благодаря какой иной причине; далее

<sup>1)</sup> Л. С. Берг, Номогенез, 1922 г., стр. 16.

<sup>2)</sup> Дарвин, Собр. сочин., под ред. К. Тимирязева, 1907 г., т. I, стр. 418.

<sup>3)</sup> К. Тимирязев, Чарлз Дарвин и его учение, ч. I, издание десятое, стр. 92.

<sup>4)</sup> Дарвин, там же, стр. 154.

если в длинном ряде веков вообще могут возникать наследуемые изменения, чем-либо выгодные для данного существа при его чрезвычайно сложных и изменчивых жизненных отношениях, — а было бы странно, если бы никогда не возникали полезные уклонения, в виду обилия уклонений, которые использовал человек для своей пользы и удовольствия — если, следовательно, эти случайности имеют место (а я не вижу, как можно было бы сомневаться в вероятности их), то жестокая и часто возобновляющаяся борьба за существование определит: тем изменениям, которые благоприятные, хотя и незначительные, быть сохраненными или отобранными, а неблагоприятным быть уничтоженными.

Это сохранение в борьбе за жизнь тех разновидностей, которые обладают каким-либо преимуществом в строении, физиологических свойствах или инстинкте, я назвал естественным отбором»<sup>1)</sup>.

Естественный отбор должен разрешить вопрос о полезных и целесообразных приспособлениях организмов. Здесь самое важное было, с одной стороны, окончательно похоронить старую телеологию, которая все сводила к конечным причинам, т. е. к сознательной, универсальной воле или мысли, а, с другой стороны, дать рациональное оправдание тех целесообразных приспособлений организмов, которые действительно имеют место. В письме к Лассалю от 16 января 1861 г. К. Маркс писал по поводу этого следующее: «несмотря на все недостатки, здесь (имеется в виду «Происхождение видов» А. Д.) не только нанесен смертельный удар «телеологии» в естественных науках, но и эмпирически выяснено ее рациональное значение»<sup>2)</sup>. В таких же примерно выражениях характеризует значение дарвиновой телеологии и К. Тимирязев. «Только дарвинизм, — говорит он, — освободивший умы от отвращения ко всему, отыскиваемому телеологией, спас от забвения целые категории фактов, прежде упоминавшихся разве как примеры заблуждения умов, погрязших в телеологии. Только создав новую, рациональную телеологию, дарвинизм мог победить этот научный предрасудок»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Дарвин, Изменение животных и растений (Собр. сочин., т. VI, стр. 4—5).

<sup>2)</sup> „Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx“, herausg. von G. Mayer. Энгельс в письме к Марксу пишет, что Дарвин окончательно покончил с телеологией и почти первый доказал, что в природе существует историческое развитие („Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx“, 1919 г., II т., стр. 364).

<sup>3)</sup> К. Тимирязев, Насущные задачи естествознания, 1923 г., стр. 109.

Как же, однако, следует понимать эту рациональную телеологию? Ответ очень прост. Целесообразность не исключает необходимости, а предполагает ее, представляя ее частный случай. Если в свойствах данного вещества заключена возможность его бесконечного изменения, и если это изменение совершается в течение продолжительного времени, то неизбежны случайные совпадения условий, в результате которых появляется и целесообразное. Нельзя себе представлять дело таким образом, что в природе существует одна сплошная целесообразность, как склонны думать идеалисты. Если все в природе устроено целесообразно, то мы неизбежно должны прийти к признанию высшего существа, устроившего мир для определенной цели. Идеалисты совершенно неправильно поэтому истолковывают учение Дарвина, полагая, будто в нем речь идет только о целесообразном. Но, понимая так Дарвина, идеалисты упускают из виду, что эволюция организмов в сторону «усовершенствования» куплена чрезвычайно дорогой ценой. Достаточно привести хотя бы заключительный аккорд «Происхождения видов», чтобы убедиться в этом. Естественный отбор ведь есть результат борьбы за существование, связанный с вымиранием менее совершенных форм. «Таким образом, из этой, свирепствующей среди природы, войны, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, который ум в состоянии себе представить — образование высших форм животной жизни»<sup>1)</sup>.

Целесообразность представляет собою лишь особую, случайную форму необходимости. Никогда не следует забывать того, что существование более совершенных органических форм предполагает уничтожение огромного количества менее совершенных форм. С другой стороны, самую целесообразность надо понимать не абсолютно, а очень и очень относительно. Разве мы не видим в растительных и животных организмах массы случаев нецелесообразных приспособлений? Сам Дарвин приводит достаточно примеров для иллюстрации этого положения.

Целесообразность в дарвинизме, таким образом, не означает, что эволюция имманентно связана с какими-либо целями, а что определенные изменения, вызванные причинными отношениями и оказавшиеся случайно полезными, подхватываются естественным отбором, становясь, в свою очередь, основой для дальнейших приспособлений.

Словом, противоположность между причинной закономерностью и целесообразностью не метафизическая, а диалектиче-

<sup>1)</sup> Дарвин, Происхождение видов, стр. 430.

ская. Организм есть историческое образование. И этим объясняется то обстоятельство, что категория целесообразности играет здесь большую роль. Но если бы биолог полагал, что раскрытием или констатированием целесообразного в организме исчерпывается его задача, то он совершил бы большую ошибку. Исходным пунктом исследования органических форм является целесообразное, т.е. вопрос о том, для чего служит данный орган или каково значение данной функции. Но дальнейшая задача заключается именно в том, чтобы эту функцию или орган объяснить с точки зрения причинности, т.е. подвести под «целевые» явления причинное объяснение. Так, относительная целесообразность снимается причинностью, имеющей всеобщее значение.

*(Продолжение следует).*

## Тектология или диалектика.

(К критике «Тектологии» А. Богданова).

Ник. Карев.

### I.

Величайшей заслугой Г. В. Плеханова перед рабочим движением всех стран была исключительно последовательная и блестящая борьба за материализм. Именно она обусловила собой идейное содержание философских споров во II Интернационале перед мировой войной.

Недаром в письме П. Б. Аксельроду и А. С. Мартынову по поводу своих статей против А. Богданова Плеханов писал 5 октября 1908 г., умоляя не сокращать их: «Я знаю, что сокращать (статьи) нельзя. Т.-е. собственно можно, но только на несколько букв, что я и сделал. Теперь статья сокращена на 10 букв. Но больше не могу сокращать. Войдите же в мое положение: меня просили, прямо настаивали начать полемику с Богдановым. Я долго отнекивался, Дан свидетель. Наконец, я берусь за перо, уничтожаю эту бестю, и теперь мне говорят: «Надо сократить или отложить». Видали ли вы когда-нибудь во рту? Попробуйте посоветовать ему «сократить» или «отложить» его добычу; он только зарычит. Так и я... Я могу предложить только совсем не печатать мою статью фельетоном, а выпустить ее отдельным приложением. Она окупится, а если не окупится, то я заплачу расходы. Но Богданов должен умереть сейчас и sans phrases»<sup>1)</sup>.

Плеханов прекрасно понимал, что при всей скудости тогдашнего партийного бюджета его статьи за воинствующий материализм окупятся сторицей в деле борьбы рабочего класса. Теперь мы можем только пожалеть и о тех 10 буквах, которыми Г. В. пришлось пожертвовать под давлением своих издателей. После остроумнейшей критики Плеханова, поддержанной Лениным, богдановский эмпириомонизм действительно умер для того, чтобы более уже никогда не возродиться вновь в старой форме. Удар был нанесен верной рукой. Мы не знаем, всерьез ли «отнекивался» Плеханов от выступления против Богданова, предвидел ли он тогда значение именно этого выступления со всеми его последствиями, но для всякого большевика теперь несо-

<sup>1)</sup> Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода, т.

мненно, что три «письма А. Богданову» основоположника русской социал-демократии навсегда войдут в идейную сокровищницу революционного марксизма.

Мировая война и последовавшая за ней революция означали собой окончание эпохи II Интернационала. Новая эпоха требовала прежде всего понимания тех неслыханно обострившихся противоречий, которые подняла до высшего предела новейшая фаза развития капитализма и следовавшая за ней революция.

Борьба за диалектику выдвинулась у нас в России на первый план еще в 1905 г., когда методологически позицию Плеханова Ленин критиковал именно за метафизическое понимание буржуазной революции и ее движущих сил<sup>1)</sup>. Насколько же более злободневна стала она тогда, когда перерастание буржуазно-демократической революции и социалистическую, крушение капиталистического строя, изучение условий и путей перехода к социализму стали лозунгами сегодняшнего дня! Если наиболее блестящие страницы в деятельности Плеханова—теоретика марксизма—составляет борьба за материализм, то несомненно, что в области теории основное, пропитывающее всю революционную деятельность Ленина в разрушении старого мира и строительстве нового—есть борьба за диалектику. Именно на эту задачу дважды обращал внимание всех желающих бороться под знаменем коммунизма Ленин (в статье в № 3 «П.З.М.» за 1922 г. и в заметках по поводу записок Н. Суханова). Именно по этой линии борьбы за диалектику и развертывались за последние годы все наши теоретические споры.

Было бы, однако, величайшей ошибкой противопоставлять задачу борьбы за материализм—задаче борьбы за диалектику. Одно невозможно без другого. Наибольшие успехи в борьбе с идеализмом и Ленин и Плеханов одерживали именно потому, что они поражали своих врагов оружием диалектики. Отдельные частные ошибки Плеханова (напр., в теории «нероглифов») были связаны именно с недостаточным использованием этого оружия. И так же, как борьба за материализм переходила постоянно в борьбу за диалектику, и теперь борьба за диалектику неизбежно переходит в конце концов в борьбу за материализм. Без материализма диалектика остается пустым, бесплодным, бессильным в преобразовании действительности методом—тем, чем она была в системе Гегеля. Лишь материалистический метод дает нам подлинную действительность, а не ее тень. В наше время уже раздаются кое-где голоса о том, что борьба за материализм не стоит теперь в числе задач марксистской философской мысли. Идеализм—де насколько уже разгромлен, что нет нужды трагить силы

<sup>1)</sup> См. В. И. Ленин, Собр. Соч., т. VII, ч. 1, стр. 272.

на его опровержение. Предоставим мертвым хоронить мертвых. К сожалению, здесь будущее принимается за настоящее. Мертвым хватает живого. Самая убедительная критика не в состоянии устранить ложное учение, если за ним стоит классовый интерес. Она может лишь дискредитировать его перед массами, заставить искать новые формы. До тех пор, пока существует борьба классов, — до тех пор остается во весь рост задача борьбы за материализм с идеализмом и поповщиной во всех их проявлениях. Окончательно «добить гадину» — дело еще десятилетий. Поэтому, не забывая ни на минуту всей важности в нашу эпоху борьбы за диалектику, — надо уметь сочетать ее с борьбой за материализм, надо уметь каждый данный момент показать, как одна неразрывно связана с другой, как они взаимно обуславливают друг друга.

Именно с этой точки следует подходить к только что вышедшему 3-му изданию «Всеобщей организационной науки» А. Богданова<sup>1)</sup>.

Несомненно, что в его лице мы имеем ныне одного из наиболее влиятельных критиков учения Маркса.

Такое определение не может изменить то обстоятельство, что сам А. Богданов рядится в плащ отлученного господствующей церковью мученика во марксизме. Время непризнанных гениев принадлежит уже прошлому. Гегель некогда определял всемирную историю, как прогресс в сознании свободы. С неменьшим основанием ее можно было бы определить как прогресс в осознании своего рабства угнетенными классами. И поэтому с каждым новым шагом вперед в классовой борьбе, все более и более проясняющей массам их подлинные интересы и цели, — все меньше и меньше остается почвы для непонятых идеологов, для святой простоты старушек, подкидывающих хворост в костер, предназначенный их защитникам, для уединенных мечтателей, предвосхищающих грядущее. XVII век неповторим в XX-м и фигуре типа Спинозы<sup>2)</sup> нет места в век империализма и про-

<sup>1)</sup> А. Богданов, Всеобщая организационная наука («Тектология») Изд. 3-е, заново переработанное и дополненное, «Книга», 1925, стр. 300. Пока вышла только первая часть, почему в дальнейшем мы будем цитировать по мало отличающемуся от этого издания второму, берлинскому, изданию «Тектологии» 1922 г., заключающему все три части. Кроме того, в сокращенном виде «Тектология» издавалась в 1921 г. в Самаре под названием «Очерков всеобщей организационной науки». Первое издание, построенное иначе, чем два последующие, вышло двумя частями: 1) А. Богданов, В. о. н. (т.), ч. I, изд. М. И. Семенова, Петроград 1912, и 2) ч. II. Механизм расхождения и дезорганизации. Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1917.

<sup>2)</sup> Вернее — обывательски представляемого типа Спинозы, так как исторический Спиноза вовсе не был таким далеким от политической деятельности современником, каким его рисует слащаво-сентиментальная легенда. Им не мог быть автор «Теолого-политического трактата», друг и советник правителя государства, особо приглашавшийся в свою ставку французским главнокомандующим, наступавшим на Нидерланды.

летарских революций. Тот факт, что жизнь и классовая борьба проходят годы и десятилетия мимо некоторых прекрасных теорий, свидетельствует вовсе не в пользу этих теорий и не против жизни. И как бы не возмечал А. Богданов во всех своих работах последнего времени приход, наконец, того счастливого дня, когда человечество поймет необходимость его всеобщей организационной науки для своего спасения, — человечество остается глухо, счастливый день не приходит и «организационное» оружие попрежнему ржавеет без употребления в битве жизни. Там же, где оно и употребляется, — оно лишь ранит тех, кто за него берется. Как мы увидим в дальнейшем, все попытки Богданова выступить в роли продолжателя Маркса и идеолога пролетариата не выдерживают никакой критики. Но беспощадное всякой критики их осуждает самый могущественный из всех критиков и самый беспощадный — жизнь.

Но если то, что есть в действительности прогрессивного, отвергает богдановские схемы, — то за них, естественно, цепляется либо то, что чуждо революционной диалектике, либо то, что в силу известной лениности мысли, успокаивается на подкупающих своей простотой, все так легко и быстро объясняющих тектологических откровениях, не затрудняя себя более глубоким изучением подлинных воззрений основоположников марксизма.

И именно поэтому критика Богданова может быть наилучшим способом для выяснения того, чему на самом деле учили в области метода Маркс, Энгельс и Ленин.

Настоящая статья не претендует на сколько-нибудь исчерпывающее рассмотрение всех современных теоретических построений А. Богданова. В ее задачи входит дать критику лишь основных принципов «Тектологии». Если результатом статьи будет привлечение внимания марксистов и к этому учению фронта борьбы за материализм и диалектику, — ее задача будет выполнена.

Итак, начнем с того, что обещает дать в своей «Всеобщей организационной науке» А. Богданов.

## II.

### Тектология или философия.

Каковы задачи «Тектологии» — этой «Всеобщей организационной науки», по Богданову? Есть ли какая-либо связь между ней и прежними его работами в обоснование эмпириомонизма? Остается ли в силе и по сей день та критика, которой подвергли некогда философствование А. Богданова Плеханов и Ленин? Можно ли принимать тешерешнего Богданова, отвергая автора «Философии живого опыта», «Веры и науки» и «Приключений



одной философской школы? Этих вопросов можно было бы и не ставить, если бы сам А. Богданов в новом издании «Всеобщей организационной науки» не поднял их, отвечая на критику «Тектологии» тов. В. И. Невским: «Я не говорю в своей книге о материи-явлении, той, которую раньше представляли состоящей из твердых кусочков-атомов, а теперь физика располагает на электрические заряды и их силовые поля,—и я говорю о материи-вещи в себе, а также о духе. Мой читатель, я думаю, уже успел понять, почему это так. Просто для них тут не было и нет места. Наука ограничена научными рамками; а «вещи в себе»—понятия философские. Прав ли я, полагая, что тектология, между прочим, ликвидирует философию вообще, это вопрос другой; но ясно, что если тектология есть наука, то она обязана изучать только явления, их связь и закономерность; а прочее предоставит философии. Она даже не опровергает этих философских понятий; но в решении ее задач их некуда поместить».

И я не понимаю, кто или что мешает В. И. Невскому, или всякому желающему, сказать: «А за элементами-активностями скрывается вещь в себе, которая есть материя, и которая, действуя на наши органы чувств, вызывает ощущения, относящиеся к этим активностям»,—все, как полагается. Если это для вас что-нибудь прибавляет, и вы находите, что так лучше,—пожалуйста. Но тектология, как учения об организационных закономерностях, это просто не касается»<sup>1)</sup>.

Заигрывая таким образом с материалистами, как бы гарантируя им их философскую неприкосновенность в случае присоединения к тектологии, А. Богданов вместе с тем, очевидно, считает бесконечно язвительным это «все, как полагается». Еще бы! Ведь материализм есть дело веры, как утверждал А. Богданов еще в критике Ленина. Когда эта материалистическая «вера» приобретает такую «общественную значимость», какую она имеет сейчас в Советской России, было бы, конечно, неразумно грубо оттолкнуть от себя ее приверженцев. Несомненно, что лозунг «воздайте кесарево—кесарю, а божье—богу» представляет гениальный тактический лозунг.

А. Богданов забывает при этом лишь одно—гениальный лозунг, но не во всякое время и не для всякой «веры». Проповедь двойственной истины эпохи заката Средневековья и начала нового времени так же неуместна в век дизелей, электричества и Советов, как каменный топор в современной войне.

Попытки Богданова разграничить китайской стеной области науки и философии, материализма и методологии, обречены на

<sup>1)</sup> «Всеобщая организационная наука» («Тектология»), изд. «Книга», 1925 г., стр. 294.

неудачу. Китайские стены давно уже разрушены и годятся лишь разве для музеев исторических древностей. То же самое христианство, у которого ныне незаметно для самого себя заимствует свой тактический лозунг А. Богданов, прекрасно понимало, что «вера без дел мертва есть». Непростительным легкомыслием является надежда на то, что «современные инквизиторы»-материалисты забудут об этой заповеди. Материализм, сочетаемый с тектологией, с любым из ее основных принципов, мертв. Он не пустая вера, не голая формула, отбарабанив которую, как кажется А. Богданову, можно далее утверждать все, что угодно, он—мировоззрение, из которого необходимо вытекает и соответствующая методология. Опрятать неразрывную связь метода и мировоззрения может либо тот, кто не понимает настоящего значения ни того, ни другого, либо тот, кто стремится сознательно разорвать их в воззрениях своих противников.

Более того. Современный материализм не мыслит себе иначе материю, как находящейся в состоянии постоянного движения, т.-е. не иначе, как диалектически развивающейся. Диалектическое мировоззрение предполагает и в изучении всех отдельных явлений действительности диалектический метод. Таким образом, быть в наше время последовательным материалистом—значит быть и диалектиком. Либо последовательный материализм, неразрывно связанный с диалектикой, либо идеализм во всех его видах—такова дилемма! В частности—либо материалистическая диалектика и материализм, либо всеобщая организационная наука и эмпириомонизм. Третьего не дано! Показать связь тектологии и эмпириомонизма и будет нашей ближайшей задачей.

А. Богданов противопоставляет философию—науке. Предмет философии—«вещи в себе», предмет науки—«только явления». Уже сама по себе такая постановка вопроса есть критика материализма. Основной особенностью современного материализма является именно то, что он не разрывает «вещь в себе» и явление. Не существует вещей в себе, которые не являлись бы, и нет явлений, которые не порождались бы движением материальных вещей и процессов. «Вещь в себе» в смысле Канта, оторванная от каких бы то ни было явлений, есть лишь абстракция, как показал еще Гегель, не имеющая никакого значения для нашего познания и не существующая в реальной действительности. Сущий в себе мир является и являющийся мир ничто иное, как порождение этого сущего в себе мира. Но напрасно повторять это бесконечное количество раз Плеханов и Ленин. А. Богданов, к сожалению, очевидно, до сих пор следует прутковскому совету затыкать свои уши морским канатом.

Совершенно очевидно, что если «вещи в себе» не оторваны от явлений, то тогда они и не могут, даже вместе со всем «прочим», составить какой-то особый объект для философии в противоположность науке. Философия и наука едины. На долю философии остается то общее, что проникает все науки и объединяет их—мировоззрение и метод. Когда-то в известной степени это понимал и сам А. Богданов, определяя философию, хотя и неверно с точки зрения марксизма, как «область гипотез, которые основываются на последних обобщениях науки, но идут дальше их, и имеют своей задачей установить единство, цельность в познании»<sup>1)</sup>, но все же и не как мудрствование о неких абстрактных «вещах в себе», противоположных явлениям. С тех пор прошло почти три бурных десятилетия. За это время А. Богданов успел сочинить свою собственную философскую систему, которая, однако, не встретила ни особого сочувствия, ни признания в среде самого передового класса нашего времени, хотя А. Богданов и претендовал на роль его идеолога. Обжегшись однажды на философии, Богданов утешает себя теперь, провозглашая ее закат. Свое старое философское блюдо он предлагает под новым соусом науки. Однако тектология такая же плохая наука, какой плохой философией была философия эмпириомонизма.

Богдановская критика философии может казаться сокрушительной лишь постольку, поскольку философия понимается так, как он ее определяет. Действительно, если задачей философии признать построение гипотез, объединяющих разрозненное специализацией знание, гипотез, выходящих за пределы того, что нам дает научный опыт, то, конечно, нужда в такой философии весьма сомнительна. Преодоление специализации в науке происходит за последние десятилетия на почве самой науки. Правда, оно не идет по линии установления полного тождества между различными областями научного знания, как хотелось бы А. Богданову. Подлинный научный синтез может быть истинным лишь тогда, когда он не только находит единство в различиях, но видит и различия в единстве, обуславливаемые различиями самих объектов научного знания. Из сопоставления, следуя Богданову, строения солнечной системы, роли матки в пчелином улье и роли владыки в восточной деспотии<sup>2)</sup>—ничего для действительного познания мира извлечь нельзя. Но показать единство природы в ее развитии, показать, что законы, действующие в природе, обществе и человеческом мышлении,—одни и те же законы диалектического движения и раз-

<sup>1)</sup> А. Богданов, Основные элементы исторического взгляда на природу, II, 1899, стр. 210.

<sup>2)</sup> «Тектология», 27—28.

вития—может уже современная наука, и с каждым годом все более и более. Однако тем самым вовсе не устраняется философия; как методология знания и как мировоззрение<sup>1)</sup>.

Однако при слове «мировоззрение» у А. Богданова есть еще один, не менее на первый взгляд сокрушительный, аргумент против философии.

Как известно, в 11 тезисе о Фейербахе Маркс говорит, что философы до сих пор об'ясняли мир, дело же заключается в том, чтобы его изменить. Этого достаточно А. Богданову, для того, чтобы построить целую философию преодоления философии.

«Философия стремилась связать в одну научно-стройную систему человеческий опыт, разорванный силою специализации. Решение было до последнего времени невозможно; но философия верила (курсив везде, где это не оговорено, Богданова. Н. К.) в него, и старалась найти его. Она думала представить мир, как стройно-единую систему—«об'единить» его посредством какого-нибудь универсального принципа. В действительности требовалось превратить мир опыта в организованное целое, каким он реально не был (курсив наш. Н. К.); а этого не только философия, но и вообще мышление само по себе, своими исключительно силами сделать не может»<sup>2)</sup>. И в другом месте: «Философия теоретическая стремилась найти единство опыта, а именно в форме какого-нибудь универсального об'яснения. Она хотела дать картину мира, гармонически-цельную и во всем понятную. Ее тенденция—созерцательная. Для тектологии единство опыта не «находится» а создается активно-организованным путем: «философы хотели об'яснять мир, а суть дела заключается в том, чтобы изменить его»,—сказал великий предшественник организационной науки Карл Маркс (последний курсив наш. Н. К.)<sup>3)</sup>. Комическое здесь заключается в том, что Маркс выступает в роли предшественника... А. Богданова, трагическое же—в том, что А. Богданов обнаруживает полную неспособность понять своего «предшественника». В чем заключается смысл марксовских тезисов о Фейербахе? В

<sup>1)</sup> Замечание о том, что философия-де отличается от науки тем, что претендует на свои какие-то особые методы исследования, ведущие свое начало в марксистской литературе тоже от Богданова, не заслуживает, очевидно, никакого внимания. На такие особые методы претендует только буржуазная философия, действительно более относящаяся в наше время к области веры, чем к области знания. В отношении научной философии марксизма, материализма подобное воззрение явно бьет мимо цели. Совершеннейшие пустяки утверждает А. Богданов, когда говорит, что философский эксперимент невозможен. Для материалиста-диалектика любое явление действительности есть философский эксперимент, на любом явлении действительности можно обнаружить и проверить на практике философские категории (см. у Ленина «К вопросу о диалектике», «Под Знаменем Марксизма», № 5—6 за 1925 г., стр. 16).

<sup>2)</sup> «Тектология», 64.

<sup>3)</sup> Там же, 97.

противопоставлении объяснения—изменению или в чем-либо другом? Ответ на это дает 4-й тезис, конкретно иллюстрирующий мысль Маркса:

«Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения мира в религиозный и светский. Его задача состоит в том, чтобы свести религиозный мир к его светской основе. Но то, что светская основа отделяет себя от самой себя и как самостоятельное царство водворяется в облаках, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой светской основы. Следовательно, последняя сама должна быть понята из себя самой со всеми ее противоречиями, с одной стороны, практически революционизирована—с другой. Следовательно, после того, как, например, земная семья раскрыта, как тайна святого семейства, первая должна быть теоретически и практически разрушена»<sup>1)</sup>.

Как поставлена задача марксизмом? После того как светская основа понята со всеми ее противоречиями, после того как земная семья раскрыта, как тайна святого семейства, после того, как, таким образом, объяснена земная семья из противоречий ее светской основы, кроме того она должна быть практически революционизирована, разрушена. Теория должна совпасть с практикой. Вот смысл тезиса Маркса. Здесь нет ни слова о противопоставлении задачи объяснения—изменению мира. Это две необходимые стороны одной и той же задачи. Иначе и не мог ставить проблему материалист. Так же как в истории с «посюсторонностью» и «потусторонностью» мышления, и в данном случае А. Богданов, повторяя слова Маркса, не видит их смысла, так как смысл этот целиком против него, целиком материалистический. Из тех же самых слов Маркса, которые ставят себе целью утвердить материализм, как раз и двинув на первый план предметную, чувственно-материальную деятельность, он делает целиком идеалистические выводы. Для Маркса задача заключается в том, чтобы, поняв данную «картину мира», данное «единство опыта» со всеми присущими ему противоречиями, изменить его. Для Богданова «картина мира», «единство опыта» не изменяется в результате нашей предметной революционной деятельности, а создается организационным путем. Реально мир опыта не представляет организованного целого. Это мы его превращаем в таковой. Тем самым в страницах «Тектологии» повторяется старая эмпириомонистическая песня. А. Богданов попрежнему предпочитает следовать доблестному барону фон-Грюнвальдусу, и марксизм попрежнему остается для него все также недоступной Амалией.

<sup>1)</sup> «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. I, стр. 201.

Итак, только благодаря нашему вмешательству, мир превращается в организованное целое. Реально, в объективной действительности, вне нас и независимо от нас существующей, он им не является, он,—добавим словами самого же А. Богданова минувших лет,—только «хаос элементов». Тектологическая практика и заключается в превращении этого хаоса нарастающих в опыте элементов в организованное целое. Такая «практика» во всяком случае ничего общего не имеет с материальной практикой живых, борющихся и изменяющих мир людей из плоти и крови. И хотя А. Богданов и считает, что Маркс лишь не точно выразился (!!), когда называл свою доктрину материализмом<sup>1)</sup>, но от «практики» А. Богданова до марксовской практики так же далеко, как от средневековой астрологии до современной физики.

Таким образом современная тектологическая критика философии, как и некогда превозглашавшееся Богдановым «собственное мировоззрение и скрывают одну и ту же старую знакомку—эмпириомонизм. Философствование против философии приводит только к дурной философии.

Вместе с тем, мы можем сейчас ближе рассмотреть само богдановское понимание «организации» и «организованности».

Начнем с примера. В качестве его лучше всего может служить богдановская трактовка времени и пространства, рассмотрение которой позволит нам вместе с тем еще раз убедиться в том, насколько совместна тектология с материализмом.

### III.

#### Тектология или материализм.

Что такое пространство и время с точки зрения Богданова?

«В наш организм постоянно вступают и из него устраняются разнообразные элементы вещества и энергии. В этом непрерывном волнующемся потоке сохранение и накопление всяких активностей возможно лишь благодаря фиксирующим их и поддерживающим форму целого скелетным тканям; без них организм расплылся бы, как река, лишенная своего твердого ложа. В систему опыта вступают также непрерывно все новые и новые элементы активностей из окружающего ее океана недоступного—неизвестного; и другие элементы уходят из нее туда. Никакое сохранение и накопление опыта не было бы возможно, и он весь расплылся бы в хаосе, если бы всякое содержание не фиксировалось в нем связью с определенными пунктами пространства и моментами времени, не укладывалось в готовые прочные рамки

<sup>1)</sup> А. Богданов, Философия живого опыта, изд. 3-е, стр. 238 и 241.

этой мировой скелетной ткани, более прочной, чем сталь и алмаз, при всей «идеальности» своего строения»<sup>1)</sup>.

Несмотря на весь лиризм этого места, «сталь и алмаз», истины, в нем излагаемые, однако, весьма почтенного возраста. Им по крайней мере 200 лет. Признать, что время и пространство—формы опыта, посредством которых мы организуем вступающие в его систему из «океана неизвестного» явления—это и значит стоять на точке зрения «какого-нибудь Канта!»<sup>2)</sup>. Напрасно, напрасно Богданов издевался в свое время по поводу кантовских «вещей в себе». Вот уж где поистине—не плыви в колодезь, пригодится воды напиться. А от того, что эта вода провозглашается в данном случае целым «океаном неизвестного», ничего ведь не меняется: всякий барон веселится по своему! Не помогает Богданову и провозглашаемое им развитие форм пространства и времени: «Надо иметь в виду, что мировые формы пространства и времени развивались на памяти человечества, и сильно изменялись, особенно за последнее тысячелетие. В древности, как и сейчас для культурно-отсталых слоев человечества,—мировое пространство не принималось ни бесконечным, ни однородным, каким оно является для нас. Обе эти характеристики еще только намечались для наиболее передового мышления тех времен. Великий энциклопедический систематизатор античного времени Аристотель считал мировое пространство ограниченным. Представитель более радикального течения идей, при том живший позже, Эпикур, признавал пространство вселивной беспредельным, но далек был от концепции об его однородности: он считал, что атомы материи необходимо движутся первоначально «сверху вниз»; проходя путь бесконечного падения; следовательно «верх» и «низ» были для Эпикура абсолютны и необратимы» и т. д.<sup>3)</sup> Эта цитата доказывает все, что угодно, но только не то, что могло бы спасти А. Богданову реальное пространство и время.

В самом деле. Бесспорно, что Аристотель «считал» пространство ограниченным (хотя в то время жили и другие люди, которые не считали его таковым), и так же бесспорно, по имеющимся у нас данным, что Эпикур признавал необратимыми «верх» и «низ»... Но что это доказывает? Удастся ли такой дешевой ценой отделаться А. Богданову от проблемы существования реального времени и реального пространства? То

<sup>1)</sup> «Тектология», 368.

<sup>2)</sup> Любопытно, что сам Богданов в другом месте полемизирует с кантовской точкой зрения, доказывая, «что «предписывать законы природе» можно только по соглашению с ней» («Тектология», 53). В таком случае, казалось бы, нельзя и формы времени и пространства «предписывать» природе, если им ничто не соответствует в ней самой—однако, обвинить в этом вопросе в последовательности Богданова было бы величайшей несправедливостью.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 372.

обстоятельство, что человечество лишь постепенно возвышалось до того понимания времени и пространства, которые мы имеем сейчас, вовсе не устраняет проблемы существования времени и пространства как объективных, вне нас существующих форм мира. Присущи ли они тому самому «океану неизвестного», о котором весьма предусмотрительно так туманно и осторожно говорит А. Богданов? На это у Богданова если и есть ответ, то лишь старый ответ эмпириомонизма. Для него нет времени и пространства, независимых от человеческого сознания, его «организующей» деятельности. Из того, что Богданов говорит об общественном, а не только индивидуальном сознании, суть дела не меняется, так как и современные неокантовцы типа Макса Адлера грезят трансцендентальными функциями тоже «обобщенного человека», в число которых входят, однако, и вера, и идея бога. Для настоящего времени и настоящего пространства у Богданова не остается места. А если это так, то к нему попрежнему приложимы слова Плеханова: «Для вас время и пространство существуют только потому, что их мыслят живые существа; вы отказываетесь признать бытие времени, независимо от чьего бы то ни было мышления,—того времени, в котором развились организмы, мало-по-малу поднявшиеся до «мышления». Для вас объективный, физический мир есть лишь представление, и вы обижаетесь, когда вас называют идеалистом. Бесспорно, всякий имеет право быть чудаком, но вы, г. Богданов, явно и постоянно злоупотребляете этим бесспорным правом»<sup>1)</sup>. Из того, что теперь А. Богданов особенно настаивает на организующей роли времени и пространства, ничего не меняется в существе дела по сравнению с тем временем, когда были написаны эти строки Плеханова. К сожалению, несмотря на все чудеса революции, люди до сих пор не научились организовывать то время, которого у них нет.

В чем же в данном случае главная ошибка Богданова, приводящая его к столь плачевным результатам? Она заключается в его совершенном непонимании отношения формы и содержания.

Форму он понимает как нечто совершенно внешнее, как некий колпак, который надевается на содержание. Содержание же противостоит ей, как нечто чуждое ей, совершенно бесформенное. Отсюда, между прочим, следует и то обстоятельство, что, философствуя о противоречиях в развитии формы, он возвышается лишь до сентенций, достойных разве только Кузьмы Пругкова, вроде нижеследующей: «Одежда ребенка не растет с его телом, а в лучшем случае немного растягивается, а затем все более стесняет его движения, либо рвется. Жилище не увеличивается

<sup>1)</sup> Г. В. Плеханов, Сочин., т. XVII, стр. 77.

по мере того, как увеличивается его население; отсюда (11), между прочим, все жестокое последствия скученности масс народа в больших городах»<sup>1)</sup>. При таком чисто-механическом понимании отношения формы и содержания, конечно, далее почтенного мыслителя из пробирной палаты и нельзя пойти. Но это вовсе не значит, что только и свет в окошке—в этом понимании. И для Канта, и для Богданова время и пространство—формы, извне налагаемые на содержание опыта, на мир материальных явлений. Исчерпывающая критика этого была дана еще Гегелем. Время и пространство не только формы нашего мышления, но и формы бытия самой действительности, самих «вещей в себе», самого «океана неизвестного», согласно более приятной А. Богданову терминологии.

Движение есть не что иное, как единство пространства и времени. Материя есть не что иное, как единство движения и реальности. Нет движения без материи и нет материи без движения. Нет пространства и времени вне материи и нет материи, которая не была бы пространственна и не развивалась бы во времени. И только в таком случае мы не попадаем в порочный круг, внутри которого «все ходит по цепи кругом» до сих пор А. Богданов: пространство и время—только орудия человеческого мышления, которое само в свою очередь—порождение развития природы в пространстве и времени.

Уже на примере трактовки пространства и времени обнаруживается основной грех организационной точки зрения. Это точка зрения, которая исходит не из объекта, не из присущего ему движения и развития, а из субъекта, от извне привносимой им в опыт схемы.

Задачи, которые ставит себе Богданов, универсальны.

«Всякая человеческая деятельность объективно является организующей или дезорганизующей. Это значит: всякую человеческую деятельность, техническую, общественную, познавательную, художественную, можно рассматривать, как некоторый материал организационного опыта, и исследовать с организационной точки зрения. Всего чаще термин «организация» употребляется тогда, когда дело идет о людях, об их труде, об их усилиях. «Организовать предприятие», «организовать армию» или «кампанию», «защиту», «атаку», «исследование» и т. под.—значит: организовать людей для какой-нибудь цели, координировать и регулировать их действия в духе целесообразного единства». Но понятие организации применимо, с точки зрения Богданова, и «не только к человеческим активностям». В равной степени оно может быть приложено к деятельности

<sup>1)</sup> «Тектология», стр. 369.

«летки, кристаллам и всем прочим явлениям природы. «Было бы странно считать «не организованными» стройные, титанически устойчивые, в мириадах веков определившиеся системы солнц с их планетами»—патетически восклицает А. Богданов. А если это так, то мы и приходим тогда к «единственно целостному, единственно монистическому пониманию вселенной» как «ткани форм разных типов и ступеней организованности от неизвестных нам элементов эфира до человеческих коллективов и звездных систем». «Итак—область организационного опыта совпадает с областью опыта вообще»<sup>1)</sup>. Организационная наука возведена на пьедестал, ей подчинено все—от эфира до звездных систем, от земных инфузорий до проблематических обитателей Маркса включительно. Универсальная отмычка ко всем явлениям в природе и обществе найдена. Казалось бы—чего же больше? И, однако, ехидные критики попрежнему с насмешливой улыбкой встречают организационные откровения.

Почему? Чтобы объяснить это, попробуем всмотреться пристальнее в самое понятие организации, организованности—у Богданова. Прежде всего бросается в глаза стремление Богданова устранить объект в своих организационных схемах. Абстрактное тождество всего и вся—его высший закон. Разбирая многообразные определенных различных процессов в науке, подпадающих, с точки зрения тектологии, под понятие организации, напр., приспособление, развитие, ассоциирование, образование (в механике, физике, химии) и т. д., Богданов выражает крайнее недовольство этой нестротой понятий именно потому, что «каждое из них обладает своим особым оттенком, но взятым всецело от объекта, к которому относится идея организации, следовательно, совершенно ненужным, раз этот объект указан. Однако такова сила тысячелетиями выработанной привычки,—жалуется далее Богданов,—что для нас весьма несносно звучали бы выражения: «организовать» здание, корабль, платье, картину, книгу; а они передавали бы идею не только вполне достаточно, но много точнее, чем обычные формулы: «шить платье», «написать книгу»,—сводящие сложную систему организационных актов к одной части, и далеко не самой важной»<sup>2)</sup>. Мы вовсе не ставим, конечно, своей целью обосновать необходимость того или иного выражения в языке или, тем менее, того или иного образа, нам важно в данном случае лишь выступление Богданова против стихийно выработанного народной мудростью стремления идти от объекта труда. Для организационной точки зрения наша деятельность является чисто-субъективным актом, в котором не замешан объект, тождественным самому себе, на что бы он ни

<sup>1)</sup> «Тектология», стр. 19—23.

<sup>2)</sup> Там же, 46—48.

направляется. Указание на объект, подлежащий «организации», исчерпывает эту сторону дела. Именно тождество организационного действия выдвигает Богданов, когда рекомендует выражать одним и тем же глаголом «организовать» такие по существу различные действия, как «организовать книгу» или «организовать здание». На задний план отступает специфичность действия, обуславливаемая объектом. Так же, как плоский эмпиризм не видит единства методов в различных областях труда, точно так же Богданов не видит обуславливаемых объектом различий в едином процессе труда. Для Богданова понятия организации и производства тождественны. При этом исчерпывает момент качественного преобразования вещи в процессе производства. Для Богданова «человечество не имеет иных интересов, кроме организационных». Однако это вовсе не верно. Несомненно, что организационная задача представляет важнейшую часть всякой целесообразной деятельности людей. Но она вовсе не представляет цель в себе и для себя. Разве во имя организации, как таковой, живет и борется человечество? Нет, во имя материальных интересов и материальных целей. Организационная деятельность есть момент человеческой деятельности, необходимый момент, однако вполне исключающий в ее цели, в ее результате, в материале и средствах осуществления этой цели.

Неустранимый борец против всякого рода фетишей, Богданов, при этом не замечает, как в своем понятии «организации» сам становится провозвестником самого грубого, самого вульгарного фетишизма. Для того, чтобы доказать, что понятие организации является действительно универсальным, он, естественно, должен распространять его в равной мере и на деятельность людей и на деятельность природы. «Природа организует сопротивление многих живых организмов действию холода, покрывая их пушистым мехом, перьями или иными, мало проводящими тепло, оболочками. Человек тем же самым путем достигает тех же результатов, устраивая себе теплую одежду. Стихийное развитие приспособило рыбу к движению в воде, выработавши определенную форму и строение ее тела. Человек придает ту же форму своим лодкам и кораблям, при чем воспроизводит и строение скелета рыбы: киль и шпангоуты в точности соответствуют ее позвоночнику и ребрам...» «Самая возможность подражания, в сущности, уже достаточное доказательство того, что между стихийной организующей работой природы и сознательно планомерной—людей нет принципиального, непреодолимого различия. Это—достаточное доказательство принципиальной однородности организационных функций человека и природы: идиот не может подражать творчеству гения, рыба—красно-

речью оратора, рак—полету лебедя; подражание всюду ограничено рамками общих свойств, рамками однородности<sup>1)</sup>. В этом отождествлении стихийно-организационной деятельности природы и сознательно-планомерной деятельности людей Богданов забывает лишь одно—то, как он сам всего несколько страниц тому назад определил сущность организационного действия—координацию элементов «в духе целесообразного единства». И поскольку организационная точка зрения распространяется не только на органический мир, но и на мир неорганический—вся природа таким образом провозглашается целесообразным единством.

Телеология заменяет науку. Богданов прав, что организационная деятельность людей, являющаяся моментом их трудовой деятельности, включает в себя понятие цели. Но поэтому же и рассматривать природу в целом, как организационный процесс, является самым вульгарным фетишизмом. Насколько эта точка зрения далека от марксизма, видно хотя бы потому, насколько сам Маркс тщательно подчеркивал различие даже между животным образом, инстинктивным и человеческим трудом. «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде, чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже перед началом этого процесса имелся идеально, т.е. в представлении работника. Он не только изменяет форму того, что дано природой: в том, что дано природой, он осуществляет в то же время и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю»<sup>2)</sup>. Не меньшее же различие существует и между инстинктивной, но целесообразной в конечном результате деятельностью науки или пчелы—результата длительного процесса прогрессивного исторического развития—и между стихийной деятельностью неживой природы, филигранно обтачивающей в быстротекущем потоке гладкие камешки или тысячетонным систематическим действием ветра и дождя разрыхляющей гранитные горные породы. То, что человек—сын природы и следует ей в своем творчестве, вовсе не устраняет различия труда и стихии. Подгоняя всякий закономерно повторяющийся процесс под понятие организации, Богданов, незаметно для самого себя, готовит престол телеологии в таких областях, какие она давно

<sup>1)</sup> «Тектология», стр. 24—25.

<sup>2)</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IV, «Капитал», т. I, стр. 149, изд. 1923 г.

уже покинула под давлением успехов науки за последние два столетия. Богданов претендует на то, что его точка зрения «совершенно проста и в простоте своей непреложна». Но эта простота действительно хуже воровства, ибо при посредстве универсального упрощения подлинной картины мира подгоняются под один ранжир такие явления, какие на самом деле прямо противоположны друг другу, и связывающим их оказывается такое понятие, которое, как добрый Фигаро из «Севильского цирюльника», является и там и тут—нигде не имеет определенного значения, и, по желанию режиссера, либо маскируется под понятие цели, либо грациозно умалчивает о какой бы то ни было связи с ним.

Познание для Богданова так же тождественно организации, как и производство. Задача науки—систематизация опыта по принципу наибольшей «экономии сил»<sup>1)</sup>. «Научные термины «решить», «доказать» истину имеют объективное значение—организовать ту или иную совокупность данных»<sup>2)</sup>. Если это так, то наука—не система объективных истин, а система идей, организующих наиболее экономным образом опыт: это целиком махистское понимание истины. Данные опыта—пассивный материал, который извне, со счетами экономического бухгалтера в руках, наука приводит в порядок до тех пор, пока из «океана неизвестного» не нанесет попутным ветром новых данных, не ущемляющихся уже более в рамках старого учета. Какая-то мелкая бакирская контора вместо «живого, плодотворного, истинного, могучего, всеильного, объективного, человеческого познания», по определению Ленина<sup>3)</sup>. Если задача науки чисто-механическое упорядочение фактов опыта, если в ней не отражаются никакие их собственные закономерности, то тогда, конечно, и путь познания не причинное объяснение, а описание опыта, как бы Богданов ни ратовал иногда против описательного метода. Это—глубоко консервативная по существу точка зрения, так как в ней нет основного, революционизирующего всегда и всюду,—движения содержания. Организационные схемы—это нами налагаемые на мир опыта схемы, создающие извне единство опыта.

Если это так, то, конечно, тогда истина вовсе не может заключаться в соответствии понятия предмету, ибо предмет в данном случае совершенно бессловесен. Объективной истины быть не может. Есть лишь цепь относительных «истин»—своих «истин» для каждой данной эпохи. Тектология не признает того отношения между относительным и абсолютным, конечным и бесконечным, о котором, следуя Гегелю, писал еще И. Дицген в своей

<sup>1)</sup> Там же, 35.

<sup>2)</sup> Там же, 117.

<sup>3)</sup> «К вопросу о диалектике», 18.

«Письмах о логике»: «Мы познаем абсолютную истину в ее относительных явлениях. Совершенная сущность состоит из несовершенных частей. Только с точки зрения филлистеров такое положение<sup>1)</sup> есть бессмысленное противоречие». К числу этих филлистеров бесспорно принадлежит и А. Богданов. Если истина только относительна, если нет никакого критерия ее соответствия материальному предмету, то тогда, несомненно, истинно то, что в каждый данный момент социально-значимо для эпохи. Реакционность этой точки зрения в том, что в ней исчезает возможность перехода к новому из старого, развитие подменяется механическим и утопическим противопоставлением одной «истины» другой (ср. трактовку Богдановым проблемы пролетарской культуры).

При этом совершенно необъяснимой становится сама история мышления. Для А. Богданова «история показывает, что в развитии человечества, по мере того, как изменялась его социальная природа, организация его собственной практики и мышления, изменялась для него (?) также организация вселенной в ее целом, и отдельных его комплексов»<sup>2)</sup>. Что значит это «для него»? Никто не может отрицать той общеизвестной истины, что с ростом человеческих знаний изменяется для человечества и картина окружающего его мира, познание проникает в него все глубже и глубже. Никто не сомневается и в том, что и сама окружающая общество природная среда за несколько тысячелетий его существования изменяется и в силу внутренне присущего ей движения и, еще более, в силу воздействия на нее самого человека. Не об этом в данном случае идет спор. Проблема заключается в том—представляет ли реально противостоящая человечеству в каждый данный момент природная среда сама по себе закономерно развивающееся целое или ее «организованность»—продукт деятельности общественного человека. Для Богданова верно последнее. Предмет знания у него превращается в бесформенные элементы «чистого опыта», неизвестно по каким причинам появляющиеся и служащие пассивным материалом координирующей их деятельности человеческого мышления. Для него «католицизм был бы истиной, если бы он гармонично и стройно без противоречий способен был организовать современный опыт человечества»<sup>3)</sup>. В свое время в течение веков он был «правильен», так как служил общественно-организующей силой тогдашнего опыта<sup>4)</sup>. Но откуда же, даже если встать на точку зрения самого

<sup>1)</sup> И. Дицген, Аквизит философии и письма о логике, изд. 3-е, Москва 1903, стр. 174.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 81.

<sup>3)</sup> А. Богданов, Падение великого фетишизма. Вера и наука, М. 1910, стр. 83.

<sup>4)</sup> Там же, 184.

Богданова, берется то новое, что не позволяет уже католицизму также «без противоречий» «организовывать» современный мир. Опыт, как он делал это несколько столетий тому назад? На это А. Богданова нет ответа. Диалектика развития знания и объекта познания у него исчезает, так как нет самого объекта. В его построении не находит себе места понимание того простого объективизма, гениально показанного Гегелем в «Феноменологии духа», что знание возникает как отражение предмета—окружающего нас природного и общественного мира, что развитие предмета толкает вперед и развитие знания, а развитие знания свою очередь открывает в предмете познания все новые и новые стороны. Предмет знания—объект, «комплекс элементов опыта»,—у Богданова совершенно бесформенен и лишен самостоятельной жизни, следовательно, не может быть взаимодействия между ним и знанием. Если это так, то остается совершенно неразрешимой загадкой—откуда возникает новое в опыте, к чему в опыте должны приспособляться наши организующие формы, если сам объект вне их—ничто.

В понимании истины, как социально-значимого, Богданова так же, как и во многих других случаях, уже разобранном ранее, критикуя Маркса по существу, пытается основаться на неправильно понятых цитатах из него. В I томе «Капитала» разбирая фетишизацию общественных отношений в буржуазной политической экономии, Маркс писал: «Это общественно-значимые, следовательно, объективные формы мысли в рамках производственных отношений данного исторически-определенного общественного способа производства,—товарного производства. Все мистицизм товарного мира, все чудеса и привидения, окутывающие продукты труда при господстве товарного производства,—все это немедленно исчезает, как только мы переходим к другим формам производства»<sup>1)</sup>.

Что в этой цитате утверждает Маркс?—Общественные отношения в развитом товарном обществе неизбежно предстают в сознании отдельных производителей-работников не в их чистом виде, а под вещественной вуалью. Эта всеобщая и необходимая, т. е. социально-значимая, хотя и нелепая, форма представления существует до тех пор, пока мы не можем возвыситься до сопоставления товарного производства с другими его формами. Как только это сопоставление сделано, историческая ограниченность данных общественных форм выяснена,—все чудеса и привидения их разлетаются в прах. Вещественная вуаль, под которой представляются работникам их общественные отношения в товарном

<sup>1)</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. IV, Госиздат, 1920 г., стр. 44.

обществе, не пустой образ воображения. В товарном мире неизбежно общественное движение людей принимает форму движения вещей. Эти превратные формы мысли являются превратными именно потому, что они отражают превратную действительность. Поэтому они и общественно-значимы и объективны, что являются отражением действительно существующих в товарном обществе форм. Если же в данном случае марксовское понимание объективности категорий буржуазной политической экономии, фетишизирующих общественные отношения, понимать в смысле их истинности (что, очевидно, совсем не одно и то же), то тогда остается совершенно непонятным и общий смысл марксовской критики товарного фетишизма, и, в данном случае, смысл его утверждений о мистицизме товарного мира, его чудесах и привидениях. Мистицизм, чудеса и привидения—это именно не истинные, ни в каком смысле этого слова, а иллюзорные формы мышления не нашего еще себя человечества. Весь фокус с марксовской цитатой, в конечном счете, сводится, таким образом, именно к отождествлению понятий объективности и истинности. Несомненно, например, что мировоззрение А. Богданова социально-значимо, скажем, для известной, очень небольшой, группы современного нам общества. В этом смысле оно объективно существует и несомненно в своем искаженном образе отражает известные стороны искаженной буржуазной и мелко-буржуазной действительности. Но отсюда бесконечно далеко—и именно в силу этой его объективности—бесконечно далеко до признания его истинности.

Революционные марксисты—за истину. Скептицизм в отношении истины, релятивизм, признание истины того, что господствует в данный момент, либо того, что мне угодно, игнорирование опыта борьбы и истории свойственно всегда, было лишь тем, кто отражал идеологию умирающих или порожденных исторической минутой классов. Для нас истина—то, что соответствует действительным отношениям материальных процессов и предметов, в общественной науке—истина то, что правильно выражает общественные отношения между людьми, в классовом обществе—отношения между классами. Проверкой истины является вовсе не ее «социальная значимость», и не самый идеальный референдум, а опыт классовой борьбы, опыт труда, практика.

И поэтому для марксистов вовсе не истинны ни фетишизм буржуазного мира, ни религия средневековья, ни анимизм первобытного дикаря. Иное дело для А. Богданова. Если из революционно-марксистской точки зрения на истину неизбежно вытекает обязанность прежде всего подвергать критике все предшествующие формы мышления и обнажать за прикрывающими их



цветами цепи рабства, точка зрения А. Богданова, незаметно для него самого, в первую голову ведет к обоснованию всякой исторически данной формы мышления, как истинной. Для марксистов исторический процесс в области знания есть процесс волевого и большего раскрытия объективной истины, вследствие чего всякая ступень его должна рассматриваться и как содержащая частицу истины и как неизбежно недостаточная в силу своей исторической ограниченности,—для А. Богданова идеология любой эпохи, поскольку она была общественно-значима, истинна, нет перехода от одной эпохи к другой и каждая форма мышления представляет собой как бы систему замкнутых кругов, всегда в себе и для себя истинных. Не трудно видеть, как много точек соприкосновения в данном случае между «марксистом» Богданова и мистицизмом Шпенглера, проповедующего «души культур».

Основной источник, питающий всю эту организационную разбериху,—несомненно богдановское понимание материи, или, вернее, непонимание им проблемы материи. Понятие «организации» вовсе не ново у Богданова. Еще в «Вере и науке», суммируя свое возражение Ленину, Богданов писал: «Даже из всего изложенного в предыдущих главах читатель мог ясно видеть, что материалистическому понятию «природы», как совокупности «вещей в себе», соответствует в общем та эмпириомонистическая концепция, которая обозначается словами: «непосредственные комплексы низших ступеней организованности». А понятие «физический опыт» выражает совершенно иное—не «природу в себе», а ее отражение в коллективно-организованном опыте, или, говоря иначе, «вещи», какими они являются для нас, т. е. в нашей трудовой и познавательной обработке»<sup>1)</sup>.

Итак, физический опыт несомненно субъективен, так как это ничто иное, как отражение в сознании коллективного субъекта «природы в себе», «природа же в себе» есть не что иное, как «непосредственные комплексы низших ступеней организованности». «В себе» эти «комплексы» не обладают формами ни времени, ни пространства. Формы их организации обусловлены тем, что социально значимо для мышления данной эпохи. Таким образом, сами по себе они совершенно пассивный материал опыта. Богданов называет их активностями-сопротивлениями. Однако им не присуще никакое внутреннее движение, они активны лишь постольку, поскольку извне надлены организацией. Сопротивление же является только другой стороной того же самого процесса. Это понимание опыта решительно несовместимо с материализмом, и Богданов обнаруживает

<sup>1)</sup> «Вера и наука», стр. 189.

лишь свое непонимание самых элементарных истин в материализме, когда утверждает, что ничто никому не мешает, признавая тектологические схемы, оставаться материалистом.

Стоит сравнить богдановскую трактовку «непосредственных комплексов» опыта с энгельсовским пониманием материи в его «Диалектике природы».

Материи внутренне присуще движение—вот исходный пункт. Именно в движении, а не в одной только стороне его—сопротивлений, проявляет себя тело и только через изучение движения тела мы можем познавать его. Сопротивление есть не нечто внешнее движению, а «отрицательная сторона» его, которая «противопоставляется переносу движения»<sup>1)</sup>. Метафизика в том и заключается, что она наука о вещах, в том числе и махистско-богдановская метафизика комплексов, а не о движениях<sup>2)</sup>. Поскольку мы отрываем материю от движения и от различных его форм, постольку «материя» как таковая—чистое создание мысли и абстракция. Подводя вещи, рассматриваемые нами как телесно существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех качественных различий в них. Поэтому материя, как таковая, в отличие от определенных существующих материй, не является чем-то чувственно существующим. Естествознание, стремящееся отыскать единую материю, как таковую, стремящееся свести качественные различия к чисто количественным различиям состава тождественных мельчайших частиц, поступает так, как оно поступало бы, если бы вместо вишен, груш, яблок оно искало плод, как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. искало млекопитающее, как таковое, газ, как таковой, металл, как таковой, камень, как таковой, химическое соединение, как таковое, движение, как таковое»<sup>3)</sup>. Это чисто-метафизическая точка зрения, так как здесь разорваны общее и единичное. Материя, как таковая, как общее, оторвана и противопоставлена определенным, чувственно-воспринимаемым, существующим материям. Понятно, что такая материя превращается в непостижимую «вещь в себе», в бесплотный призрак, неуловимый в опыте.

Это старая история—говорит Энгельс в другом месте.—«Сперва сочиняют абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают познавать их чувственно, желают видеть время и обонять пространство. Эмпирик до того втягивается в привычный ему эмпирический опыт, что воображает себя все еще в области чувств, опыта даже тогда, когда он имеет дело с

<sup>1)</sup> «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. II, стр. 27.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 4.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 147.

абстракциями. Мы знаем, что такое час, метр, но не знаем, что такое время и пространство! Точно время есть не что иное, чем сумма часов, а пространство не что иное, чем сумма кубических метров! Разумеется, обе формы существования материи этой материи представляют ничто, только пустое представление, абстракцию, существующую только в нашей голове. Но мы не способны познать, что такое материя и движение!—Разумеется, неспособны, ибо материю, как таковую, и движение как таковое, никто еще не видел и не испытал каким-нибудь иным образом; люди имеют дело только с различными реальными существующими материями и формами движения. Вещество, материя—ничто иное, как совокупность веществ, из которой абстрагировано это понятие; движение, как таковое, есть не что иное, как совокупность всех чувственно воспринимаемых форм движения; слова, вроде материя и движение, это—просто сокращения, в которых мы резюмируем, согласно их общим свойствам, различные чувственно воспринимаемые вещи. Поэтому материю и движение можно познать лишь путем изучения отдельных форм вещества и движения; поскольку мы познаем последние, постольку мы познаем и материю и движение, как таковые. Поэтому, когда Гегель говорит, что мы не знаем, что такое время, пространство, движение, причины и следствие, то он этим лишь утверждает, что мы при помощи своей головы сочиняем себе абстракции, отвлекая их от реального мира, а затем не в состоянии познать этих сочиненных нами абстракций, ибо они умственные, а не чувственные вещи, между тем как всякое познание есть чувственное измерение. Это—точь в точь как встречающаяся у Гегеля трудность, что мы в состоянии есть вишни, сливы, но не в состоянии есть плода, потому что никто еще не ел плода, как такового<sup>1)</sup>. В этом суть диалектической точки зрения на материю и движение. А если это так, то тогда материя и просто совокупность абстрактных «вещей в себе», понятий в кантовском смысле, как хочет понять материализм Богданов, и именно конкретно существующее многообразие ее форм движения. «Мы наблюдаем ряд форм движения: механическое движение, свет, теплоту, электричество, магнетизм, химическое сложение и разложение, изменения агрегатных состояний, органическую жизнь, которые все—если исключить пока органическую жизнь—переходят друг в друга, обуславливают взаимно друг друга, являются здесь причиной, там действием, при чем совокупная сумма движений при всех изменениях формы остается одной и той же (спинозовское: субстанция есть *causa sui*

<sup>1)</sup> Там же, стр. 151—152.

выражает прекрасно взаимодействие). Механическое движение превращается в теплоту, электричество, магнетизм, свет и т. д., и обратно. Так, в естествознании подтверждается то, что говорит Гегель, что взаимодействие является истинной *causa finalis* вещей. Мы не можем пойти дальше познания этого взаимодействия, ибо позади него нет ничего познаваемого. Раз мы познали формы движения материи (для чего, правда, нам не хватает еще очень многого, в виду кратковременности существования естествознания), то мы познали и самую материю, и этим исчерпывается познание<sup>1)</sup>. Такова диалектико-материалистическая точка зрения, проникающая собой все воззрения Маркса, Энгельса, Ленина и их последователей. Материя и движение едины. Именно в движении познается материя. Материя и движение не противоположны отдельным чувственно познаваемым нами вещам, а представляют собой их единство. Дальнейший анализ должен показать как само движение, смена форм материи, оказывается внутренне-противоречивым, как, таким образом, уже в самых простых своих формах материя оказывается единством противоположностей, прежде всего притяжения и отталкивания, а затем и все более и более сложных.

Для Богданова всего этого не существует. Для него нет понимания движения, как внутренне присущего материи атрибута, и материи, как независимо от нашего сознания закономерно развивающегося единства. Положение Энгельса о том, что единство мира в его материальности—для Богданова пустой звук. Он зачарован системами современной буржуазной философии, от Канта до Маха, и тщетно оперирует ее разорванными и абстрактными понятиями, без всякой надежды найти их синтез.

Единство мира для него создается организационным путем. Тем самым от века дан дуализм организующего мир опыта начала и хаоса мировых элементов. Элементы, качества, сами по себе не способны ни к какому изменению и переходу в другое. Они механически соединяются друг с другом. Если слово «соединение» Маха-Авенариуса и заменить в этом случае словом «организация» эмпириомонизма и тектологии, то ничего в существе дела от этого не изменится. Богданов видит сделанный им шаг вперед в том, что он внес в понятие организации мысль о сопротивлении организованного комплекса всякому разединению или изменению вообще, а затем идею исторического развития данной связи<sup>2)</sup>. Обе претензии, однако, не основательны. У самого Богданова в «Тектологии» исходным пунк-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 27.

<sup>2)</sup> «Вера и наука», 179.

том организации является соединение—кон'югация и все дальнейшее только развитием этой основной организационной формы. Любое соединение оказывает сопротивление своему изменению. Историзм же Богданова, как мы покажем ниже, оказывается именно отрицанием истории, так как данные элементы сами по себе не изменяются, от века уже даны в своем хаосе и лишь различно упорядочиваются в различные исторические эпохи.

Организованность целого достигается внешним координированием данных элементов, подчинением их внешней схеме. Этому господству организационной схемы в тектологии—диалектический материализм противопоставляет закон, как имманентное и об'ективное определение связи и перехода процессов и предметов.

Тем самым мы переходим к диалектической критике понятия организации с точки зрения движения, а вместе с тем к критике и всех основных построений тектологии.

*(Продолжение следует).*

## Суб'ективизм и марксизм.

*А. Столяров.*

### I. Современный ревизионизм и тов. Сарабьянов.

Марксист, если только он не «лежит» на точке зрения марксизма, не может в своей практике игнорировать теорию и уже именно поэтому не может, рассматривая теорию, пройти мимо ее связи с практикой.

«Практика» нашей революции, нашей современной действительности такова, что она по одной своей сложности, грандиозности, по своей нестроте, по стремительной смене разнообразнейших форм требует от пролетариата верной, пристальной, отчетливой теоретической мысли.

«Практика» нашей революции втягивает в общественную борьбу, воспитывает, просвещает, обучает все новые широчайшие слои масс. Но эта же практика поглощает громадное количество сил революционного класса, революционной партии, лишая их возможности углубляться в вопросы теории.

Быстрый рост движения в ширь при таком неблагоприятном для теории «балансе» в распределении внимания и сил на теорию и практику создает почву для всякого рода «упрощенчества», для вульгаризации марксизма.

С другой стороны, обстановка революционного времени обладает некоторыми такими «особенностями», которые способны, при наличии других «благоприятствующих условий», породить в общественном сознании отдельных людей воззрения, перекатывающие через точку зрения пролетариата, перекатывающие через марксизм.

Подобно тому, как в области политической мысли теории административно-военного «раскулачивания» («раскулачки») деревни для наших дней была бы не просто глупостью, но некоторым «преувеличением революционности» (отражающим в данном случае идеологию некоторых социальных слоев, главным образом, деревенской бедноты и связанных с нею остальных слоев рабочего класса),—подобно этому в области «последних обобщений», в области философской мысли могут быть «преувеличения революционности», выходящие за рамки марксизма.

Так революционное диалектическое отрицание может быть «преувеличено» до абсолютной отрицательности, до проповеди «абсолютной относительности» всяких истин (релятивизм), что имеет свой практический эквивалент в виде нигилизма, обывательско-анархического нигилизма, каким только и может быть в наше время нигилизм.

Революционная активность, идущая по линии об'ективно-необходимого исторического процесса, может в свою очередь так

же образом в теоретическом, философском мышлении перерастает в абсолютизирование субъективной активности, в ее «субстанциализацию», в фиктеанский «актуализм», т. е., в конечном итоге, в субъективный идеализм.

Резкое, смертельное столкновение в общественной борьбе двух сил, взаимно-исключающих друга друга в момент социальной революции, приводит (через некоторый сознаваемый или неосознаваемый «социоморфизм») к пониманию всякого, лежащего в основе развития, диалектического противоречия, как механического столкновения «противоположно направленных активностей» (Богданов), т. е. приводит к замене диалектического понимания механическим (механистическим тож), к замене диалектики формально-механическим пониманием действительности.

Крайности, как известно, сходятся. Такова диалектика жизни «Summa jus—summa injuria». «Преувеличенная революционность анархизма носит печать реакционности. Подобно этому «актуализированный», «релятивизированный» и пр. марксизм, конечно, не открывает неведомых новых горизонтов, а всего лишь падает к давно известным реакционным воззрениям субъективного идеализма в его разнообразнейших формах. Так получается «воскрешение из мертвых» (никогда, впрочем, еще не умиравшей окончательно) богдановщины, махизма и пр.

В наши дни обо всем этом приходится говорить уже не как о «возможном»,—а как о факте, который бьет в глаза и заставляет над собой задуматься. Мы имеем перед собой еще ряд философствующих естественников и довольно плодovitых «шнуротелей» (иногда работающих больше ножницами, чем пером), как т. т. Семковский, Луначарский и др., теоретическая «правильность» которых с точки зрения марксизма заставляет желать много лучшего.

Наконец, вот еще голос одного, не чуждого философским вопросам, автора, тов. Сарабьянова.

О чем говорит т. Сарабьянов?—Последнюю свою статью в журнале «Под Знаменем Марксизма» № 12 за истекший год он начинает прямо-таки с утверждения о существовании «двух лагерей» в современной философской марксистской мысли. Он говорит также о том, что «внутри каждого лагеря» достаточно есть расхождений. Этим последним он, конечно, только подчеркивает наличие не случайных и частных, а глубоких принципиальных расхождений по «лагерям», потому что частичные несогласия могут быть, действительно, внутри одного лагеря. Известно, например, что Ленин не раз ловил Плеханова на словах на тех или иных ошибочных формулировках в области философии, но это не помешало ему в 1921 году заявить, что то, что написано Плехановым по философии, есть «лучшее в марксовской литературе марксизма». И какой же здравомыслящий человек зачислит Ленина и Плеханова по разным философским лагерям?<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Впрочем, если тов. Сарабьянов будет рассуждать на основании своего субъективизма («смотря по тому», как «для нас» «практически» удобнее), он может из всего сделать все. Тут уж полнейшая свобода проявления «активности». Но о субъективизме тов. Сарабьянова речь дальше.

Мне кажется, с этим констатированием наличия разных лагерей приходится согласиться. Может быть, их не два, потому что пестры группы товарищей, «уклоняющихся» от диалектического материализма; но, во всяком случае, существует лагерь марксизма, диалектического материализма и существуют группы товарищей, делающих для себя из основных положений марксизма «спорные проблемы». В целом эти группы можно, конечно, назвать «лагерем» проблематичных марксистов.

В этот лагерь переходит тов. Сарабьянов.

Но в этом «лагере» тов. Сарабьянова приходится отметить особо. Потому «особо», что т. Сарабьянов сам отгораживался, находит необходимым отгораживаться, и от тех, кто предлагал вообще выбросить философию «за борт», и от тех, кто открыто объявлял себя механистом. Тов. Сарабьянов не находил возможным примкнуть к хору шуточек насчет «гегельянства».

Верно то, что т. Сарабьянов ошибался, спотыкался на каждом шагу. Но еще в своей прошлой статье о нем («Под Знаменем Марксизма» № 10—11) мы могли сказать, что, хотя в уклонениях т. Сарабьянова есть определенные тенденции, больше всего у него все же просто путаницы. Ошибки системы выравнивались в некую систему ошибок, но казалось, что системы этой еще нет, что дело можно поправить, если т. Сарабьянов подумает, поймет и исправит ошибки. Что же сделал тов. Сарабьянов?—Вынужденный высказаться более определенно, он развернул в своей последней статье действительно почти законченную систему релятивизма, субъективизма, «актуализма»,—в общем, всего того, что суммируется в философии субъективного идеализма.

Вот это-то свое отступление от марксизма тов. Сарабьянов считает разработкой проблем материалистической диалектики.

«Продвигаться вперед нужно»,—пишет тов. Сарабьянов. Совершенно верно, надо продвигаться вперед. Совершенно верно, проблемы философии, проблемы методологии марксизма требуют своей дальнейшей и дальнейшей разработки. Но мы совершенно не согласны с утверждением тов. Сарабьянова, будто «за последние годы» не появлялось в печати статей, «где ставились бы новые проблемы, или по-новому старые, поскольку речь идет о диалектическом методе». Проглядели вы, тов. Сарабьянов, или не поняли? Не поняли, потому что под «продвижением вперед» вы понимаете такое «изобретательство», которое не продвигает линии марксизма, а отступает от нее. «Продвижение вперед»—это для вас значит по существу: критика, пересмотр Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина<sup>1)</sup>.

«Убивать попытку продвижения вперед во имя учителей,—этого допустить нельзя».—Вот до чего договорился тов. Сарабьянов! Что за стиль, тов. Сарабьянов, что за манера говорить. Не о внешней манере, конечно, мы говорим, а о том, каким душком пахнет эта фраза.

<sup>1)</sup> «Мы отлично понимаем, что критика таких учителей марксизма, как Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, легко приводит в лагерь врагов марксизма. Но... это надо только сохранять в критике осторожность».—Так пишет тов. Сарабьянов.

Надо «во имя учителей» уметь не прекращать двигаться вперед! А вот если вы можете двигаться «вперед» лишь вопреки «учителям», то это совсем особая песня.

Двигайтесь вперед, тов. Сарабянов; но двигайтесь по линии марксизма и помните, что первое условие, необходимое для успешности такого продвижения, — это правильная, марксистски выдержанная исходная позиция.

Мы в своей прошлой статье о «неудачах популяризаторов» как раз и указывали на ошибочность исходных позиций тов. Сарабянова.

Столяров, мол, склонен пока «ограничиться «аквизитом Гегеля, Маркса, Энгельса и других наших учителей», — пишет тов. Сарабянов.

Мы, действительно, в нашей статье не думали на манер неевского юноши у морского берега ставить «недоуменные вопросы». Наша задача была и остается очень скромной: показать, что тов. Сарабянов, задрапированный в тогу наставника, учителя и «изобретателя» по части философии марксизма, пренебрегает под названием диалектического материализма нечто другое, не совместимое со строгим по своей выдержанной последовательности мировоззрением Маркса, Энгельса, Ленина.

Ставить здесь, к примеру, по существу и во весь рост проблему релятивизма и субъективизма мы вовсе не собираемся. Но, что сарабяновский субъективизм противоречит мировоззрению Маркса-Ленина, это мы доказываем. И пусть тов. Сарабянов не жалуется, что «во имя учителей» ему мешают искажать марксизм. За каждую «большевистскую запятую» мы будем драться; а за такую «запятую», как основы ленинской методологии, ленинского мировоззрения, мы будем драться в стою и беспощадно. Пусть не пеняет тов. Сарабянов.

Как же ответил тов. Сарабянов на обвинения в отходе от Маркса-Ленина?

Он, во-первых, заявил, что «не полемизирует». Это дало ему возможность просто уклониться от ответа по некоторым коренным вопросам диалектики. Так, он совершенно обошел вопросы о следующих моментах диалектики, в непонимании которых его упрекали: единство противоположностей, значение «переходов» в диалектике, «отрицание отрицания», «триада», отношение количества и качества, переход одного в другое, «скачок».

Интересно далее, что во всех тех случаях, когда мы указываем на прямое различие у Ленина и Сарабянова в понимании отдельных существенных вопросов методологии, цитируя и сопоставляя Ленина и Сарабянова, — во всех этих случаях тов. Сарабянов или отмалчивается, не пытаясь опровергнуть разхождение, или же прямо настаивает на своей правоте против Ленина.

Но дело теперь уже не в отдельных вопросах, а во всей системе философских воззрений тов. Сарабянова, несовместимой с диалектическим материализмом Ленина. Перейдем к рассмотрению отдельных частей этой, все еще не законченной системы.



## II. Субъективизм и материализм.

В прошлой статье о философских «неудачах» тов. Сарабянова мы брали вопросы в одном определенном разрезе: в смысле неверного понимания тов. Сарабяновым основ диалектики. Так, в частности, вопрос о «качестве» брался нами в связи: 1) с преувеличенным, односторонним пониманием у тов. Сарабянова момента относительности в диалектике, 2) в связи с его механическим пониманием противоречия, как столкновения двух противоположно направленных сил, и 3) в связи с фактическим сведением на этой почве качества к количеству.

В ответ на это тов. Сарабянов рассматривает вопрос о «качестве» совершенно изолированно от вопроса об отношении качества и количества, о «переходе» одного в другое, о механическом равновесии и пр.

И, действительно, постановка вопроса о понимании «качества» тов. Сарабяновым была бы теперь уже недостаточной, если бы мы ее взяли только под углом зрения противопоставления диалектического и формально-механистического понимания. Проблеме приходится теперь брать прежде всего в свете противоположности материалистического и субъективистского, т. е. идеалистического, понимания. Ибо «механизм» уже совершенно явно ступает тов. Сарабянова к стыдливому, завуалированному, но совершенно реальному идеализму.

«Без диалектики неполна, односторонняя, скажем более: невозможна материалистическая теория познания», — пишет Плеханов.

«Диалектика совместима лишь с материализмом», — пишет тов. Деборин<sup>1)</sup>.

Диалектика несовместима со спекуляцией. Через объективизм она ведет к материализму. Гегель не перешел этой грани, но его диалектика требует объективного метода. «В философии, — пишет Гегель, — доказать значит показать, как предмет из себя и через самого себя становится тем, чем он есть» («Энциклоп.», § 83). Совершенно в этом же духе говорит Маркс: «Свободное движение в материале есть не что иное, как парафраза... диалектического метода».

Последовательно-диалектическая точка зрения необходимо приводит к материализму, Гегель приводит к Фейербаху и Марксу<sup>2)</sup>. Последовательный материализм не мыслим без диалектики.

Наоборот, не-диалектическое, механическое понимание действительности вполне «закономерно» ведет через сведение качества к количеству, через признание количества объективной сущностью вещей, через признание качества субъективной категорией, через все эти промежуточные звенья ведет к феноменализму, к субъективизму, к субъективному идеализму того или иного толка.

Этот путь в обетованную страну идеализма и проделывает т. Сарабянов, с помощью своего «активного релятивизма» (подлинное тов. Сарабянова выражение). Сорокалетние блуждания (или шатания) по проклятым «спорным проблемам» еще не кон-

<sup>1)</sup> «Воинств. Материал.», кн. V, стр. 11.

<sup>2)</sup> Ленин говорит о системе Гегеля, которая «привела к материализму Фейербаха» (Собр. сочин., т. XII, ч. 2, стр. 55).

чен, но райские сады уже близко, их ароматом дышит последняя сарабьяновская статья.

Уже в прошлой статье мы указывали на субъективизм тов. Сарабьянова, граничащий с феноменализмом и переходящий в феноменализм. Что же, опровергает ли тов. Сарабьянов это «обвинение» в субъективизме? Нет, несколько. Наоборот, он настаивает на правомерности этого субъективизма. Он пишет: «мой» субъективизм, ставя при этом в кавычки только одно единственное слово «мой». Мы согласны, конечно, что субъективизм не является ни особенностью одного тов. Сарабьянова, ни его «изобретением». Богданов, Мах, Беркли, Фихте и множество других развивали точку зрения субъективизма до Сарабьянова. Тот же, что философия тов. Сарабьянова есть субъективизм, сам он не отрицает. Тем лучше, ибо яснее.

«Думаю, что и «мой» субъективизм не так уж легко опровергнуть», — пишет тов. Сарабьянов.

Тов. Сарабьянов «срывает с действительности» «внесубъективное, надсубъективное покрывало». «Революционный класс», — пишет он, — не любит иллюзий, он срывает с действительности наклеиваемое на нее эксплуатирующими классами «внеклассовое», «внесубъективное», «надсубъективное» покрывало. И далее: «Есть ли классификация Линнея надсубъективная, в определенную эпоху обязательная для всех классов? Да, она может быть обязательной и для пролетариата и для буржуазии, но это не значит, что она надсубъективна» (подчеркнуто нами А. С.)<sup>1)</sup>.

Можно ли делить животных на коров, лошадей и пр., считая, что это есть объективное, независимое от субъекта, действительности существующее деление? Нет, по мнению тов. Сарабьянова, нельзя. «Без субъективизма никакого деление на классы, роды, виды просто невозможно, так как признаков бесконечное множество, а важного и неважного объективно в природе не существует»<sup>2)</sup>.

Что означают все эти философские рассуждения тов. Сарабьянова?

Они означают, несомненно, следующее: если взять действительность независимо от всякого сознания, то там не существует различий коров и лошадей, млекопитающих и птиц и т. д. Вообще не существует «никакое деление на классы, роды, виды».

«Каждый субъект классифицирует один и тот же мир объективных явлений по-разному в зависимости от того, чему должна служить эта классификация, каких целей она должна помочь достигнуть» (подчеркнуто тов. Сарабьяновым)<sup>3)</sup>.

Но это по существу означает, что качества — субъективны. Это значит также, что все «определения» мира, вся определенность его многообразия, весь порядок его расчленения — все это вносится в мир субъектом. Это значит, что «мир объективных явлений» есть субъективный мир, есть продукт сознания.

<sup>1)</sup> «Под Знам. Марксизма» 1925, № 12, стр. 186 и 188.

<sup>2)</sup> Вл. Сарабьянов, Беседы о марксизме, изд. «Безбожник», 1925, стр. 37.

<sup>3)</sup> «Под Знам. Марксизма» 1925, № 12, стр. 188.

А это и есть подлинный идеализм. Или вы еще не согласны, тов. Сарабьянов?

Вы, конечно, скажете, что вы не идеалист, так как признаете существование мира вне и независимо от человеческого сознания. Действительно, т. Сарабьянов несколько раз декларирует существование такого трансцендентного бытия. Но, если качество субъективно, если всякая определенность, «модальность» мира «условна», есть результат «обусловления» (ваше выражение) человеческим сознанием, тогда чем отличается этот ваш «мир в себе» от кантовской «вещи в себе»? Вам ведь известно, вероятно, что по Канту эта его мифическая «вещь в себе» вызывает в нас ощущения, «аффицирует нашу чувственность», по его выражению. Тем не менее она у Канта остается мифической, непознаваемой, а в «мир объективных явлений» порядок, качественную и всякую определенность вносит «трансцендентальная апперцепция» своими «категориями». Признание некоего «трансцендуса» в виде аффицирующей чувственности вещи в себе не мешает тому, что «объективный мир», «материальный мир» Канта — это продукт сознания.

Нечто подобное имеется и в «системе» тов. Сарабьянова.

Правда, тов. Сарабьянов говорит иногда о том, что качество есть не просто субъективная, а «объективно-субъективная категория». Но 1) последовательности у т. Сарабьянова вообще не слишком много. Этот недостаток последовательности мешает ему теперь целиком примкнуть к Богданову. 2) Нам важно не субъективное представление т. Сарабьянова о его философии, а объективный смысл его толкования категорий. Не его номенклатура важна, а содержание его определений.

На деле т. Сарабьянов отрицает «качество», как объективную категорию, на каждом шагу.

Всякому, даже не обучавшемуся на рабфаке, ясно, напр., что его рассуждения об «условности» таких «качеств», как труп, живое и мертвое и пр., — что эти рассуждения есть богдановщина чистейшей воды.

Извольте ли видеть: «В практике своей человечество условилось понимать под живым человеком существо с такими-то процессами, а под трупом — с такими... Человечество условилось считать трупом человека с остановившимся сердцем и не работающими определенным образом легкими»<sup>1)</sup>.

Неужели же нужно спорить с тов. Сарабьяновым по существу и доказывать, что различие между трупом и живым человеком никак не есть «условная, относительная истина», что «верность этой истины основывается не на общезначимости ее? Но это обозначало бы необходимость спорить по всему фронту против богдановщины, против субъективного идеализма вообще. Это, во всяком случае, не был бы спор в пределах материалистического лагеря.

Или надо еще доказывать тов. Сарабьянову, что это рассуждение не есть богдановщина? Но в этом случае тов. Сарабьянов совершенно сознательно выступает в защиту Богданова против совершенно определенно высказанных Энгельсом и Лениным положений.

<sup>1)</sup> «Под Знам. Марксизма» 1925, № 12, стр. 192.

В прошлой статье мы цитировали слова Ленина, направленные против Богданова. «С точки зрения голого релятивизма можно признать «условным», умер ли Наполеон 5 мая 1821 года или не умер», — писал Ленин.

Там же мы заметили, что «нападение» Сарабьянова по этому вопросу на Богданова есть лишь видимость нападения, в деле же они едино суть. Теперь эта видимость нападения сменяется откровенной защитой Богданова, что означает, что мы попали первый раз «в точку».

Теперь тов. Сарабьянов пишет (скромно умалчивая о Ленине и упоминая лишь Энгельса):

«Абсолютность относительна. Наполеон умер такого-то числа, — говорит Энгельс. — Но действительно ли он умер в этот именно день? — спрашивает Богданов. Так ли уж наивен этот вопрос? Сама смерть есть условное понятие. Тов. Столяров боится условности, он склонен увидеть здесь идеализм. Но, ведь, смерть действительно условное понятие»<sup>1)</sup>.

«Условна», т. Сарабьянов, т.-е. трудно уловима, подвизая грань между жизнью и смертью, но безусловно их различие.

Увы! Столяров уверен, что он безусловно умрет. А тов. Сарабьянов не уверен в этом? Это утешительно!

Тов. Сарабьянов якобы «не полемизирует» со Столяровым. Везде вы явно полемизируете с Лениным, — не отпирайтесь, тов. Сарабьянов.

От трагически-неприятного примера с трупами перейдем к другому примеру т. Сарабьянова насчет «условления» или «обусловления» объективных качеств. Теперь речь идет о пушке и подбородке и о бороде. Тов. Сарабьянов любит контрасты.

В статье «О некоторых спорных проблемах» читаем:

«Процесс условления протекает за спиной людей, он есть стихийный, слепой процесс. Только поэтому Плеханов, как и вы, с вами, и не может найти грань между пушкой и бородой, где человечество не условилось, что понимать под тем и другим? Он не знает, от каких свойств волос на подбородке можно абстрагироваться и какие необходимо учесть»<sup>2)</sup>.

Что же выходит? По Плеханову граница между «пушкой» и бородой ступенчато вытекает в процессе постепенного, непрерывного перехода, но само различие «пушки» и бороды есть факт объективного, независимо от сознания существующего мира. В объективном мире происходит переход от одного качества (пушок) к другому (борода).

По Сарабьянову же этот переход, эта граница, это различие существует лишь «постольку, поскольку» оно существует в понятии, и ни перехода, ни бороды нет, если «человечество» условилось, что понимать под тем и другим».

Всякое «качество» (корова, лошадь, капитализм, H<sub>2</sub>O, Сарабьянов и пр.) есть нечто равное самому себе, некая устойчивость, «покой».

«A=A, т.-е. A и есть A, A как A не изменилось, A остается в состоянии покоя» (Сарабьянов).

<sup>1)</sup> «Под Знамен. Марксизма» 1925, № 2, стр. 191—192.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 192.

«Наде ли говорить, — продолжает т. Сарабьянов по этому поводу, — что этот «покой» относителен и требует заковычивания».

Отсюда тов. Сарабьянов делает тот вывод, что этот «относительный покой» есть условный покой (далее идут рассуждения т. Сарабьянова об «условности» смерти и пр.), покой, созданный процессом «обусловления».

Устойчивость, «покой» оказывается продуктом человеческого сознания, фактом суб'ективного порядка. Т.-е. само «качество», вещь, вся определенность мира оказывается суб'ективной, т.-е. не существующей помимо сознания.

И, конечно, этот «пассаж» логически совершенно закономерен, раз т. Сарабьянов встал на точку зрения релятивизма, раз он настаивает на том, что абсолютность относительна, а относительность абсолютна.

«Наша относительность абсолютна, — пишет т. Сарабьянов, — ибо все течет и изменяется, нет точки покоя иной, как обусловленной нами (курсив наш. А. С.), и нас, конечно, релятивизмом не запугаешь»<sup>1)</sup>.

«Здорово» сказано!

Тов. Сарабьянов не понял, — как мы разъяснили это уже прошлый раз, — что с точки зрения диалектики мир не является ни абсолютно устойчивым, неизменным, ни абсолютно изменчивым. Поток изменчивости мира подучает определенность бытия, увязываясь в качественные «узлы».

У тов. Сарабьянова вопреки этому всякая определенность, всякая определенность бытия, а вместе с тем и всякое определенное бытие тонет в безбрежном релятивизме.

В суждениях наших софистов «элемент наличного бытия», — как выражается Плеханов, — отменяется элементом «таковости». Это действительно «злоупотребление методом»<sup>2)</sup>. Эти слова, написанные некогда прогив Богданова, целиком могут быть отнесены в настоящее время на счет Сарабьянова.

На правомерности своего релятивизма тов. Сарабьянов настаивает. Он не думает отречься от релятивизма в своем ответе на мою статью.

«Положить релятивизм в основу теории познания значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на суб'ективизм». — Так писал В. И. Ленин (Сочин., т. X, стр. 109).

Так оно и случилось с тов. Сарабьяновым. Он пишет, что релятивизмом его не запугаешь. Мы не думаем «запугивать» его даже и суб'ективизмом, который он отстаивает всеми.. неправдами. Вольному воля. Можете оставаться суб'ективистом, тов. Сарабьянов, это ваше личное дело; но если вы думаете, что при этом останетесь на позиции Маркса-Ленина, то жесточайше ошибаетесь. Суб'ективизм с марксизмом-ленинизмом не совместим, потому что он противоречит материализму. И ваш, тов. Сарабьянов, суб'ективизм, т.-е. та разновидность суб'ективизма, которую вы проповедуете, — это родной брат богдановщины, т.-е. чуждого, стремящегося подделаться под марксизм, идеализма.

<sup>1)</sup> «Под Знамен. Марксизма» № 12, стр. 190.

<sup>2)</sup> А. Деборин, Введение в философию диалектического материализма, изд. 1922 г., стр. 276.

### III. Отрицание объективной истины.

«Относительность абсолютна»,— снова повторяет и подчеркивает тов. Сарабьянов в ответ на попытки заставить его исправить свои ошибки в вопросе о релятивизме.

Наше утверждение, что такой релятивизм не совместим с марксизмом, несовместим с диалектикой, как ее понимает Ленин,— это утверждение т. Сарабьянов опровергнуть не пытался, защищая своей релятивизм по существу. О релятивизме и диалектике мы еще будем говорить в дальнейшем, теперь же пока пусть т. Сарабьянов подумает над совместимостью его положения со следующими хотя бы словами Ленина:

«Для объективной диалектики и в релятивизме есть абсолютное. Для субъективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное»<sup>1)</sup>.

Это утверждение Ленина тов. Сарабьянов предпочел обойти молчанием, несмотря на сделанный однажды вызов. Выступить открыто против Ленина не по второстепенным, а по важнейшим, коренным вопросам материалистической диалектики тов. Сарабьянов еще не решается. Но тогда вообще не надо публично выступать со своим «активным релятивизмом», тов. Сарабьянов.

Ленин говорит, что релятивизм приводит к субъективизму (см. цитату выше).

Тов. Сарабьянов процентов этак на 96 уже сидит в болоте субъективизма. Остальные 4% приходится на оговорочки. При этом можно сказать, не по дням, а по часам «оговорочки» дощипают все больше и больше, основная же линия субъективизма выступает все более отчетливо. Еще башмаков не успел изнашивать тов. Сарабьянов с тех пор, как в своей книжке: «Основное в едином научном мировоззрении—методе», сам уже катаясь в сторону субъективизма, все же еще находил нужным отгораживаться от субъективизма других. В частности, тов. Сарабьянов тогда писал:

«Некоторая часть марксистов, как, например, тов. Аксельрод, считают, что качество—субъективная категория. Они, конечно, не правы, считая, что мир можно свести только к личности»<sup>2)</sup>.

Теперь, через несколько месяцев, тов. Сарабьянов, сделав значительные успехи по части «самоопределения», пишет:

«Должен подчеркнуть, что мое определение качества, как объективно-субъективной категории, несравнимо ближе к «субъективизму» т. Аксельрод, нежели к «сочетательному объективизму» тов. Деборина, и не так уж этот субъективизм в категории качества беспочвенен, чтобы его можно было опровергнуть «коровами» и «лошадьми» (курсив наш. А. С.)<sup>3)</sup>.

Другие времена, другие песни... Впрочем, песни-то те же, но «дикция» у т. Сарабьянова стала отчетливой; яснее слышно, из какой оперы его напевы.

<sup>1)</sup> Ленин, К вопросу о диалектике, «Большевик», 1925, № 5—6, стр. 102.

<sup>2)</sup> Сарабьянов, Основное в едином, стр. 105.

<sup>3)</sup> «Под Знам. Марксизма» 1925, № 12, стр. 189—190.

Последовательно проведенный субъективизм означает: 1) отрицание объективной истины, 2) отрицание самого субъективного мира, лежащего за гранью человеческого сознания. Одно, конечно, связано с другим; то и другое—лишь два момента одного и того же.

Остановимся несколько подробнее на первом, а затем и на втором моменте.

У Авенариуса и Маха,—пишет тов. Ленин,—«философский субъективизм, неизбежно приводящий к отрицанию объективной истины» (Соч., том X, стр. 100).

Ленин борется с субъективизмом Богданова и всех эмпириокритиков, указывая на неизбежное связанное с субъективизмом отрицание объективной истины.

«Отрицание объективной истины Богдановым есть агностицизм и субъективизм»<sup>1)</sup>. «С точки зрения современного материализма, т.е. марксизма, исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной, абсолютной истине, но безусловно существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней».—Так пишет Ленин<sup>2)</sup>.

Теперь посмотрите, что пишет по вопросу об объективной истине тов. Сарабьянов:

«Прежде всего оговорю, что никакой объективной истины вообще не существует» (курсив наш. А. С.).  
Дальше:

«Противопоставление объективной и субъективной истины законно лишь в устах субъективных идеалистов непосредственного толка, отрицающих объект, но признающих принципиально схожих наблюдателей (Петцольд, Богданов и др.)»<sup>3)</sup>.

Неудно сказано! Энгельс, Плеханов, Ленин и другие марксисты на протяжении десятилетий «ломают копыта» в защиту существования объективной истины и вдруг... появляется т. Сарабьянов и единым росчерком пера объявляет весь спор пустым, нелепым, невозможным, ибо «противопоставление объективной и субъективной истины законно лишь в устах субъективных идеалистов»!

«Быть материалистом,—пишет Ленин,—значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную, независимую от человека и от человеческого сознания истину значит так или иначе признавать абсолютную истину» (Сочин., т. X, стр. 106).

И далее: «Исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина... Вы скажете (продолжает Ленин, обращаясь к махистам): это различие относительной и абсолютной истины неопределенно. Я отвечаю вам: оно как раз настолько «неопределенно», чтобы помешать превращению науки в догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, закоряченное, но оно в то же время как раз настолько «определенно», чтобы отмежевываться решительным и бесповоротным образом от фи-

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. X, стр. 98.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 109.

<sup>3)</sup> «Под Знам. Марксизма» 1925, № 12, стр. 190—191.



деизма и от агностицизма, от философского идеализма и от софистических последователей Юма и Канта. Тут есть грань, которой вы не заметили, и, заметив ее, скатились в болото реакционной философии. Это—грань между диалектическим материализмом и релятивизмом» (Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 109).

Эти слова Ленина бьют прямо против Сараянова. Именно тов. Сараянов «не заметил грани» между материализмом и релятивизмом; именно он стирает грань между объективной и субъективной истиной.

Почему же тов. Сараянов, вопреки Ленину, вопреки всему марксизму, считает невозможным противопоставление объективной и субъективной истины? Да потому, что у него все содержание сознания тонет в его абсолютном релятивизме (относительность абсолютна), потому, что качество субъективно, потому, что все содержание сознания субъективно. Существует только субъективная истина. «Не так-то легко опровергнуть «мой субъективизм»,—пишет тов. Сараянов.

Никакой объективной истины нет, потому целое противопоставление объективной истины и субъективной. Такова точка зрения т. Сараянова.

Тов. Сараянов стремится далее устранить противопоставление объективной и субъективной истин тем, что он тут же путает и утверждает, что под «термином» (заметим: всего лишь «термин»—вот к чему сводится дело!) «объективная истина» (тов. Сараянов ставит объективную истину в кавычки) марксисты понимают «самое бытие». «Когда Энгельс или Ленин употребляют термин «объективная истина», то под ним они понимают не «отражение», не «ощущение», не мысль, не то, что принято понимать под истиной, а самое бытие (Курсив наш. А. С.). Яблоко, объективно существующее, есть объективная истина». Так думает тов. Сараянов. Он здесь уничтожает объективную истину тем, что устраняет из ее определения вопрос об отношении мышления и бытия. Между тем, вопрос о существовании объективной истины есть вопрос гносеологический, теоретико-познавательный, вопрос о содержании нашего познания в его отношении к миру «вещей в себе».

И, конечно, Сараянов все ссылается здесь на Ленина. Вот как определяет Ленин вопрос об объективной истине:

«...Существует ли объективная истина, т.е. может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества?»<sup>1)</sup>

Так вот, тов. Сараянов, вы-то как раз и отрицаете существование такого «независимого от человечества» содержания в наших представлениях. Ибо, как вы изволите выражаться, «решение вопроса о качестве вне «антропоцентрической» постановки его невозможно»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. соч., т. X, стр. 97. Подчеркнуто нами.

<sup>2)</sup> Сараянов, Основное в едином и пр., стр. 103.

Ваше «качество», т.е., в конце концов, вся определенность бытия мира и все бытие в его определенности, создается человечесеством в процессе «условления» или «обусловления».

Что это за процесс «условления»? Что это за «обусловление», в процессе которого возникает разделение на «классы, роды и виды», на мертвых и живых людей, на бороды и голые подбородки, на коров и лошадей, на различные «качества»?

Эта «обусловленная истина» тов. Сараянова есть не что иное, как «общезначимая истина» Богданова. Не что иное, тов. Сараянов, как бы вы не открещивались от родства с вашим новым учителем.

Вы говорите, что «процесс условия протекает за спиной людей, он есть стихийный, слепой процесс». Вы думаете, т. Сараянов, что это сколько-нибудь меняет дело. А у Богданова как? Неужели вы думаете, тов. Сараянов, что по Богданову «собрались на опушке леса особи человечества и начали речь держать» о том, что считать «общезначимой истиной», что нет?

Нет, тут не имеется никакого сколько-нибудь значительного отличия «концепции» тов. Сараянова от богдановского учения об общезначимых истинах, как объективных.

Сараяновский субъективизм заключается в том, что нельзя говорить об объективном, независимо от человеческих представлений, различии между живым человеком и его трупом. Это различие «условно», оно есть результат практических потребностей человека, не существует вне человеческого сознания, оно существует только в качестве «субъективной истины».

Если бы различия в наших представлениях отражали и вызывались различиями в объективном мире, тогда не надо было бы говорить об «условности» и пр. Тогда это значило бы признать объективную истину существующей.

Но по Сараянову этого нет.

Тов. Сараянов думает наименее образным переводить вопрос на такие рельсы: плоха или хороша данная лошадь? Она, мол, может быть хороша для скачек, но не годится для перевозки тяжелых грузов. Разве это не «условность», разве это не условное определение качества?

Или вот тов. Сараянов пишет:

«Нет худа без добра. Что «добро» и «худо» есть качества, это, надеюсь, бесспорно. Но имманентно ли «худо» данной вещи? Имманентно ли ей «добро»?

Такими «сногшибательными» вопросами тов. Сараянов может запутать разве только самых наименее искушенных людей в мире, да еще, пожалуй, самого себя.

Что худо и добро не имманентны данной вещи, в том смысле, что оно не существует без отношения к человеку, ибо этими понятиями как раз и выражено отношение к субъекту, т.е. момент «субъективности» и «относительности» здесь неприменимы—это ясно. Старик Спиноза еще в XVII столетии говорил, что понятие добра и зла и т. п. «не показывает ничего положительного в вещах, если их рассматривать самих по себе». «Одна и та же вещь,—писал Спиноза,—может быть в одно и то же время и хорошей и дурной, равно как и безразличной» («Этика», стр. 244).

Но вот как раз то обстоятельство, что вещь, оставаясь самой собой, может вступать в различные отношения, и доказывает против Сараянова, что качество нельзя отождествлять с отношением. Товарищ же Сараянов берет отношение («хорошая лошадь», «добро и худо») и доказывает, что вот, мол, это есть «отношение», а посему качество есть отношение.

Качество включает в себя отношение, но не сводится к нему.

«Вещь в себе,—пишет Ленин,—отличается от вещи для нас, ибо последняя—только часть или одна сторона первой» (Сочин., т. X, стр. 94).

«Вещь для нас»—это вещь, выступающая в отношении к нам, обнаруживающая для нас свои свойства, т.-е., по Гегелю, такие «определения» вещей, через которые «они своеобразно сохраняют себя в отношении к другому».

Тов. Сараянов сводит качество к таким «субъективным определениям», как «хорошо», «плохо», «желательно» и пр. Он не замечает, что даже в этих «субъективных отношениях» присутствует момент объективности, ибо субъективное отношение имеет в своей основе, как свое необходимое условие, объективное качество вещей. Отождествляя качество и отношение, тов. Сараянов закрыл себе дорогу к пониманию объективного смысла и качеств, и отношений, к пониманию объективной истины.

Именно благодаря тому, что в наших представлениях отражаются не «условные», но человечеством обусловленные качества и отношения, а существующие вне и независимо от сознания, именно поэтому возможна объективная истина. Но именно поэтому же возможна и «субъективная» практика.

Наши представления дают человеку «биологически целесообразную ориентировку» потому именно, что они не «субъективны», а объективны, не нами «уравливаются», а отражают качественное разнообразие и качественную определенность нас окружающего мира.

Тов. Сараянов на каждой странице клянется «практикой». Никакая «практика» была бы невозможна, если бы содержание наших представлений было субъективным, а истина была бы «условной».

До каких геркулесовых столбов доводит т. Сараянов практически свой релятивизм, достаточно явствует из следующих хотя бы его рассуждений:

«Но не встаем ли мы на путь эклектизма, провозглашая правомерность постановки вопросов с точки зрения и этого класса, и другого, и пролетариата, и буржуазии?»

«Нет, несколько. Представим себе, что буржуазия, научно изучая законы общественного развития, познавая объективную необходимость, выступает в согласии с этой необходимостью против рабочего класса. Пролетариат выступает против буржуазии. И тот, и другой действуют верным, научным методом. И буржуазия права, и пролетариат прав...»

«Совершенно объективист пожат плечами: чего борются? Ведь оба правы. Но мы—активисты. Мы скажем: именно потому, что буржуазия действует научными методами, что ее цели не

утопичны, а научно обоснованы, мы должны еще решительнее бороться с буржуазией. Мир знает не одну правду, а множество их (курсив наш. А. С.). Монархия разумна, но и борьба с ней тоже разумна,—говорил Герцен.—Не угодно ли выбирать?»<sup>1)</sup>

Неправда, тов. Сараянов! Не может быть одновременно в объективно-историческом смысле «разумна» и монархия, и борьба с ней. Борьба с монархией становится «разумной» как раз в тот момент, когда сама монархия становится «неразумной».

Неправда, что есть две правды—буржуазная и пролетарская, между которыми можно выбирать по совершенно субъективному произволу. Есть классовая точка зрения, которая выражает объективную необходимость исторического развития, и точка зрения других классов, которая по линии этой объективно-исторической необходимости не идет.

То, что проповедуете вы, тов. Сараянов,—это софистическая, субъективная «диалектика», которая прекрасно выражается в формуле т. н. «готтентотской морали»: хорошо, если я у тебя украй жену; плохо, если ты украй у меня. Это не есть точка зрения материалистической диалектики. Вы же именно так («по-готтентотски») понимаете диалектику.

Материалистическая диалектика требует объективной истины и объективных критериев. Подлинная диалектика требует, чтобы, мысля, я «отрешился от моих субъективных особенностей, погрузился в предмет» (Гегель, «Энциклопедия», § 24).

У тов. Сараянова нет диалектики, нет «самодвижения» этого «предмета». Диалектика переносится в субъект и становится «субъективной диалектикой», т.-е. тем, что иначе зовется софистикой.

Исторический материализм знает основной объективный критерий объективно-исторического значения каждой данной классовой позиции: та позиция представляет собой выражение исторической «правды», которая способствует росту и развитию производительных сил человечества.

Подобно этому Энгельс в вопросе о морали не останавливается на том, что каждая система морали в классовом обществе есть классовая система и каждая права для себя. Нет, Энгельс, настаивая на классовом характере марксистских воззрений, считает нужным прибавить: «та мораль обладает наибольшим количеством элементов, обещающих ей продолжительную устойчивость, которая в данную минуту выражает точку зрения будущего, т.-е. в данный момент—мораль пролетарская»<sup>2)</sup>.

Таким образом, можно не только указать на классовый характер различных моральных систем, но дать им некоторую объективно-историческую оценку.

«Активность», борьба—и basta. На такую субъективистскую, «народническую» точку зрения становится т. Сараянов. Все специфическое отличие научного социализма, именно как научного, т.-е. выражающего объективный смысл исторического развития, все это отличие научного социализма от всяких форм не-научного социализма стирается, исчезает.

<sup>1)</sup> «Под Знамя Маркс.» 1925, № 12, стр. 188—189.

<sup>2)</sup> «Анти-Дюринг», 1918, стр. 83.

В «Правде» от 21 января тек. года была помещена статья некоего крестьянина: «Мысли крестьянина из захолустья». Там автор между прочим писал: «Я думаю и ощущаю, что по Ленину выходит так: хотя и больно большая охота скакнуть в царство коммунизма, но возможности эти вытекают не из нашей охоты, а из живой действительности, отнюдь не выдуманной» (С. Захаров).

Я утверждаю, что этот «крестьянин из захолустья» лучше понял марксизм, чем т. Сарабянов, автор книжек по историческому материализму.

Буржуазия в наше время отрицает возможность объективной истины, объективной закономерности и пр., потому что эта объективная истина в наше время не на ее стороне. Реакционный класс фальсифицирует науку, или вдается в скепсис, в агностицизм, в отрицание всякой науки. Объективную теоретическую мысль можно найти у прогрессивного класса.

Буржуазия откасалась от объективно-научных точек зрения (материализм XVIII столетия, классики-экономисты и т. д.) на известной ступени исторического развития, и «доброосветительно-теоретические» традиции, методы принял и понес дальше пролетариат. Учение же о «двух правдах» — это вредная и теоретически ложная выдумка.

«Скептики пользуются диалектикой для того, чтобы доказать невозможность науки... С этой точки зрения все есть истина и все есть заблуждение. Эти слова о «скептиках» весьма приложимы к нашему «активному релятивисту», тов. Сарабянову, так же как и следующие замечания:

«Современные «софисты» с их субъективной диалектикой не должны быть смешиваемы с сторонниками материалистической диалектики. По мнению психологистов, об одном и том же предмете возможны два прямо противоположных «мнения»<sup>1)</sup>.

Это писалось некогда главным образом по поводу Богданова. Но это надо припомнить теперь, когда имеешь дело с тов. Сарабяновым, потому что и у него по существу выходит, что «истина есть то, что нами принимается за таковую»<sup>2)</sup>.

Тов. Ленин писал, что «материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывает при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы».

Наоборот, сарабяновский (как и всякий) релятивизм, несмотря на его претензии на «активность», устраняет необходимость выбора, ибо каждый по своему прав и, значит, оба неправы, и никакой объективной истины вообще нет.

Релятивизм в теории — это путь к беспартийности в политике.

#### IV. Отрицание объективного бытия.

Хотя тов. Сарабянов и становится по существу на богдановскую позицию по вопросу об объективной истине, он все же выражает кой-в-чем свое несогласие с Богдановым.

<sup>1)</sup> Деборин, Введение, 1922, стр. 275.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 278.

Так, говоря о Богданове и ему подобных, т. Сарабянов пишет: «Для них моя истина есть объективная, если она общезначима, т. е. если она является истиной и для других, и субъективная, если она однозначима. Такую позицию марксизм занял, конечно, не может».

С последним утверждением безусловно следует согласиться. Действительно, объективная истина существует лишь там, где нашим представлениям соответствует качественная определенность объективного мира «вещей в себе». И обратно: там, где существует объективный мир и отражение его в сознании, там имеется объективная истина.

И если тов. Сарабянов отрицает возможность объективной истины и «законность» противопоставления объективной и субъективной истины, то это на нормальном человеческом языке и должно означать, что многообразие наших представлений не является отражением, «оттиском» в сознании объективного многообразия мира. Логически ни к чему другому и не ведет субъективизм, отрицание объективной истины.

По отношению к философии тов. Сарабянова такая цепь умозаключений не является лишь логически мыслимым выводом из его релятивизма и субъективизма. Тов. Сарабянов уже сам в значительной мере сделал все необходимые «логические выводы» из своего субъективизма.

Что же получилось у тов. Сарабянова? Получилось, что качество — субъективно, что определенность бытия создается активностью сознания, есть продукт этой активности. А это означает, что «нет объекта без субъекта».

Перенести качество в субъект, сказать, что качества, качественной определенности бытия нет без сознания — это значит скатиться к чистому феноменализму. Тов. Сарабянов вовсе не случайно продвигает теперь этот путь к феноменализму. Это вытекает из того непонимания диалектики, из той подмены диалектики «механикой», которая наблюдалась в писаниях тов. Сарабянова издавна.

Механисты считают (во всяком случае это объективно вытекает из их позиции, хотя бы они того и не сознавали), что «истинное бытие» присуще только количественным сочетаниям неких однородных, т. е. бескачественных, единиц. Количество — объективно, качество же — это есть субъективное нечто, существующее лишь в сознании. К этому сводится и проводимое механистами «чрезмерное» противопоставление т. н. первичных и вторичных качеств.

«Вторичные качества» с этой точки зрения — это исключительно субъективные.

На этой точке зрения стоит т. Сарабянов. Он пишет:

«Красное» лишь субъективное бытие (бытие для меня), но объективно оно — небытие. То же самое со звуком. Мир беззвучен. То же самое с запахом. Нет в мире ни теплого, ни холодного, это тоже только мои ощущения»<sup>1)</sup>.

Это очень напоминает известные слова Демокрита. Но что было гениально, было гигантским шагом вперед по пути науч-

<sup>1)</sup> Вл. Сарабянов, Беседы о марксизме, изд. «Безбожник», М. 1925, стр. 17.

ного понимания мира две с лишним тысячи лет назад, то ныне является шагом назад от научного, материалистического миропонимания. «Красное» вовсе не является объективно «небытием». Волна красного света не только «субъективно», но и объективно отличается от синей волны. По своему отношению к фотографической пластинке хотя бы отличается. Субъективного различия не было бы, если бы не было объективного.

Так же все световые волны отличаются объективно от звуковых и пр.

«Мир беззвучен». Но если звук — нечто чисто субъективное, тогда зачем он нужен субъекту? Способность различать звуки, присущая животным, одним — в большей, другим — в меньшей степени, возникла в результате приспособления к объективным различиям мира. Что холод и тепло никак не являются чисто субъективными «признаками» — это мы можем прекрасно уяснить себе из того значения, какое имеет температура для всех химических реакций.

Конечно, ощущение тепла, света и пр. есть ощущение. Точно так же представление пространства есть представление. Но в обоих случаях содержание сознания есть лишь «оттиски», в коем мир запечатлел свои объективные «определения».

Если иметь в виду понимание тов. Сарабьяновым «вторичных качеств», как исключительно субъективных, то приобретает особый смысл и следующее противоречие между Сарабьяновым и Лениным в «формулировках» процесса познания.

«Процесс познания, — пишет т. Сарабьянов, — не есть процесс срисовывания, снимания копии, фотографирования, ибо образ вещи не похож на вещь, а соответствует ей»<sup>1)</sup>.

Что здесь дело обходится без кодака и без фотографических пластинок — это ясно. Речь идет не об этом, конечно, а о характере познания. Иное понимание у материалистов — Энгельса и Ленина — бьет в глаза. Так в книге «Материализм и эмпириокритицизм» тов. Ленин писал:

«Наши махисты, желающие быть марксистами, набросились с особой радостью на плехановские «иероглифы», т. е. на теорию, по которой ощущения и представления человека представляют из себя не копию действительных вещей и процессов природы, не изображение их, а условные знаки, символы, иероглифы и т. п.... Энгельс не говорит ни о символах, ни о иероглифах, а о копиях, снимках, изображениях, зеркальных отражениях вещей»<sup>2)</sup>.

Различие между Энгельсом и Лениным, с одной стороны, и т. Сарабьяновым, с другой, доказывает здесь текстуально. Это «текстуально» обнаруживаемое различие, противоречие можно было бы отнести за счет случайно неудачной формулировки т. Сарабьяновым своих мыслей, если бы в «безумии» т. Сарабьянова не проглядывала явственно своя система.

Это та система, которая учит, что качества условны и субъективны, — такие «качества», как живой человек и труп, бороза и пушок, воронезский битог и английский рысак...

Мир бесконечно разнообразен, — говорит т. Сарабьянов.

<sup>1)</sup> «Беседы о марксизме», стр. 24.

<sup>2)</sup> Н. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, Гиз, 1920, стр. 24. Курсив наш.

Мы, люди, берем этот мир, отбрасываем одни его свойства, извлекаем другие — и так создается качественная определенность. «Определить качество — это значит рассмотреть вещь не во всех связях, а в определенных». Т. е. опять-таки нет качества вне субъекта.

Рассуждения тов. Сарабьянова здесь крайне напоминают другого «философа», тов. Луначарского, известного в области философии своими отступлениями от марксизма. Тов. Луначарский точно так же писал, что, рассматривая среду, человек «выделяет из нее» лишь те элементы, которые так или иначе затрагивают его жизненные интересы... остальное он фатально игнорирует, оно равно для него небытию»<sup>1)</sup>.

Интересно, между прочим, здесь отметить, что тов. Сарабьянов все время настаивает на том, что нельзя, не нужно брать вещь во всех «связях и опосредствованиях», но лишь в некоторых определенных. Наоборот, тов. Ленин писал в свое время, что диалектика требует прежде всего, чтобы знать предмет, «охватить, изучить все его стороны, все связи и опосредствования». «Мы никогда не достигнем этого полностью, — пишет Ленин, — но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и омертвения» (т. XVIII, ч. 1, стр. 60).

В данном случае естественно, что Ленин настаивает на требования «всестороннего охвата»: для него «связи и опосредствования» вещей, «определенность этих вещей, — объективна, не зависит от человека. С другой стороны, «естественна» и позиция т. Сарабьянова (и Луначарского), так как для него самая определенность вещи только и создается в результате активного «обулавания» мира сознанием. «Абстрагироваться от ряда отношений, рассматривать вещь лишь в определенных связях и в определенных ее свойствах дает нам возможность установить ту самую точку «покоя», без которой ответ по формуле «да-да» или «нет-нет», немислим»<sup>2)</sup>.

Из других писаний тов. Сарабьянова мы знаем, что по формуле «да-да» и пр. определяются как раз качества («точка покоя»). Так, качество еще раз является нам, как результат деятельности сознания (процесс абстрагирования в сознании).

Мир вещей в себе оказывается лишенным определенности. Это — кантовский мир непознаваемых «вещей в себе». И то, что этот мир все же признается, как где-то, — как-то существующий, — это не более как непоследовательность, за которую самого Канта некогда окрестили «трехчетвертеголовым».

«Определить качество — это значит рассмотреть вещь не во всех связях, а в определенных». — Так пишет т. Сарабьянов. — «Почему мы выбираем, какие его свойства учитывать, от каких абстрагироваться? Потому, что мы активные субъекты, что мы преследуем цели»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> А. Луначарский. От Спинозы до Маркса, стр. 113. Сравните это с такими словами тов. Сарабьянова: «мы должны изучать вещь в тех связях, в тех опосредствованиях, которые нас (личность, партия, класс, общество...) в данном случае... интересуют». «Без субъективизма никакое деление на классы, роды, виды просто невозможно, так как признаков бесконечное множество, а важного и неважного объективно в природе не существует» («Беседы о марксизме», стр. 37).

<sup>2)</sup> «Под Зн. Маркс.» 1925, № 12, стр. 191.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 193.

«Активный класс, активный субъект, опираясь на «активность человечества, которое изучало вещь в различных отношениях, всегда рассматривает ее в определенных связях, в определенных отношениях и поэтому получает возможность определить качество»<sup>1)</sup>. «В каком отношении надо рассматривать вещь—это вопрос не теории вообще, не принципа вообще, а теории конкретной практики (?), практики конкретного субъекта. Первый тезис Маркса говорит именно об этом»<sup>2)</sup>.

Тов. Сарабянов не понимает, почему мы упрекаем его в неправильном толковании первого тезиса Маркса. Неправильное толкование заключается в основе в том, что в то время, как Маркс имеет в виду деятельность субъекта в смысле историческом («революционная, практически-критическая деятельность»), Сарабянов ставит вопрос об активности субъекта в плоскости гносеологии. По Сарабянову выходит, что «активный субъект» творит качественную определенность мира. По Марксу же этого никак предположить невозможно, ибо Маркс материалист, а это есть идеализм чистой воды.

Конечно, у идеалистов субъект гносеологически активен, ибо сознание создает бытие. Сарабянов берет у идеалистов именно это. Маркс же берет в первом тезисе другую сторону, которую развивала до него классическая немецкая философия, гл. обр. в лице Фихте и Гегеля. Это—«активность» самого объекта, его «самодвижение», развитие и историческая активность человечества в его развитии, в его «самодвижении», поскольку человек, воздействуя на природу, вне его, изменяет тем самым природу и самого себя.

Совершенно в духе «первого тезиса» пишет Энгельс в «Диалектике природы»:

«Естественноиспытатели и философы до сих пор совершенно пренебрегали исследованием влияния деятельности человека на его мышление; они знают, с одной стороны, только природу, а с другой, только мысль. Но существеннейшей и первой основой человеческого мышления является как раз изменение природы человеком, а не одна природа, как таковая, и разум человека развивается пропорционально тому, как он научался изменять природу»<sup>3)</sup>.

Здесь ясно говорится об историческом процессе развития, а не о гносеологическом отношении. Как тов. Сарабянов не различает того и другого?

Что значит гносеологически рассматривать субъект, сознание, как активное, первоначальное, творческое,—это тов. Сарабянов может видеть на примере своего субъективизма и «активного релятивизма», по которому субъект создает качественную определенность мира, т.е. собственно самый мир в его определенности.

Именно в этом своем субъективно-идеалистическом духе и писал истолкователь Маркса тов. Сарабянов, когда писал:

«Считается долгом научной чести высказаться против антропоцентрического отношения к миру. А, между тем, именно к этому, если угодно, антропоцентризму, к субъективизму звал

<sup>1)</sup> Там же, стр. 186.

<sup>2)</sup> «Под Зн. Маркс.» 1925, № 12, стр. 186.

<sup>3)</sup> Архив Маркса и Энгельса, т. II.

Маркс в цитированном выше тезисе о Фейербахе». «Решение вопроса о качестве вне «антропоцентрической» постановки его невозможно»<sup>1)</sup>.

Вот с этим толкованием Маркса мы не согласны и никогда не согласимся, ибо это значит превращать Маркса в релятивиста, субъективиста, реалиста, каковым он не был.

«Активный релятивизм» тов. Сарабянова—это не более, как sui generis волюнтаризм, т.е. идеализм.

Тов. Сарабянов возвращается в этом смысле к старику Фихте.

Фихте был продуктом буржуазной революции. У Фихте не мало можно найти привлекательного. «Действовать!—вот для чего мы здесь!» Как идеалист, Фихте распространяет это «действовать» в область гносеологии. «Для идеализма интеллигенция (т.е., собственно, сознание, тождественное с бытием) есть действительность (Thun) и ничего более».

Подобно Фихте и Шеллинг в эпоху его близости с первым писал весьма «революционные вещи»: «Мое назначение в критическом—стремиться к неизменной самодеятельности (Selbstheit), безусловной свободе, неограниченной деятельности»<sup>2)</sup>.

Не тянет ли тов. Сарабянова пойти по этой линии? Он уже вступил на нее, хотя еще сам для себя и не сделал из этого всех выводов. В отличие от него эти выводы из волюнтаризма совершенно последовательно сделал великий идеалист Фихте. И то, к чему он пришел, как известно,—это крайний субъективный идеализм: «я» создает мир.

Тов. Сарабянов все время, на каждом шагу, клянется «практикой». Он, например, пишет:

«Не есть ли бессубъективное изучение—беспольное созерцание, потому бесполезное, что это созерцание не имеет практической цели, определенной пользы, для изучающего или для его партии, класса, государства. Что значит объективно, только(?) объективно изучать вещь. Это значит изучать ее во всех ее связях, во всех ее опосредствованиях, выражаясь по Ленину. Но это совершенно невыполнимое дело...»<sup>3)</sup>.

Во-первых, обратите внимание на это прямо противопоставленное Ленину отрицание необходимости изучать вещь «во всех связях и опосредствованиях».

Во-вторых,—это прямо противоположное марксизму отношение к необходимости объективного изучения (ср., напр., Ленина: «Центр тяжести аргументации Энгельса лежит в том, что задача материалистов—правильно и точно изобразить действительный исторический процесс»<sup>4)</sup>).

В-третьих, замечательно это противопоставление у тов. Сарабянова практического значения изучения, познания и его объективного характера. Это противопоставление, связанное логически с волюнтаризмом, с субъективизмом, характерно не только для тов. Сарабянова.

Марксисты уже указывали на то, что с точки зрения материалистической апелляция к практике закона, ра-

<sup>1)</sup> «Основное в едином...», стр. 102 и 103.

<sup>2)</sup> «Новые идеи в философии», сб. 12, стр. 120.

<sup>3)</sup> «Всесды о марксизме», стр. 36.

<sup>4)</sup> В. И. Ленин, Теория и практика, М. 1924, стр. 217.

зумна, основательна только в том случае, если мы признаем объективную истину. Именно объективный характер нашего познания делает его практически полезным.

Мах в одном месте писал: «Акушера такого еще не было, который помог бы родам при помощи четвертого измерения».

По поводу этого Ленин замечает:

«Прекрасный аргумент—только для тех, кто видит в критерии практики подтверждение объективной истины, объективной реальности нашего чувственного мира. Если наши ощущения дают нам объективно-верный образец внешнего мира, существующего независимо от нас, тогда этот довод с ссылкой на акушера, с ссылкой на всю человеческую практику, годится. Но тогда весь махизм, как философское направление, никуда не годится<sup>1)</sup>».

Как это непохоже на противопоставление точки зрения практики и объективного метода, какое имеется у тов. Сарабянова! Здесь (у Ленина)—синтез, там (у Сарабянова)—разрыв.

Точка зрения практики, «активного субъекта», базирующаяся не на объективном материалистическом, диалектическом методе, а на субъективизме, как у тов. Сарабянова,—это и есть идеалистический волюнтаризм, к которому склоняется наш философ. Эта старая красавица (я говорю о волюнтаризме, а не о тов. Сарабянове) думает, повидимому, теперь поддурманиваться и выступить молодой. Дело марксистов разоблачить этот маскарад, чтобы новые наряды «актуализма» в философии не обманули добрых людей насчет его старой, гнилой, идеалистической сущности.

Теперь же—о некоторых вопросах касательно тов. Сарабянова.

По вопросу о понимании диалектического противоречия тов. Сарабянов ровно ничего нового в своей последней статье не добавил. Все, что мы писали на этот счет раньше, остается в силе и теперь. Таким образом, тов. Сарабянов волей или неволей освободил нас пока от необходимости углубляться в его ошибки по этой линии.

Что же касается вопроса об определении «качества», то, хотя здесь т. Сарабянов тоже ничего, или почти ничего, нового к своим прежним писаниям не добавил, мы не зарекаемся от того, чтобы в дальнейшем, в одном из ближайших номеров настоящего журнала, заняться этим вопросом особо, в связи или без связи с постановкой этого вопроса тов. Сарабяновым.

Что касается самого тов. Сарабянова, как философа, то, поелику мы занимались здесь именно им, наш общий вывод таков: тов. Сарабянов, отдавши первоначально несколько нальцев механистическому методу в противовес диалектике, настаивает на своих ошибочных формулировках, тем самым сильнее углубляет свои ошибки, катясь в объятия волюнтаризма, субъективного идеализма.

## Аксиоматика и диалектика<sup>1)</sup>.

Гр. Гаммель.

3.

Гильберт и логистика.—Аксиоматический метод в геометрии.—Логическое учение об аксиомах: три требования аксиоматики: независимость, полнота и непротиворечивость.—Аксиоматическая теория доказательства как метаматематика.—Доказательство «аксиомы выбора» Цермело, бесконечность множества.

«Дальнейшие вопросы о происхождении и границах применения этих аксиом, касающиеся скорее философии, чем математики, я оставляю здесь еще не исследованными», — говорит Цермело<sup>2)</sup> в одной из работ, разобранных нами выше.

Гильберт начинает с этих «горее философских, чем математических», вопросов. Цермело сознательно ограничил свою задачу, отказавшись от «логики» и «философии»: он стремился ставить и решать математические (а не логические) проблемы. Гильберт в этом узком характере цермеловской аксиоматики, в ее математической наивности, именно, в отсутствии логического обоснования теории множеств, хотел увидеть объяснение тех трудностей и противоречий, на которые натолкнулся Цермело. И подобно тому, как через все работы Цермело проходила одна мысль—обосновать теорию множеств таким образом, чтобы избежать противоречий логики—так и теперь авторы, пекущиеся не о действительном развитии математики, а о ее «обосновании», поняли свою задачу так, что надо обосновать теорию множеств таким образом, чтобы были устранены слабые стороны аксиоматического метода. Поэтому и получилось так, что в то время, как Цермело всецело ориентировался на Кантора, Гильберт в основных пунктах своей «философии» следует по стопам Ресселя. Поэтому, если остатки логических понятий у Цермело объяснялись невыдержанностью математической точки зрения, то у Гильберта мы видим постоянное стремление подчеркнуть свою оригинальность, независимость от логистов, потому, что аксиоматика так же, как и логистика, развивается им в смысле логической (а не математической) теории. Одна общая почва

<sup>1)</sup> Окончание, см. «Под Знаменем Марксизма» № 7 за 1925 г.

<sup>2)</sup> Math. Annal. 1907 (65), 262.—О Цермело см. начало статьи».

обеих теорий—логика, идеалистическая логика—ясно вырисовывается уже в ранних работах Гильберта.

Геометрия, по словам Гильберта, начинается с «допущения существования трех систем вещей: именно, точек, линий и плоскостей». Эти вещи, или «мысленные вещи», как говорит Гильберт<sup>1)</sup>, не заключают в себе ничего специфически математического; скорее всего это—такие «мысленные вещи», которые подчиняются определенным простейшим соотношениям соединения (связи), последовательности (порядка) и совпадения. Зная эти простейшие соотношения, мы можем связывать наши «вещи», не называя их («точки», «плоскости», «углы» и др.), а употребляя вместо них буквы,  $a, b, \alpha, \beta$  и т. д. Такие слова, как «между», «на» и т. д., всецело определяются аксиомами порядка и связи, т. е. могут быть выражены также в буквах без всякого указания на конкретное значение смысла, которое обычно вкладывали в эти слова. «Язык символов», культивируемый в логистике, также можно рассматривать, как признак «аксиоматического метода». А добродушная ирония Пуанкаре в следующих словах, сказанных им о Гильберте, прямо кажется направленной не только против него одного, но и против логистов: «Таким образом, вполне понятно, что для того, чтобы доказать теорему, отнюдь не обязательно и даже бесполезно знать то, что ею выражается. Геометра с успехом могло бы заменить «пианино для рассуждений», придуманное Стенли Джевансом, или, если угодно, можно вообразить машину, в которую вводят аксиомы с одного конца, а с другого—получают теоремы, как в той легендарной машине в Чикаго, в которую свиньи входят живыми и из которой они выходят превращенными в окорока и сосиски. У математика не больше нужды, чем у этих машин, понимать то, что он делает»<sup>2)</sup>.

Наконец, сама мысль о необходимости логического развития данной науки из ее простейших оснований аксиом, характерна не только для логистики, но и для аксиоматики.

Тем не менее полное развитие логического и философского обоснования аксиоматического метода было возможно только после того, как путаница и противоречия, внесенные логикой в математические проблемы, дали толчок к новым логическим попыткам обоснования аксиоматического метода Цермело.

Ошибки логистики, по мнению Гильберта, легко устранить, если при логическом развитии данной науки из ее аксиом система аксиом будет удовлетворять трем требованиям: независимости, полноте и непротиворечивости.

Что значит—«независимость аксиом»? Если мы не хотим, чтобы аксиоматический способ рассуждения превратился в бесплодное коллекционерство, необходимо ответить на вопрос: какие именно положения считать аксиомами? Требование «независимости» и отвечает на этот вопрос: если среди положений, принятых нами за аксиому, окажется такое, которое выводится из других посылов или из других аксиом, то это положение не может считаться аксиомой. Другими словами, «аксиомы» должны быть незави-

<sup>1)</sup> Hilbert, Grundl. d. Geom. n. (1922), S. 246.

<sup>2)</sup> «Наука и метод», авториз. пер., Спб. 1910, стр. 120.

слемы друг от друга. Это значит, что число фигурирующих в «аксиомах» понятий следует доводить до «необходимого» минимума. Паш в 1882 году «основными понятиями» геометрии считал: 1) «точку», 2) «отрезок», 3) «плоскость» и 4) «наложение на». Пеано в 1894 году определил «плоскость» посредством «точки» и «отрезка», а «наложение на» свел к более простому понятию «движение», так что его таблица «основных элементов» состояла из трех понятий: «точка», «отрезок» и «движение». Пиери в 1899 году определил «отрезок» посредством «точки» и «движения» и, следовательно, в качестве «основных», «аксиоматических понятий», оставил два понятия: 1) «точку» и 2) «движение»<sup>1)</sup>. Аксиоматический метод требует, чтобы мы применяли возможно меньшее число положений, «möglichst wenig Aussagen» за аксиомы, и это достигается логической взаимной независимостью «аксиом». Ту же мысль можно выразить и так: ни одна аксиома не должна быть случайной, такой, от которой без ущерба можно было бы вовсе отказаться. С этой точки зрения «аксиома выбора» Цермело не может называться аксиомой, так как в ней имеются понятия (выделение элементов, образование совокупного множества из частичных множеств и т. д.), которые выводятся из других аксиом («аксиома выделения»—в первую очередь, Axiom der Aussonderung)<sup>1)</sup>; во всяком случае, «частичные» множества, образуемые по «аксиоме выделенных элементов», не обладают никакими качествами, которых не имели бы частичные множества, составляющие совокупное множество  $SM$ ,<sup>2)</sup> или множества выбранных элементов, образуемые по «аксиоме выбора».

Второе более важное условие, которому должна удовлетворять всякая система аксиом,—это ее полнота. Гильберт, к сожалению, нигде достаточно подробно не объяснил, что он собственно разумеет под «полнотой» аксиоматической системы. Из некоторых, разбросанных в различных работах, замечаний вытекает, что система аксиом называется полной в том случае, если из наших аксиом можно разрешить любой относящийся к данной области теоретический вопрос. Очевидно, если окажется, что если хоть одна математическая задача неразрешима на основе наших аксиом, то это значит, что нам не хватает какой-то аксиомы. Можно сказать, что «аксиома выбора» Цермело должна быть доказана, раз она столь же очевидна для одних, сколь и неприемлема для других, и, следовательно, Цермело не хватает такой аксиомы, из которой логически вытекала бы возможность «выбирания» из множеств любого элемента.

Но для аксиоматического построения данной науки недостаточны независимость и полнота системы аксиом, если не соблюдено самое главное условие—ее непротиворечивость. Запр., внутренние трудности теории множеств Цермело, которыми мы подробно занимались выше<sup>3)</sup>, показывают, что система ее аксиом не свободна от противоречий. По Гильберту, непротиворечивость надо понимать в двойном смысле: как непротиворечивость каждой аксиомы в отдельности и как непротиворечивость

<sup>1)</sup> C. R. du deuxième congrès international des mathemat. tenu à Paris du 6 au 12 août 1900 publiés par E. Duporcq, P. 1902, p. 353.

<sup>2)</sup> См. «П. З. М.» № 7, стр. 22.

<sup>3)</sup> «Под Зн. М.» № 7, 1925.

вость системы аксиом, их взаимная совместимость. Представить данную науку аксиоматически, вывести ее логически из ее внутреннего основания возможно в том случае, если мы будем уверены в том, что, сколько бы мы ни продолжали делать вывод из этих аксиом, мы никогда не натолкнемся на противоречие<sup>1)</sup>. Но для этого нам придется рассмотреть все предложения, которые можно вывести одно за другим из наших аксиом, и показать, что среди этих предложений нет пары таких, из которых одно противоречило бы другому. Число предложений может быть бесконечно большим, и, следовательно, непосредственная проверка окажется уж невозможной. Поэтому Гильберт ставит своей целью выработать новый прием доказательства, при котором оказалась бы излишней последовательная проверка наших предложений.

Приступая к этой задаче, Гильберт прежде всего должен был, понятно, позаботиться о логической безупречности своего приема доказательства, о его принципиальной достоверности<sup>2)</sup>. Так как противоречие очевиднее всего выглядит в арифметической форме (напр.,  $2 \neq 3$ ), то задача теоретического обоснования непротиворечивости аксиом данной науки (напр., геометрии) состоит по Гильберту в том, чтобы все ее основные предложения перевести на язык арифметических формул. Если, выражая геометрические истины арифметическими «равенствами», мы наткнемся на положение типа « $0 \neq 0$ » (т.-е. «ноль не равно ноль»), то это значит, что система аксиом геометрии противоречива и требует пересмотра. Так же обстоит дело с областью физического знания: непротиворечивость всей системы аксиом физики может быть всякий раз показана непротиворечивостью геометрических и арифметических аксиом, выражающих физические законы. Только в двух случаях неприменим этот способ сведения аксиом одной науки к аксиомам другой науки с целью доказать отсутствие противоречия между аксиомами: — в области целых чисел и теории множеств: аксиомы этой области столь абстрактны, что только логика могла бы взять на себя задачу обосновать непротиворечивость аксиом целых чисел и теории множеств. Поэтому остается одно: аксиоматизировать (т.-е. развить из собственных аксиом) логику и представить теорию чисел и теорию множеств, как части этой логики. Но этим еще не решается вопрос о достоверности математического доказательства вообще, поскольку доказательство математической непротиворечивости аксиом может потребовать проверки бесконечного числа предложений. Теоретические работы Д. Гильберта последних лет ставят своей целью дать такое обоснование элементарных математических понятий и операций, чтобы раз навсегда устранить всякое сомнение в достоверности математического умозаключения. Необходимость и важность такого обоснования математики, по его мнению, подтверждается уже тем фактом, что относящиеся сюда воззрения чрезвычайно разноречивы и запутаны; некоторые выдающиеся математики, говорит Гильберт, отказываются от таких форм умозаключения.

<sup>1)</sup> С. R. du II congrès des mathem. (1900), P. 1902, p. 72.

<sup>2)</sup> Для дальнейшего „Math. Ann.“, 1917, S. 411 f.

<sup>3)</sup> Для дальнейшего „Math. Ann.“, 1922, S. 150 f.

которые до сих пор считались наиболее достоверными. Чтобы выбить почву из-под ног у «скептиков» и, главным образом, у противников аксиоматики Цермело, Гильберт формулирует основную задачу математического доказательства. Логическое обоснование математики, которое учитывает все трудности цермеловской теории множеств, может быть лишь теорией доказательства. Критики, выступавшие против Цермело, нападали преимущественно на «аксиому выбора» (в то время, как другие аксиомы как будто не внушали подозрений) именно потому, что у Цермело названная аксиома не была изложена в обычной форме математического доказательства.

Аксиоматический метод сам Гильберт характеризует как «привороченное к способностям нашего духа необходимое средство всякого точного исследования, в какой бы области оно ни производилось». Этот «логически неопровержимый (unanfechtbar) и в то же время плодотворный» метод, по словам Гильберта, обеспечивает научному исследованию «свободу движения». Изучать вопрос аксиоматически, — говорит он, — значит не что иное, как мыслить сознательно (mit Bewusstsein denken): в то время как раньше, не зная аксиоматического метода, мыслили наивно, теперь учение об аксиомах разрушает эту наивность, оставляя однако нам все преимущества прежней веры. Подобно тому, как физик изучает устройство своих аппаратов, философ исследует происхождение и границы познания, так и математик должен тщательно ознакомиться с сущностью математического доказательства.

Теория аксиоматического доказательства, по Гильберту, должна опираться на следующие простейшие понятия: аксиомы, определения и формулы. Аксиомой называется такое положение, которое не сводимо ни к какому другому положению (независимо), достаточно, чтобы в системе других аксиом обосновать всю область данной науки (необходимо) и само по себе вполне очевидно, непротиворечиво (т.-е. никогда не приводит к противоречию). «Определение» есть одно из вспомогательных средств продвигнуться дальше в логическом обосновании и развитии данной науки из ее аксиом; это «средство» состоит в том, что для выведения из аксиом новых положений вводят новые понятия в виде «определения». Из этих «определений», которые таким образом позволяют «произвольно создавать математические объекты», мы, пользуясь аксиомами, выводим «формулы». Формулы выводятся двойным путем: или подставляют на место находящихся в аксиомах знаков (букв a, b, c) другие, нужные для дальнейшего, знаки, имеющие ту или иную определенную связь со старыми знаками (напр., вместо «переменной» можно взять ее «функцию», вместо «функций» — формулу, обозначающую «функциональность», и т. д.), — или применяя логическую схему

$$\{ S \rightarrow (S \rightarrow T) \} \rightarrow T$$

т.-е. из двух аксиом  $S$  и  $S \rightarrow T$  выводим формулу  $T$ . Формулы, получаемые таким путем, называются доказуемыми формулами. Комбинируя определения и формулы, мы поднимаемся вперед к новым разветвлениям данной науки.



Далее, все, чем оперировала до сих пор математика, строго формализируется (wird streng formalisiert) <sup>1)</sup>. От обычной «сущности математики» — выражение Гильберта (или математики в обыкновенном смысле слова) оставляют только формулы: математика превращается в собрание формул. После того, как объект таким путем для экспериментирования препарирован, к математическим знакам добавляются еще ряд логических знаков — для слова «следует» ( $\rightarrow$ ), для отрицания «не» ( $\neg$ ), для разделительного суждения «или» ( $\vee$ ), для эквивалентности ( $\infty$ ) и т. д. напр.:

$$a, a \vee b, a \& b, a \rightarrow b, a \infty b, a = b, a \neq b,$$

т. е.: «а нет», «а или b», «а и b», «если а, то b» (из а следует b), «а равно b», «а не равно b». После этого «теория» Гильберта начнет с определения понятия «доказательства». Доказательство может быть наглядно представлено в виде умозаключения

$$\frac{S}{S \rightarrow T}$$

где предпосылки S и  $S \rightarrow T$  должны быть аксиомами или могут быть косвенно сведены к аксиомам. Всякое доказательство в формализованной, таким образом, математике должно отныне выражаться в аксиоматической формуле умозаключения  $a \rightarrow b$  ( $a \rightarrow b$ )  $\rightarrow b$ . «Формализованная, таким образом, математика», говорит Гильберт, — становится в известном смысле новой математикой, «метаматематикой». «Метаматематика» исследует доказательства «обыкновенной» математики; чисто формальный способ рассуждения последней, ее формулы метаматематика делит своим содержанием, главным предметом своих рассуждений. У Гильберта, по видимости, получается так, что будто бы его метаматематика, в противоположность формальному методу обыкновенной математики, оперирует умозаключениями по содержанию (das inhaltliche Schliessen), направлена на «содержание», на «конкретность» употребляемых понятий. Но на самом деле «исследование» метаматематики не становится конкретным (содержательным) от того, что оно делает своим «содержанием формулы» доказательства «обыкновенной» математики. Требование наглядности (интуитивности) у Гильберта не получило в дальнейшем всестороннего освещения и в конечном счете оказалось «формальной», словесной уступкой Брауэру и Вейлю, которые с самого начала выбросили лозунг непригодности абсолютного формализма.

Но вернемся к нити нашего изложения. Формулы доказательств обыкновенной математики — составляют предмет «метаматематики». Знакомая с этими, долженствующими отобразить некую «содержательность», «наполненность», вы делаете неожиданное открытие, что речь идет о «старых формально-логических принципах, классифицированных на четыре группы и возведенных в ранг «аксиом»: «аксиомы следования», «отрицания», «равенства» и «числа». Аксиомы Гильберт выражает, как полагается, на заумном языке, знаками равенства, стрелками, круглыми скобками, квадратными скобками, фигурными скобками, тире,

плюсами, минусами и буквами. На обыкновенном человеческом языке аксиомы выглядят примерно так:

если дана вещь А, то существует вещь В, из которой она вытекает;

если данная вещь А такова, что из нее вытекает другая вещь В, то можно сказать: существует вещь В, которая из нее вытекает;

если из вещи А вытекает вещь В, а из нее вещь С, то можно сказать, что из вещи А вытекает вещь С;

если дана вещь А и из нее вытекает вещь В, то вещь В не может следовать из отрицания А («закон противоречия»);

если дана вещь А, то из нее вытекает или вещь В, или отрицание вещи В;

если к данному числу прибавить 1, то оно не может быть равно нулю.

Вообще подобного рода «истины» вряд ли вызвали бы «сомнение», если бы речь шла о конечных множествах. Гильберт ставит совершенно другую задачу: дать аксиомы «следования», «отрицания», «числа» и «равенства» для бесконечных множеств, для умозаключений о том или другом применении математической бесконечности. Гильберт, который и представить себе не может, как это возможно мыслить не по законам формальной логики, стремится в математической форме показать, каким образом средствами обыкновенной логики можно умозаключить в суждениях, выражающих то или иное применение понятия бесконечности. По мнению Гильберта, выход за пределы конкретного, ограниченного и наглядного происходит уже в тот момент, когда мы употребляем слова: «все», «существуют некоторые», «tertium non datur», «полнота системы аксиомы», «полная индукция», «существование», «выбoreние» элементов. В основе всех этих понятий, по Гильберту, лежит следующий принцип: каждому предикату (свойству) А (а), т. е. всякому суждению А с одной переменной (предметом) а, приурочивается предмет  $\tau$  (А), при чем  $\tau$  является функцией переменной А, и аксиома трансфинитных (бесконечных) умозаключений принимает такой вид:

$$A(\tau A) \rightarrow A(a).$$

что означает: если один предикат А принадлежит предмету  $\tau$  А, то он же принадлежит всем предметам а. «Чтобы сделать наглядным», — говорит Гильберт, — содержание этой аксиомы, примем, например, вместо А предикат: «подкупность»; тогда под  $\tau$  А мы бы имели в виду одного определенного человека со столь сильно развитым сознанием честности и неподкупности, что, если бы он оказался подкупленным, то все люди фактически оказались бы вообще подкупными <sup>1)</sup>.

Из этой «аксиомы» Гильберт выводит существование «всех» вещей, т. е. бесконечности, и путем различных комбинаций из «доказуемых формул» и «определений» приходит к целому ряду аксиом о «трансфинитных» («бесконечных») операциях. Доказательство отсутствия противоречия между «трансфинитными аксиомами», как обычно, завершает «теорию математического доказательства».

<sup>1)</sup> «Math. Ann.» (88), 1922.

<sup>1)</sup> Для дальнейшего см. Hilbert, — «Math. Annal.», Bd. 88, 1/2 Н, Brl. 1922.

4.

Критика. 1. Идеализм. — 2. Идеализм и теория множеств (теория чисел Гильберта). — 3. Выбор аксиом: а) независимость, б) полнота. — 4. Истинность аксиом: а) «непротиворечивость», б) «теория доказательств», в) «доказательство непротиворечивости», б) метафизика непротиворечивости. — 5. Аксиоматика противоречивости, б) метафизика непротиворечивости. — 6. Гильберт и проблема знания (метод, игра формул и шахматы). — 7. Гильберт-ученый и диалектическое доказательство бытия божия. — 8. Гильберт-ученый и диалектический материализм против Гильберта-философа.

1. Приступая к критическому разбору гильбертовского учения об аксиоматическом методе, надо прежде всего твердо иметь в виду, что перед нами одна из разновидностей идеализма. «Чистые понятия» о числе, о точке, о линиях, о плоскости и т. д. и пр., о которых трактуют философы-математические работы Гильберта, созданы, по мнению последнего, нашим рассудком и только независимо от опыта, но часто даже вопреки опыту. Например, характеризует эмпиристическую точку зрения Гельмгольца, Гильберт замечает: «Точка зрения чистого опыта нам представляется, однако, опровергнутой уже простым указанием на то, что в опыте, т. е. путем эксперимента, никогда не может быть доказано существование или даже возможность произвольно большого числа. Ибо число вещей, составляющих предмет нашего опыта, всегда ограничено конечными пределами, как бы велико это число ни было». «Простое указание» Гильберта — старый-престарый софизм неокантианцев, что формальность и абстрактность раздвигает, а не соединяет математическое знание, взятое в понятия, и знание, проверяемое и добываемое в чувственных наблюдениях. Следовательно, первая ошибка Гильберта (в его отзыве об «эмпиризме» Гельмгольца) в том, что его ответ односторонен, даже логически односторонен, поскольку он не учитывает того простого факта, что никакая абстрактность невозможна без конкретного смысла ее, хотя бы как абстракции: абстракция «произвольно большого числа» должна иметь конкретное раскрываемое на примерах действительности (бесконечность вселенной, формы математической  $\infty$  и т. д.) значение, чтобы иметь вообще смысл. Одно то обстоятельство, что мы узнаем одну и ту же абстракцию в системе разнообразных абстракций или что мы отличаем одну абстракцию от другой, — одно это обстоятельство указывает на относительность всякой абстракции.

Всякая конкретность, т. е. все единичное, только тогда понятно, как единичное, когда оно понято как всеобщее, т. е. как абстрактное. Вейль, этот enfant terrible современной математики, искушенный во всех грехах философского идеализма, должен был признать: «В теории и сознанию удается перепрыгнуть через свою тень, оставить позади за собой весь материал данного (опыта), представить трансцендентное; но, само собою понятно, — только в смысле. Отношение символической конструкции к непосредственно переживаемому должно быть если не explicite описано, то — все-таки как-то внутренне понятно». И подобно тому, как Вейль требует в математике не логического формализма, а конструкции и наглядной возможности конструировать, так и всякая абстракция может быть наглядно сконструирована, как неразрывная внутренняя часть всякого конкретного опыта.

1) Grundl. d. Geom. (3/1922). S. 241.

Вторая ошибка Гильберта (в отзыве о Гельмгольце) касается специально понятия «произвольно большого числа», бесконечности. Эта ошибка, ошибка тысячи других естествоиспытателей, состоит в том, что Гильберт сперва образует — бессознательно или сознательно — это безразлично — абстрактное понятие бесконечности на основании реальных фактов, чувственных наблюдений и т. д., а затем требует, чтобы абстракция бесконечности, существующая в его голове, реально уместилась рядом с чувствами и зрительными впечатлениями. Математическая бесконечность может быть познана только средствами математики, но это не значит, что бесконечность есть изобретение того или иного богатого воображением математика: математической бесконечности соответствует бесконечность реальная и «возможность произвольно большого числа», о которой с ехидством говорит Гильберт, дава ничем иным, как этой реальностью математической бесконечности.

Наконец, никто иной столь близко не подходил к этой самой истине, как сам Гильберт. Процесс мышления, — говорит он, — есть конечный, ограниченный процесс (finiter Prozess), но мышление поминутно выходит за границы конечного и вступает в область бесконечного, употребляя такие понятия: как «все», «некоторые», «tertium non datur», «выбор», «полная индукция», «существование» и т. д. Плененный шорами формальной логики, Гильберт неправильно объясняет эти факты, доискиваясь какого-то «доказательства» их «непротиворечивости», но факты им подмечены совершенно правильно. А доказывают эти факты лишь то, что бесконечность, так же как и всеобщность, есть реальность. Другими словами, бесконечность столь же относительна (к примерам Гильберта можно добавить множество других), как и «конечность». К этому вопросу нам предстоит еще вернуться, а теперь ограничимся ссылкой на беспорочное замечание из «Анти-Дюринга» Энгельса, чтобы закончить этот ход мысли: «Десять пальцев, на которых люди научились считать, т. е. производить первую арифметическую операцию, представляют собою все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие учету, но обладать уже способностью отвлекаться при рассматривании этих предметов от всех прочих их свойств, кроме числа, а эта способность есть результат долгого исторического развития и опыта. Как понятие числа, так и понятие фигуры заимствованы исключительно из внешнего мира, а не возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определенную форму, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было дойти до понятия фигуры. Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения реального мира, стало быть весьма реальный материал» (изд. «Моск. Раб.», 1924, стр. 48). Особенность аксиоматического метода в том, что он требует идеалистического понимания происхождения нашего знания: все простейшие важнейшие понятия, составляющие основу нашего знания, суть мысленные комбинации условных знаков, продукты «чистого мышления», которым дается новое название: «аксиома». «Аксиома»

по Гильберту—это «умственная вещь», «мысль», наша собственная мысль, которая предшествует фактам опыта, предписывает им законы, цель и направление мышления. Кант это выражает более четко и последовательно: не природа предписывает законы человеку, а человеческий разум предписывает свои законы природе. Именно в этом идеализме заключается основная суть абстрактного метода Гильберта. «Умственные вещи» этого метода представляют разновидность той же рафинированной утонченной схоластики, которую в различных формах, или, точнее, под различными названиями, выражают и «эйдос» Гуссерля, и «данность» Ремке, и «объектив» Мейнонга, и «органическое universale» («редов абстрактное образование») Георга Кангора, и «вещь вообще» Расселя, и «условный знак» Фреге.

2. Раз мы уяснили себе, что общая философская позиция Гильберта есть позиция идеалистическая, нам не трудно обратиться в ее специальных недостатках. Теперь нам становится понятным; почему каждая проблема, вставшая перед Гильбертом, каждое специфическое понятие, допускаемое им вновь и вновь в процессе рассуждения, должны были возникать с внутренней логической необходимостью. Например, три главных требования аксиоматического метода: «независимость», «полнота» и «непротиворечивость» системы аксиом—продиктованы исключительно тем, что материалистический критерий истинности с самого начала был отвергнут и на его место надо было поставить какой-то новый «источник» истинности. Евклиду не надо было каждый раз доказывать, что его теоремы не противоречат друг другу, или что употребляемые им понятия связаны «логической необходимостью».

Для того; чтобы сразу ввести читателя во все последствия логической точки зрения в аксиоматической обработке математики, займемся одним конкретным вопросом: природой числа.

Абстрактно-логическая идеалистическая теория Гильберта, его стремление полностью растворить в логике метод математики, должны были привести к чудовищным извращениям элементарных математических понятий, и, в первую очередь, основного понятия—числа<sup>1)</sup>. До сих пор мы думали, что, как бы ни толковать теорию множеств, она служит основанием для теории чисел (как и для теории функции, теории континуума и т. д.). Но Гильберт не признает принципиально-важного значения теории множеств для понимания математики, — для него аксиоматический метод выше теории множеств. Если Цермело считал теорию множеств основанием математики, то Гильберт думает иначе: по его мнению, наоборот, теория множеств должна быть сведена аксиоматическим путем к теории чисел. Раз теория множеств свелась к теории чисел, она, понятно, уже не может служить основой теории чисел. Вся теория чисел Гильберта служит красноречивым доказательством этой мысли.

<sup>1)</sup> Для дальнейшего см. Aloys Müller, „Mathem. Annal.“ 90, S. 111. Как философ, Мюллер, подобно тысяче своих коллег, колеблется между крайней идеализмом гуссерлянского толка и половинчатым позитивизмом, ср. по этому поводу его книгу: „Der Gegenstand der Mathematik mit besonderer Beziehung auf die Relativitätstheorie, Braunsch. 1922.

Числа по Гильберту суть знаки, форма которых не зависит ни от времени и места, ни от конкретных условий их употребления. «В начале был знак». «Наука теории чисел основывается на этой чисто наглядной базе конкретных знаков». «Знак 1 есть число. Знак, который начинается 1 и кончается 1 так, что между ними после 1 всегда следует +, а после + следует всегда 1,—такой знак есть всегда число, напр., знаки

$$\begin{array}{l} 1 + 1 \\ 1 + 1 + 1. \end{array}$$

Эти знаки, которые суть или образуют числа, являются предметом нашего рассуждения, но никакого значения сами по себе они не имеют. Кроме того мы употребляем еще другие знаки, которые должны «что-то» означать, напр., знак 2 для сокращения знака 1+1; или знак 3 как сокращение знака 1+1+1; далее мы употребляем знаки =, >, чтобы выразить то, что утверждаем мы о знаках.

В этом смысле  $2+3=3+2$  должно быть не какой-либо формулой, но просто знаком, позволяющим нам выразить в сокращенной форме тот же знак, именно, числовой знак  $1+1+1+1+1$ . Столь же мало  $3 > 2$  есть формула, но знак, которым сообщаем тот факт, что знак 3, т.е.  $1+1+1$ , «выходит за пределы» знака 2, т.е.  $1+1$ , или что последний знак есть составная часть первого».

Отсюда мы заключаем вместе с Алоизом Мюллером<sup>1)</sup>, что Гильберт различает двоякого рода знаки: 1) знаки без всякого значения, именно 1 и +; что и знак+ также не имеет вовсе значения, следует из того, что  $1+1$  и все другие комбинации не должны иметь вовсе значения, а это возможно, если и знак + одинаково не обладает вовсе значением; 2) знаки, имеющие значение как 2, 3, 4, =, >, если вы спросите Гильберта, каково же их значение, он вам ответит: «значение их в том, что они обозначают собою «знаки без значения».

Теперь спрашивается: можно ли в данных случаях говорить о знаках? Всякий знак обозначает нечто, что отлично от самого знака. Если говорят о «знаках без значения», т.е. отсутствуют те предметы, которые они должны обозначать. Если Гильберт настаивает, что 1 и + суть просто знаки, без всякого значения, то все-таки правильнее было бы говорить не о знаках, а о «начертах», «фигурах», «образах»: «фигуры» не имеют значения и представляют собою как раз то самое, что подразумевает Гильберт, говоря о «голых знаках без значения». Само слово «знак» указывает на какое-то «значение», и если нет значения, то перед нами, следовательно, просто «фигура».

Посмотрим, в таком случае, можно ли рассматривать фигуры, как основание теории чисел. Не трудно показать, почему мы не можем различать и выделять фигуры ни по форме, ни по количеству.

Во-первых, фигуры ведь ничего не означают. Следовательно, безразлично, какую они форму имеют и в истории математики фактически мы встречаем фигуры всевозможных форм.

<sup>1)</sup> Цит. статья в последнем примечании.

Поэтому остается недоказанным, почему Гильберт избирает, именно, 1 и + или 2, 3, а не другие фигуры.

Допустим, что мы выбираем фигуры другой формы, вместо 1 фигуры 0, и ● вместо +. Если форма фигур безразлична, то понятно вместо фигур

$$\begin{array}{c} 1 + 1 \\ 1 + 1 + 1. \end{array}$$

мы можем написать

$$\begin{array}{c} 0 \bullet 0 \\ 0 \bullet 0 \bullet 0 \end{array}$$

Если 2 есть сокращенный знак для обозначения 1+1, а 3 есть знак для 1+1+1, то, следовательно, 2 означает 0 ● 0, а 3 обозначает 0 ● 0 ● 0. Может ли это служить основой теории чисел? Без сомнения, нет. Таким путем можно получить, как говорит математик А. Мюллер, — «при условии необходимой фантазии, изящную кайму на полотне, или бордюр на обоях, а с ними и фабричную марку, но вовсе не математику».

Пауль Бернайс, один из видных учеников Гильберта, на это возражение отвечает так. Форма фигур действительно безразлична, можно выбрать и звездочки, и вертикальные черточки, и треугольники и т. д. Но существенно, мол, при этом то, что все экземпляры одинаковых фигур друг к другу прилагаются одинаковым образом, так что фактически мы принуждены располагать их в ряд, а, напр., не по кругу. Это не значит, однако, что мы «тайно» вкладываем в «голые знаки», в «фигуры» какой-то смысл или значение.

Можно согласиться с Бернайсом, что, если мы даем описание начертанной на бумаге фигуры, то это еще не доказывает, что в наших руках фигура сама по себе получает какое-то значение. Но что это доказывает? Ведь это только подкрепляет нашу точку зрения: «описывая» свои «знаки без значения», мы должны будете еще доказать, что можете перейти к знакам со «значением», т. е. к числам — 1, 2, 3, ибо «описывать» — то вы будете... бессмысленные фигуры.

Во-вторых, способы соединения фигур с одинаковым правом могут быть допущены самые разнообразные. Почему мы должны принять за числа только такие соединения фигур, которые начинаются и кончаются единицей и в которых после — всегда следует 1 и после 1 следует всегда +? Это совершенно произвольное предписание. Всякое другое предписание было бы столь же правомерно. Если Гильберт подчеркивает необходимость одного определенного типа фигур, одного определенного способа их соединения, то фигуры перестают быть для него фигурами, но приобретают смысл и значение. Между тем его «числовые знаки», по требованиям его теории, с самого начала лишены какого бы то ни было значения, т. е. являются голыми пространственными начертаниями. Вот почему Гильберт не сможет указать то основание, в силу которого он предпочитает один способ соединения своих фигур перед другим.

В-третьих, мы не можем сказать, почему данное собрание фигур равно такому-то количеству, а не другому. Если фигуры и собрания их должны быть простыми начертаниями на бумаге, то и количество, число их будет всякий раз столь же

произвольно, как форма и способ соединения. По Гильберту  $3 > 2$  должно означать, что «1+1+1» выходит за пределы «1+1» или что последний знак есть «составная часть» первого. Но о том, что значит «выпирать за пределы» или «составная часть», Гильберт ничего не говорит. Но так как всюду у него речь идет о фигурах, то, очевидно, эти слова указывают на некоторое пространственное отношение: одна фигура занимает больше пространства, чем другая. В таком случае утверждение, что  $3 > 2$ , не всегда правильно. Если я напишу

$$\begin{array}{c} 1 + 1 \\ 1 + 1 + 1, \end{array}$$

то вторая фигура вовсе не выходит из границ первой и первая фигура вовсе не является составной частью второй. Можно, наконец, так видоизменить фигуры, что могут оказаться справедливыми утверждения, что

$$2 > 3 \text{ или } 3 < 3.$$

Тот, кто будет оспаривать это, неизбежно должен связывать со «знаками» 1+1 и 1+1+1 какой-то тайный смысл, а ведь это в действительности только фигуры, только начертания, и сколько бы их ни нагромождали, ничего определенного о количестве, о численности они не говорят.

Пауль Бернайс, цитированный выше, на это возражение отвечает возражением. «Утверждение « $3 > 2$ » по теории Гильберта имеет права пространственный, но все-таки не метрический смысл (metrischen Sinn)». Гильберт, мол, предупреждает неоднократно, что при начертании фигур не надо принимать в расчет ряд малозначащих обстоятельств. К числу последних и относятся обстоятельства, каким — большим ими маленьким — расстоянием отделены друг от друга составные части фигуры: «1+1». Это обстоятельство, по Бернайсу, не имеет значения уже потому, что знаком «2» всегда обозначается ведь одна и та же фигура «1+1». Простое же описание, кроме того, воочию показывает, что фигуры «1+1» и «1+1+1» «различны». Пусть наши фигуры будут бессмысленными: и бессмысленные фигуры имеют внешние отличия и внешние отношения друг к другу.

Но Бернайс не замечает, как поучает нас бить его его собственным оружием: почему при всех возможных начертаниях фигуры «1+1» она всегда будет обозначать одно и то же число «2»? Он на это указывает, как на довод в пользу теории Гильберта, которая отвергает какой бы то ни было смысл и значение в «знаках» 1 и +. Но этим заявлением на самом деле он выдает ведь *testimonium paupertatis*: указываемый им факт доказывает как раз то, что голыми «начертаниями» или «знаками без значения» далеко не удеешь! Поэтому подобно тому, как учение о «непротиворечивости» аксиом держится на непрерывной цепи совершенно недопустимых противоречий и путаницы, так и формалистическое понимание чисел, как «знаков без значения», фактически должно путаться в трех соснах плоского электизма (слепления чужих и разнородных учений). «Во всяком случае, — говорит с опаской Бернайс, — по Гильберту объекты, опирающиеся на созерцание (anschaulichen), объекты теории чисел, числовые знаки не созданы мышлением». Казалось бы, ясно — теория чи-

сел не творится разумом, она имеет непосредственное отношение к реальным объектам, которые существуют вне нашего сознания, проверяет себя на фактах как действительности, так и абстрактного отображения ее в математике (математический эксперимент). Но Бернайс продолжает: «Но этим вовсе не утверждается, что они существуют независимо—употребляя вполне подходящий кантовский термин—от их наглядной конструкции». Другими словами, они не созданы мышлением, но они... не существуют независимо от мышления. Тонкость мысли необыкновенная!

Наконец, взгляд на числа, как на голые «знаки без значения», не может служить основанием для теории чисел и потому, что он противоречит историческим наблюдениям: прежде чем люди научились употреблять те или иные знаки для обозначения чисел, они уже умели считать, т. е. были знакомы с «счислениями». А по Гильберту выходит, что «в начале был знак»!

На примере теории чисел мы можем убедиться, что аксиоматика извращает истинное значение теории множеств для математики. Чистая математика не случайно подошла к проблеме множеств и бесконечно-больших чисел, и какими бы первоначальными догмами она ни прикрывалась вначале, мы должны помнить, что и с точки зрения ее основоположника, и с точки зрения Цермело, впервые проработавшего ее на математической почве, «теория множеств» имела чисто-математическое значение. В своем месте мы отметили, что именно в этом математическом уклоне заключается величайшее преимущество теории Цермело и Кантора перед «теориями» Пеано и Рассела. Диалектический материализм отмечает схоластику и идеализм, остатки которых тщательно скрыты под логической терминологией у Кантора и Цермело, но он, подобно последним, сохраняет и подчеркивает математическую важность теории множеств, математическую задачу, стоящую перед этой теорией. Другое дело—как именно, конкретно, будет выглядеть теория множеств в свете материалистической диалектики, но важно уже здесь выдвинуть то положение, что метод диалектического материализма Маркса и Энгельса запрещает рассматривать теорию множеств как логическое учение, подобно Пеано, Расселу и tutti quanti. Поэтому, например, и теория чисел не может быть построена логически, не впадая в беспримечный идеализм, и не может быть «развита формально», увязывая в болоте путаницы и противоречий. Нам остается показать, почему и вся «аксиоматизированная» логика разделяет судьбу аксиоматической «теории чисел».

3. Всякая аксиома, в конце концов, основывается на некотором числе понятий, которые вы принуждены объявить «неопределенными» и «недоказуемыми». Но раз эти элементарные положения неопределимы и недоказуемы, то спрашивается, какими принципом вы руководствуетесь при выборе аксиом? Вы можете классифицировать, как вам угодно, но вы не можете отмахнуться от вопроса, который мы всегда можем поставить вам: какие причины заставляют вас предпочесть одно определение другому, одно понятие другому, одну аксиому другой? Единственным критерием истинности может быть лишь согласие с действительностью и экспериментом, но вы выбрасываете за борт какое бы то ни было отношение к действительности и

следовательно, вам остается руководствоваться теми целями, которые вы сами себе ставите. И, действительно, Куртура, ничтоже сумняшеся, заявляет, что понятие неопределимо и суждение недоказуемо в зависимости от того, в какой системе отношений с другими понятиями и суждениями мы употребляем их, ибо в другой системе они могут оказаться и определенными и доказуемыми. Когда вам удобно или выгодно, вы доказываете, а когда невыгодно втягиваться в путаницу, вы объявляете ее «недоказуемым» и «неопределимым»<sup>1)</sup>. Ничто не мешает вам поступать так потому, что «всякое определение» для вас «представляет по-просту установления; оно несколько не предполагает существования определяемого объекта, и чтобы оно было закономерным и пригодным, этому объекту нет вовсе нужды существовать»<sup>2)</sup>. Наука ничего общего не может иметь с таким произволом понятий. Бесплодность всех этих схоластических ухищрений ярче всего сказывается в том, что настоящая, идущая вперед в своем развитии и непрерывно опирающаяся на бесчисленное количество экспериментальных фактов, настоящих математических фактов, никогда не взыскет в болоте подобных «аксиоматических определений». А Пуанкаре прав, когда говорит, обращаясь к таким, как Гильберт, логистам: «Вы дадите какое-нибудь тонкое определение числа; затем, раз определение дано, вы о нем больше не думаете; ибо в действительности вовсе не через это определение вы узнали, что такое число; вы это узнали уже давно, и когда слово число подвернется вам дальше под руку, вы придадите ему тот же смысл, что и любой профан»<sup>3)</sup>. Другое дело, пойдем ли мы за Пуанкаре, если он вздумает утверждать, что этим исчерпана «природа числа», но, что касается фактического состояния абстрактно-формалистической точки зрения в математике, он совершенно прав. Эта наука вовсе не ставит себе целью вечное созерцание своего собственного пупка, она имеет отношение к природе, рано или поздно она приходит в соприкосновение с нею; вот в этот момент и приходится стряхнуть с нее пыль чисто-словесных определений и перестать обманываться словами»<sup>4)</sup>.

Если же при выборе аксиом вы руководствуетесь «чисто-словесными определениями», то критерием истинности таких «определений» опять-таки останутся те цели, которые вы сами себе ставите. С таким толкованием Гильберт не соглашается, он протестует, он на это возражает, что количество аксиом и выбор их определяется независимостью их друг от друга. Но в таком случае самый поверхностный разбор этого понятия «независимости» аксиом показывает, что хваленая независимость устанавливается нами самими. В самом деле, процесс установления аксиом в следующем изображении итальянского логиста Падоа об этом достаточно ясно говорит: «Если даны несколько основных понятий А, В, С..., то можно задать вопрос, может ли одно из них быть определено через посредство некоторых других (напр., С через А и В) или же оно независимо от них. Подобный вопрос не имеет

<sup>1)</sup> Ср. Couturat, Les principes d. math., p. 37, и L. Brunchwieg Les étapes de la philos. math., p. 402.

<sup>2)</sup> Нов. идеи в матем., сб. 10, стр. 87.

<sup>3)</sup> Rev. de mét. et de mor., XIII, 816.

<sup>4)</sup> Он же, „Нов. идеи в математ.“, сб. 10, стр. 126.

смысла до тех пор, пока не сказано, какие устанавливаются отношения между названными понятиями. Если же допустить, что между понятиями А, В, С (которые мы изображаем абстрактным образом с помощью соответственных символов) существуют известные логические отношения, выраженные в виде некоторой системы постулатов (допущений) (а, b, c), принимаемой нами за данную, то можно показать, что С независимо в системе (a, b, c...) от А, В, именно тем, что устанавливаем соответственное конкретное истолкование символов А, В, С, которым могут быть связаны два различных толкования С, так, что некоторое положение, истинное (и потому совместимое с a, b, c...) в случае первого толкования, окажется ложным в случае второго толкования<sup>1)</sup>. Все это звучит очень заковыристо и туманно, но суть дела очень проста. Независимость аксиом устанавливается благодаря тому, что мы сами вкладываем то или иное значение в наши символы, сами устанавливаем определенные отношения между ними, и если окажется, что из нескольких значений одного положения, хоть одно не может быть выведено из данных аксиом, то это положение мы объявляем «независимым», т. е. «аксиомой»; сделать это нам ничего не стоит именно потому, что все эти «значения» и «толкования» мы сами вкладываем в аксиомы, заранее зная, каков должен быть результат нашего рассуждения. Но в таком случае ясно, что бессмысленно вообще ставить вопрос о независимости и мудрствовать все о необходимости «независимых» аксиом для обоснования науки. Вопрос о «независимости» аксиом есть вопрос их характеристики, а не сущности, — есть вопрос о том, назовем ли данное положение «аксиомой» или «аксиоматическим определением», а не вопрос о критерии истинности данного положения, называемого нами «аксиомой».

Между тем, вопреки тезису аксиоматики, правильное связать, что «независимость» некоторых абстракций не только не может служить гарантией того, что эти абстракции можно взять за исходные пункты науки, но, наоборот, есть как раз то, что должно быть объяснено. Если Гильберт в области математики надеется установить логическую независимость простейших понятий, то всякое его рассуждение будет односторонним, так как остается нерешенным вопрос о независимости самой математики. Логическая независимость некоторых понятий — факт, но когда этот факт будет объяснен на основе всех областей современного естествознания, тогда мы увидим, что, напр., логическая независимость понятия движения в геометрии Понери есть реальная «независимость» движения в природе. К этому вопросу мы еще вернемся, а теперь обратимся к гильбертовскому толкованию полноты системы аксиом.

Вопрос о полноте аксиом есть математический вопрос. В этом требовании, строго говоря, заключается следующая мысль: всякое математическое понятие, всякая математическая задача должна быть так или иначе, или положительно, или отрицательно, объяснена посредством наших аксиом, в зависимости от

<sup>1)</sup> См. сб. «Начала геометрии» в «Нов. ид. в мат.» (испр. перев. из F. Eurigues в Encyclop. math. Wissensch., III, 1).

чего, очевидно, и можно «пополнять» недостающие аксиомы. Этот старый предрассудок, что всякий вопрос теоретически может быть решен или в положительном или отрицательном смысле, нигде и никогда не только в математике, но и в естествознании, буржуазными учеными не подвергался ни малейшей тени сомнения. И когда Гильберт выдвигает, в качестве специфической особенности аксиоматического метода, условие полноты системы аксиом, то он убежден, что иначе и быть не может. Святая буржуазная истина или презренная ложь, а среднего не может быть, — такова вся мудрость его идеализма; для него достаточно того, что ведь доказательство принципиальной неразрешимости какой-либо математической проблемы в строгом смысле никто до сих пор не дал и не мог дать, так как это противоречило бы «закону исключенного третьего». Если же этот «закон», — думает Гильберт, — для нас «сам собой разумеется», то по каждому математическому вопросу у нас должна быть соответствующая аксиома, которая косвенным путем или подтвердит, или опровергнет наше решение.

Но метафизический характер такой постановки вопроса совершенно очевиден не только для материалиста, но и для самих математиков. Против толкования «закона исключенного третьего», как абсолютно непреложного для математики, выступает, напр., школа Брауера. Последний говорит, что любой математический вопрос не только может быть решен положительно или отрицательно, но может оказаться еще «третий» случай, когда станет доказанной его «неразрешимость», и, следовательно, система аксиом в таком случае неизбежно окажется неполной, а мы все же не сможем ее «пополнить». Другое дело — какова аргументация Брауера, все несчастье которого заключается в том, что он не знает метода диалектического материализма. Другое дело — не является ли «неразрешимость» столь же метафизическим понятием, как и понятия формально-логического абсолютизма всяких «законов» «противоречия», «исключенного третьего» и т. д., — это может быть рассмотрено в особой статье, но здесь важно отметить лишь то, что так называемые законы формальной логики встречают энергичное противодействие со стороны самих же математиков и в интересах самой же математики.

Гильберт на это никак не реагирует. На упреки в формализме он указывает, что его теория не формалистична уже потому, что формулы и аксиомы ведь составляют ее... содержание!<sup>1)</sup> Но опасность, которой подвергалось традиционное понимание логики со стороны Брауера и Вейля, очевидно, была так велика, что одному из учеников Гильберта пришлось написать докторскую диссертацию специально на тему: «Обоснование закона tertium non datur» посредством теории Гильберта о непротиворечивости аксиом<sup>2)</sup>. Мы, щадя терпение читателя, не можем сколько-нибудь остановиться на этой диссертации. На сколько она так сказать «убедительна», можно судить по тому, что сперва читатель приглашается принять точку зрения формальной логики, а потом закон исключенного третьего (tertium

<sup>1)</sup> См. выше о статье в „Math. Ann.“, 1922.

<sup>2)</sup> Wilhelm Ackermann, „Math. Ann.“, November 1924.

non datur») «доказывается» посредством законов... формальной логики!

Итак, нельзя говорить, что отсутствие того или иного решения данной математической задачи требует какой-то новой аксиомы в системе аксиом, требует ее «пополнения»: то, что при данных условиях «неразрешимо», может оказаться «решенным» при других условиях, и в то же время одна и та же задача может требовать как положительного, так и отрицательного решения.

4. Возьмем теперь третье требование Гильберта, которое должно всякий раз обосновывать истинность употребляемых аксиом «непротиворечивость». Надо сейчас же сказать, что отсутствие противоречия между аксиомами вовсе не является гарантией их истинности, если входящие в них понятия даны заранее готовыми, как «свободные произведения разума». Скорее, наоборот, непротиворечивость в данном случае является маской, которая никогда не позволяет разгадать тайные намерения почтенного автора, узнать — истинно или ложно то, что он говорит. Раз с самого начала вы признали, что «математика», как «идеальная наука о формах», не нуждается ни в каких опытных наблюдениях, в «поправках» со стороны опыта, то понятно, ничто не мешает вам, во-первых, создавать в своей голове столько аксиом и «доказуемых положений», сколько вам понадобится, во-вторых, вводить путем «определения посредством аксиом» такие понятия, какие вам понадобятся в процессе рассуждения; после этого вы можете «непротиворечиво» развивать данную теорию и заявлять с торжественностью самовлюбленного чудака, что теория верна, метод правилен или что-нибудь в этом роде, ведь аксиомы никогда не противоречат друг другу. Тем не менее непротиворечивость не застрахует вас от «непротиворечивых» ошибок. А что, мягко выражаясь, «ошибки» возможны, показывает теория Георга Кантора, которая как раз основывается на принципе непротиворечивости аксиом.

В самом деле, в одной из статей Георга Кантора мы читаем, между прочим, что «математика в своем развитии совершенно свободна и связана лишь тем само собой разумеющимся условием, что ее понятия должны быть свободны от внутренних противоречий и должны также находиться в неизменных установленных определениями отношениях к образующимся раньше, уже имеющимся налицо и испытанным понятиям<sup>1)</sup>. Логика, которую свято чтит Кантор, была пренебрежена полным уважением к закону непротиворечивости, к непререкаемой «закономерности» формальной логики. Для образования понятия, — поучал Кантор, — необходимо брать некоторую лишнюю каких бы то ни было свойств вещь, которая есть « $A$ » или знак  $A$ , и «прибавить ей закономерным образом различные, даже бесконечно-многие предикаты (свойства), значение которых уже известно из наличных идей и которые не должны противоречить друг другу». После этого, понятно, имеются налицо все условия для пробуждения дремлющего в нас понятия « $A$ », и оно, наконец, появляется на свет.

<sup>1)</sup> Цит. по русск. пер. 1914 г., „Нов. идеи в математике“, сб. 6, стр. 8

С безграничным субъективизмом теснейшим образом сочетается требование непротиворечивости мышления.

Объяснимся, почему требование «непротиворечивости системы аксиом» совершенно непригодно для того, чтобы дать логическое оправдание для аксиоматического метода. Аксиоматика есть логическая теория. Поэтому затруднения, противоречия и провалы ее «носят чисто логический характер».

Непротиворечивость системы аксиом, по мысли Гильберта, должна служить средством проверки, правильно ли ведется нами логическое обоснование данной науки или неправильно. Но очевидно это требование теряет всякий смысл, если оно не будет распространяться не только на систему в целом, но и на каждую аксиому или даже на каждое понятие в отдельности. И, понятно, употребляя термин «непротиворечивость», Гильберт имеет в виду также и каждую аксиому в отдельности, потому что если аксиомы в отдельности будут заключать противоречие, то какой смысл в том, что оно будет отсутствовать между аксиомами? Но в таком случае, аксиоматическая логика г-на Гильберта никогда не сможет логически вразумительно ответить на вопрос, который всякому здесь напрашивается: как доказать внутреннюю непротиворечивость данной аксиомы в отдельности, если, как это делаете вы, отказываетесь от какого бы то ни было отношения к действительности? Гильберту, чтобы быть последовательным, остается ответить, что внутренняя непротиворечивость, каждого понятия в каждой аксиомы гарантируется уже тем, что их образуем-то ведь мы сами. Тогда ясно, что вообще бессмысленно говорить о пресловутой «непротиворечивости». Какой смысл требовать от какого-нибудь логика не допускать противоречия, когда он «движется» от понятия к понятию и «развивает» науку из ее аксиом, если он с самого начала знает, в чем заключается это противоречие, и сам образует нужные понятия и «определения». Но так как Гильберт не может быть уверен, что, употребляя непротиворечивые понятия и выбирая непротиворечивые аксиомы, он избежал противоречия между аксиомами, то на сцену выступает «теория» о необходимости доказательства непротиворечивости всей системы аксиом в целом.

Так возникает мысль о «теории доказательства». Принцип непротиворечивости Гильберт считает отныне основным принципом всякого математического доказательства. Но не трудно понять, почему становится невозможным какое бы то ни было математическое умозаключение, если высшим принципом математических выкладок сделать «доказательство непротиворечивости». В самом деле, допустим, что каждый вывод должен быть обоснован доказательством непротиворечивости системы аксиом всякий раз, как мы к ним присоединяем новую аксиому. Допустим, доказательство непротиворечивости состоит в том, что рассматривают все предложения, которые можно вывести одно за другим из наших аксиом, и показывают, что среди наших аксиом нет пары таких, из которых одно противоречиво бы другому. Но такое доказательство логически (гильбертовски) невозможно, потому что в нем, доказывая непротиворечивость системы, мы пользуемся новыми выводами, не приводя доказательства их непротиворечивости. Какие же пред-

ложения—выводы требуют всякий раз доказательства непротиворечивости и какие его не требуют? Не ответить на этот вопрос, значит молча обречь себя на «порочный круг» (circulus viciosus),—страшный грех, против которого предостерегает «святых» самого Гильберта—формальная логика. В самом деле, мы доказываем отсутствие противоречия между аксиомами благодаря тому, что употребляем такие положения, о которых мы еще должны доказать, что между ними нет противоречия, но последнего доказательства Гильберт как раз и не дает. Это же самая трудность теории Гильберта выражается и в другой не менее характерной форме. Гильберт все время говорит о «доказательстве непротиворечивости». Возможна ли такая постановка задачи? Можно ли доказать отсутствие противоречия? Это—невыполнимая задача. Для такого «доказательства» надо сперва знать, в чем состоит противоречие, и, след., логически это противоречивая задача. То, что противоречие отсутствует, можно доказать лишь окольным путем—проверкой теории на фактах природы. Это возражение приводит нас вплотную к «теории доказательства». Что такое «доказательство» у Гильберта?

Употребляемое Гильбертом слово «доказательство» лишено того смысла, который мы обычно вкладываем в него. Доказательство у него имеет форму некоторого систематического собрания «определений», посредством которых вводятся одно за другим новые понятия, логически вытекающие в конечном счете из аксиом. Ничего нового по сравнению с тем, что выложено в аксиомы, доказательство Гильберта не может дать. Все суждения, употребляемые в доказательстве, суть суждения тождества. Доказать непротиворечивость системы аксиом и вообще любого понятия по Гильберту значит доказать, что аксиомы или данное понятие сами себе не противоречат. Вся теория доказательства есть система формальных правил, как из одного тождества выводить новое тождество. Гильберт прикрывает этот факт тем, что вводит в доказательство в виде посредствующих звеньев «определения», в которых заранее дано то, что нужно доказать, а потом «доказывается»—посредством новых «определений» то, что уже определено. Поэтому Гильберту не увильнуть от той дилеммы, которую Анри Пуанкаре сформулировал еще в 1904 году: «Или вы заранее знали, что такое доказательство и как доказательство может приводить к противоречиям,—в таком случае вы не нуждались в этом определении посредством постулатов («доказуемых формул»). Кроме того ничто не гарантирует вам, что это доказательство, о котором вы заранее знали, что оно такое, есть именно тот пустой символ, который вы условно называете доказательством, но который, по определению, есть лишь то, что удовлетворяет некоторой формуле; или же вы не знали этого заранее, и тогда поставленный вами себе в начале вопрос: «может ли доказательство, основывающееся на этих аксиомах, привести меня к противоречиям?» был абсолютно лишен смысла? В таком случае почему же вы его поставили? Вам будет трудно объяснить это»<sup>1)</sup>. Как видит читатель, замечание Пуанкаре о гильберте

<sup>1)</sup> Rev. de mét. et de mor., t. XIV, p. 25 (русск. пер. в «Нов. идеи в мат.» сб. I).

во всем понимании «доказательства» вполне аналогично нашему замечанию о гильбертовом понимании «непротиворечивости»<sup>1)</sup>. И в том и в другом случае бросается в глаза полная беспомощность «аксиоматического метода» выбраться из логического «порочного круга». Он осужден на непроезжий труд Дедала: сперва определять, благо определения «свободно создает разум», а потом доказывать то, что уже определено.

Теория доказательства в этом смысле хорошо передает одну особенность «аксиоматики»—ее уклон—даже в самой математике—в сторону логики. Доказательство есть логическое понятие, к которому математика прибегает лишь в последнем счете и то не всегда: прежде и больше всего математика констатирует, а не доказывает<sup>2)</sup>; она доказывает тем, что конструирует: аксиоматика не конструирует, а логизирует (анализирует, формализирует и т. д.).

Из всего вышесказанного следует, что для аксиоматики, как и для всякой идеалистической логики, «доказательство» собственной «непротиворечивости» есть неотвратимая задача (unabweisbare Aufgabe)<sup>3)</sup> и в то же время задача неразрешимая, противоречивая, разоблачающая нелепость всей теории. Наткнувшись на непреодолимые затруднения, казалось бы, Гильберт пересмотрит коренным образом свою «философию». Но дело по Гильберту оказывается не так: именно потому, что доказательство непротиворечивости аксиом есть неразрешимая задача, по Гильберту, должна быть аксиоматизирована сама логика<sup>4)</sup>. Гильберт даже приветствует «первую обширную попытку» Ресселя аксиоматизировать логику: аксиоматизирование логики есть венец аксиоматики вообще,—говорит Гильберт<sup>5)</sup>. Другими словами, если доказательство непротиворечивости есть противоречивая неразрешимая задача, то в этом виновата... логика, которая должна быть сама аксиоматизирована, чтобы при ее помощи можно было «обосновать» и «доказать» непротиворечивость аксиом теории множеств. Но достаточно спросить: как доказать отсутствие противоречия в «аксиомах» самой логики?—чтобы вочую убедиться, в какие дебри путаницы и словоблудия заводит гильбертовский принцип непротиворечивости аксиом.

В заключение мы могли бы привести еще замечание Брауера о принципе «отсутствия противоречия». Оно, как хотите, вполне справедливо: он говорит, что непротиворечивость рассуждения так же мало может гарантировать его истинность, как мало оправдывает преступную деятельность то, что она не встречает судебного преследования<sup>6)</sup>.

Резюмируя, можно сказать, что ошибка Гильберта характерна для всех естествоиспытателей, которые идеалистически объясняют применяемый ими метод, забывая происхождение

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 155.

<sup>2)</sup> Ср. H. Weyl, Randbem. zu Hauptprobl. der Math., Math. Zeitschr., 1924: Nicht im Beweis bei gegebener Konstruktion, sondern in der Erfindung der Konstruktion liegt in den weiten Fällen die eigentliche Schnierigkeit.

<sup>3)</sup> „Math. Ann.“, 18, 1917, S. 412.

<sup>4)</sup> Jbid.

<sup>5)</sup> Jbid.

<sup>6)</sup> L. E. J. Brouwer, Über die Bedeutung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten..., Journal f. d. reine u. angew. Math., Bd. 154, 1924, S. 3.



его из опыта и внешнего мира. Гильберт хочет обяснить процесс индуктивного умозаключения посредством одного выхваченного из этого процесса абстрактного момента, именно понятия непротиворечивости. Ошибка в том, что сперва он выхватывает из процесса индукции, анализа и обобщения, из процесса мышления лишь один из его моментов, а потом требует, чтобы процесс мышления в целом подчинялся абстракции, более не существующей в реальном движении и времени. Ясно, что это задача неверная и невыполнимая.

Так обстоит с пресловутой «непротиворечивостью». До сих пор мы следовали за нею в ее странствованиях по логическому лабиринту г-на Гильберта. Но пора пойти дальше тыловым атак: дело в том, что принцип непротиворечивости не только не является гарантией истинности, но наоборот, он есть скорее показатель того, что мы находимся на неправильном пути.

В самом деле, прежде чем выставлять свою аксиому: «закон непротиворечивости», Гильберт должен был поставить и решить более существенный вопрос, с которым прежде всего обратиться к нему всякий добросовестно мыслящий человек: почему вообще вы предпочитаете говорить именно о непротиворечивости, а не о противоречивости? Может быть, «истина» как раз в стороне «противоречивых» понятий? И каковы вообще преимущества «непротиворечивости» перед противоречивостью? Эти вопросы Гильберт не ставит. В этом, конечно, видно не одиозное, но одна наивность: на такие вопросы невозможно ответить аксиоматически.

Между тем в природе мы не замечаем ничего, что говорило бы о гильбертовой «непротиворечивости». Над хаосом бесчисленных изменений в природе господствуют одни и те же законы диалектического движения, открытые Гегелем в мистифицированной форме, а затем в рациональной форме Марксом и Энгельсом. Гильберт требует и «доказывает» «отсутствие противоречия», замечая, что первое же понятие, которое исследует «аксиоматика» теории множеств, есть противоречие. Такова бесконечность, которая постоянно должна разрешаться в конечном, чтобы существовать как бесконечность. Таковы все понятия, в которых выступает бесконечное (бесконечно-малое, бесконечно-большое, минус бесконечность, всякое отрицание и т. д.). Или для Гильберта движение не есть противоречие? Или он может навсегда изгнать математику от — и —? Возможен ли весь анализ, если не принимать прямое и кривое за одно и то же? Противоречие — об этом свидетельствует «каждый шаг естествознания» — не только не есть препятствие, но, наоборот, оно есть «главный рычаг всего умственного прогресса». Обо всем этом не место долгие распространяться — достаточно отослать читателя к соответствующим страницам «Анти-Дюринга» и, если хотите, к новооткрытым рукописям Ленина: «К вопросу о диалектике».

На примере Гильберта важно установить, что понятия «непротиворечивости» и «противоречия» разделяют судьбу во всех употребляемых им понятий, в частности, рассмотренных нами понятий «числа», «бесконечности», «абстракции», «доказательства». Гильберт не замечает, что не что иное, как логиче-

«го собственной «аксиоматики» на каждом шагу противоречит его теории о непротиворечивости аксиом». В самом деле, задача аксиоматики — развить данную науку из ее аксиом — ясно указывает на это. Выводить одно понятие из другого понятия, искать в каждом понятии его внутреннее основание, его «корень» или «аксиому», — все это не было бы возможно, если бы каждое понятие А не было бы в то же время и другим понятием, понятием не-А. Гильберт и вопроса не ставит о природе противоречия, и, в поисках доказательства непротиворечивости своих понятий, впадает сам в формальные противоречия, т. е. бессмыслицу и путаницу. Между тем, в основе логической связи понятий данной науки, в основе логического развития геометрии, из простейших понятий лежит относительная, текучая, подвижная и, след., противоречивая природа самих понятий. Абсолютно только то, что противоречивая природа понятий отражает реальную жизненную противоречивость развивающихся процессов природы.

Поэтому Гильберт просто не отдает отчета в смысле, в логике собственной теории, когда, «развивая науку из ее оснований», рассматривает эти «основания», «формулы», «определения» и т. д., и пр. как неизменные и абсолютные. Если изменимость — основная черта употребляемых в анализе понятий, если даже бесконечность (в анализе, напр.), может сказаться конечной, уступая место новой бесконечности, что же сказать о «непротиворечивости» человеческого рассудка? «Отсутствие противоречия», эта синяя птица гильбертовой математики, имеет право на существование только постольку, поскольку существует противоречие: диалектика противоречия помогает понять относительное значение «непротиворечивости».

5. Говоря о неизменном и абсолютном характере гильбертового толкования собственных математических понятий, мы поднимаем вопрос об особенностях формализма вообще. Между тем последние работы Гильберта обнаружили сильное стремление дать попытку конкретного и, так сказать, «содержательного» толкования математического метода. Читатель знаком с мыслями Гильберта на этот счет и нам остается дать их оценку.

Гильберт не может просто отмахнуться от той очевидной истины, которая гласит, что единственным способом проверить правильность нашего знания является проверка на фактах действительности, на конкретных общеизвестных данных нашего опыта и опыта естествознания. Гильберт соглашательно делает уступку в этом вопросе: он говорит теперь об «inhaltliche Wahrheiten», — «inhaltliches Schliessen», «ein Anschauliche - Sachhaltiges Denken», т. е. как будто признает конкретность и материальность мышления и отвергает пустую форму, вневременную и идеальную. И Вейль<sup>1)</sup> иронизирует: «Может быть, в этом вопросе Гильберт занимает более радикальную точку зрения, чем Брауер» (отвергающий всякую наперед данную «аксиому», в смысле Гильберта). Но, как известно, аксиоматика — что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Математика Гильберта своим предметом делает формулы и аксиомы математики и логически оперирует

<sup>1)</sup> „Math. Zeitsch.“ (20) 1924.

над этими предварительными опустошенными формулами, как если бы дело шло о конкретных фактах. На самом деле «конкретность» и «материальность» у Гильберта — чисто бутафорские понятия, новые словечки, ничего не меняющие в сути аксиоматического понимания мышления. Скорее наоборот, именно то, что конкретность и материальность аксиоматики дается формулами, а не содержанием понятий, еще резче подчеркивает ее формалистически-бесплодную сущность, ее неспособность помочь нам прийти от известного к неизвестному, короче, дать нам знание. Действительно, аксиоматика может дать что угодно, только не знание. Мы «знаем» определенные правила, как из аксиом выводить определения, как от определенных переходить к формулам, как доказывать формулы из аксиом, как проверять и выбирать аксиомы, но это знание есть знание правил игры, которые можно как угодно комбинировать, но которые даны заранее, органически раз навсегда, рамками и характером данной определенной игры. Такие правила не могут быть орудием исследования, орудием отыскания неизвестного; метод Гильберта есть игра в формулы, и сравнение с шахматами, которое сделал Герман Вейль, здесь действительно напрашивается всем развитием аксиоматики.

## Шахматы.

1. Фигура.
2. Расположение фигур на доске.
3. Исходное положение.
4. Правила хода.
5. Допускаемое правилами игры положение (которое вытекает из исходного расположения на основании правил хода).
6. Положение, при котором выступают 10 ферзей одного цвета.

Последнее положение в шахматной игре невозможно так же, как, по Гильберту, противоречие в аксиоматике. В шахматной игре это понятно, так как мы знаем, что общее число пешек или ферзей никаким ходом не может быть увеличено; аксиоматика такого знания относительно недопустимости противоречия не дает. С этой целью и притянул Гильберт за уши «материальное умозаключение», «конкретные выводы», и, как мы видели, на этом пути он мог дать, если не бутафорский эмпиризм, то правила игры, а не исследования. «Ich spiele nicht mehr», мы могли бы сказать в таком случае Гильберту.

6. Нам остается рассмотреть еще так называемую аксиому «бесконечности» Гильберта (см. о ней выше). В этой аксиоме Гильберт допускает, что существует такой элемент  $m$  множества  $M$ , что, если он обладает признаком  $A$ , то и все элементы обладают этим признаком. Единственный аргумент, который приводится Гильбертом в пользу своей «аксиомы», состоит в следующем ошелмляющем примере. Пусть множество  $M$  есть множество людей, а признак  $A$  состоит в подкупности; тогда элементом  $m$  будет человек, у которого было бы столь сильно развитое сознание честности, столь ненарушимая норма

длительность, что если бы он оказался подкупным, то и все люди должны оказались подкупными<sup>1)</sup>.

Илишнее говорить, что этот смехотворный пример годится только для какого-нибудь обывателя, и уж, конечно, ему не место в серьезном математическом журнале, из которого мы его заимствуем. Но пример Гильберта интересен тем, что в нем концентрируются и ярко отражаются все принципиальные ошибки и, как мы еще увидим, все достоинства его позиции. Своим примером Гильберт хотел «объяснить» аксиому Цермело о выборе иррациональных элементов из бесконечного множества, а на деле показал, что единственный выход из той путаницы, в которой Цермело увяз со своим понятием «выбирания элементов» (признаку  $B$  и о которой мы достаточно говорили<sup>2)</sup>), состоит в том, чтобы обратиться к давно испытанному церковными мудрецами средневековой философии понятию об «ens realissimum», о «совершеннейшем существе». В самом деле, как позволите понимать — человек со столь сильно развитым сознанием честности, что если бы он оказался нечестным, то и все люди должны оказались нечестными? Всякий видит, что если в этом видеть констатирование какого-нибудь факта, то в действительности мы вовсе не замечаем такого факта. Очевидно, Гильберт имеет в виду некоего сказочного человека, который самим фактом своего «подкупного» существования доказывал бы подкупность всех остальных людей. Вольному воля! Но если от «библейских мотивов» перейти к «скучным песням» земной математики; то здесь никакие «сказки небес» не скроют того факта, что понятие такого признака, который принадлежит всем элементам бесконечного множества только потому, что он принадлежит одному элементу, весьма смахивает на... доказательство бытия бога по методу схоластического учителя церкви Ансельма Кентерберийского (1033—1109). Сей мудрый епископ, многие положения которого до сих пор находятся в полной сохранности в багаже католической церкви, писал в своих трактатах «истины», ничуть не уступающие гильбертовой «аксиоме неподкупности».

## Ансельм:

1. Существует бог, который по своему понятию есть совершеннейшее существо.
2. Если бы совершеннейшее существо не обладало реальностью, то оно не было бы совершеннейшим.
3. Бог обладает реальностью.

## Гильберт:

1. Существует предикат  $A$ , который по своему понятию есть совершеннейшее развитие предмета  $\tau$  ( $A$ ).
2. Если бы совершеннейший предикат предмета  $\tau$  ( $A$ ) не принадлежал в сем предметам  $\tau$ , то он не был бы совершеннейшим развитием предмета  $\tau$  ( $A$ ).
3. Предикат  $A$  принадлежит всем предметам  $\tau$ .

Другими словами, понятие «бесконечного множества» («всех предметов  $\tau$ ») таково, что оно логически предполагает свое существование. Об элементах бесконечного множества можно рассуждать так, как об элементах конечного множества, т. е. по закону «исключенного третьего». Цермело говорил прямо и просто: «существует бесконечное множество», а на деле выхо-

<sup>1)</sup> „Math. Annal.“, 88, 1922, S. 156.

<sup>2)</sup> „Под Зн. М.“ 1925, № 7, стр. 23 сл.



из фактов и предметов и требует, чтобы понятия соответствовали предметам, а логическая связь между понятиями — фактам. Неудивительно, что в конкретном разборе конкретного хода исследования данной науки Гильберт-ученый принужден оговариваться, что не всегда приемлем метод Гильберта-философа. Напр., тот факт, что «пространство, находящееся внутри атома, мы измеряем «земной» метрической мерой, или расстояния между небесными телами в мировом пространстве путем сложения «земных» измеренных нами расстояний, — не может быть просто логическим выводом, но должен быть установлен не иначе, как в «результатах эмпирического исследования». Так говорит Гильберт-ученый. Но таковы и все узловые моменты в той цепи понятий, которая образует данную науку. Если из закона параллелограмма сил Гильберт хочет вывести всю статику чисто-логическим путем, то это возможно не потому, что данная наука есть создание чистой мысли, но потому, что, во-первых, самый-то закон параллелограмма сил нельзя доказать логически, нельзя иначе доказать, как в результате эксперимента, а, во-вторых, логическая зависимость остальных статических законов от этого закона есть лишь отражение естественно-закономерной связи тех фактов действительности, которые изучает статика. Наконец, развитие науки возможно опять-таки благодаря тому, что новый удачный эксперимент отбрасывает старую теорию, а не потому, что мы производим логическую переоценку старой аксиом (добавляем новую, выбрасываем старую, сводим друг к другу и т. д.).

Не только Гильберт-ученый, но и не менее выдающийся ученый, с которыми ему неоднократно приходится полемизировать, сдерживают идеалистический пыл Гильберта-философа. Таковы Дуанкаре, Алоиз Мюллер, Вейль, Брауер. Эти ученые, как и Гильберт, пытаются горячие симпатии к разнообразнейшим формам философского идеализма, но если, отрезав математическую голову, разобраться в их философских хвостиках, мы заметим то самое шатание мысли между идеализмом и естественно-научным материализмом, которое характерно для Гильберта и которое в широчайшем масштабе было прослежено Лениным у современных философов в ряде глав «Материализма и эмпириокритицизма».

Но Гильберт именно тем интересен, что характеристика его теории не может ограничиться простым указанием на шатание его мысли, колебания, двойственность и т. д. И в «Основах геометрии», и в «Основах физики», и в многочисленных фактических данных, которые приводит Гильберт, из современного естествознания, не трудно отыскать зерно истины величайшего значения. Вспомним предшественника Гильберта по теории множеств — Цермело и того, которому последний следовал — Кантор. Все своеобразие, величайшее значение Кантора для математики мы в своем месте усмотрели в том, что он внес принцип арифметизма в область бесконечно-больших чисел. Непрерывность бесконечно-малых величин требует перерыва постепенности именно потому, что сама непрерывность должна быть дана наперед, как некоторая «область» изменения: это именно «прерыв» постепенности и представился Кантору, как определенное специфическое качество данной непрерывности, данной количественной последовательности. Это качество, как закон последовательности, и коли-

чественная последовательность, как непрерывность, Кантор мыслил едиными, нераздельными: понятие «актуальной бесконечности» и выражает это единство «области» изменения, «качества», как предела, и переменной, как количественной последовательности. Таким образом «бесконечному конечному» анализу Кантор противопоставил «конечное бесконечное» своей теории множеств. Признание относительности всякой бесконечности было отныне в математике прочно завоевано. Этот вывод и был сделан Цермело: конечное и бесконечное относительно, ибо бесконечное может стать таким же «неделимым», как и конечное. Но Цермело не ответил и с своей атомистической точки зрения не мог ответить на вопрос: может ли также и конечное в свою очередь содержать в себе бесконечное? или иначе: может ли элемент содержать в себе множество?

Особенность же теории Гильберта в том, что там, где Кантор и Цермело видели только «завершенные» и «непрерывные», «атомы» и «области», он увидел продолжаемость, развитие, движение. Относительность всякой бесконечности в руках Гильберта фактически свелась к относительности всяких математических понятий. В «Диалектике природы» Энгельса мы находим множество примеров математической относительности, переходов, переливов, текучести математических понятий. «Ничто, кажется, не покоится на такой непоколебимой основе, как различие между четырьмя арифметическими действиями, являющимися элементами всей математики. И однако умножение является сокращенным сложением, деление — сокращенным вычитанием определенного количества одинаковых чисел; а в известном случае — если делитель есть дробь — деление заменяется умножением на обратную дробь. В алгебре идут еще дальше этого. Каждое вычитание  $(a-b)$  можно рассматривать, как сложение  $(-b+a)$ , каждое деление  $\frac{a}{b}$ , как умножение  $a \cdot \frac{1}{b}$ . При действиях со степенями идут еще дальше. Все неизменные в различиях способов вычисления исчезают, все можно изобразить в противоположном виде»<sup>1)</sup>. «Единица, как бы она ни казалась тождественной самой себе, заключает в себе бесконечное многообразие, ибо она не может быть нулевой степенью любого другого числа; а что это многообразие отнюдь не мнимое, обнаруживается во всех случаях, когда единица рассматривается, как определенная единица, как одна из переменных результатов какого-нибудь процесса (как моментальная величина или форма некоторой переменной) в связи с этим процессом»<sup>2)</sup>. «Ничто не кажется проще, чем количественная единица, и ничто не многообразнее, чем последняя лишь только мы начнем изучать ее в связи с соответствующим множеством, с точки зрения различных способов происхождения ее из последнего. Единица — это, во-первых, основное число всей системы положительных и отрицательных чисел, благодаря последовательному прибавлению которого, к самому себе возникают все другие числа. Единица есть выражение всех положительных, отрицательных и дробных сте-

<sup>1)</sup> Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, под ред. Д. Рязанова, кн. II, стр. 53.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 55. Курсив везде наш.

пней единицы:  $1^2$ ,  $\sqrt{1}$ ,  $1^{-2}$  все равны единице. Единица есть значение всех дробей, у которых числитель и знаменатель равны. Она выражение всякого числа, возведенного в степень нуля, и поэтому она единственное число, логарифм которого во всех системах один и тот же. Таким образом единица есть граница, делящая на две части все возможные системы логарифмов: если основание больше единицы, то логарифмы всех чисел, больших единицы, положительны; всех чисел, меньших единицы, — отрицательны; если основание меньше единицы, то дело происходит наоборот. Таким образом, если каждое число содержит в себе единицу, поскольку оно состоит из одних лишь приданных друг другу единиц, то единица в свою очередь содержит в себе все другие числа»<sup>1)</sup>.

В этом замечательном рассуждении Энгельса дается простейший пример логической связи понятий, текучести и переходов их в логическом строении науки. Гильберт приводит в своих работах множество фактов, показывающих внутреннюю связь понятий данной науки, и против этого не только нельзя возражать, но к этим фактам даже следует добавить неисчислимое множество других. В этом отношении мы с Гильбертом сходимся. Расхождение начинается в тот момент, когда Гильберт начинает «истолковывать» эти факты. На основании их Гильберт думает, что можно и дальше двигать науку, развивая ее понятия, выводя ее по логическим законам из простейших понятий. Ошибочность этой теории, как мы уже говорили выше, в том, что внутренняя связь понятий в ней сперва выводится из внутренней связи эмпирических фактов, а затем она же требует дальнейшего развития понятий, забывая об этих фактах. Всеобщая связь понятий в математике, геометрии, механике, химии, физике и т. д. есть реальная связь всех явлений в природе. Когда логика умозаключает отсюда к относительности всех понятий, то она лишь отражает реальную относительность всех явлений в природе.

Не зная диалектики, Гильберт беспомощен, когда он, как ученый, сталкивается с огромной массой именно таких фактов, для понимания которых только и нужен метод диалектического материализма. Идеалистическая точка зрения тоже верна себе в логике своего развития: это видно уже в том, что она в лице Гильберта не только не закрывает глаз на движение и развитие в области понятий, но и пытается их объяснить; она объясняет развитие понятий, как наше искусство развить их, искусство комбинировать их как угодно; объективная логика этой мысли в своем развитии приводит к неразрешимым противоречиям, к бесчисленным выводам, к путанице и к нелепой схоластической мистике. Наоборот, материализм объясняет не только развитие понятий, но и заблуждения самого идеализма. Он объясняет развитие понятий тем, что показывает его объективную необходимость, его двигательную силу, показывает его в самой жизни, в его живой жизни. Идеалист привык мыслить по шорам («по законам логики»), и ему кажется, что для понимания логического процесса, напр., развития теории математи-

<sup>1)</sup> Ibid., стр. 207.

ки, нужно построить специальную, какую-то новую логику — «аксиоматическую». Как ученый, такой идеалист инстинктивно чувствует полную недостаточность формальной логики, но, как идеалист, такой ученый стремится отделиться от формальной логики на ее же собственной, формальной логике, почве, стремится противопоставить формальной логике новую якобы реформированную логику в рамках той же самой формальной логики, подобно тому идейные революционеры XVI и XVII вв. боролись с религией на почве религии и даже пользуясь языком религии.

Материалист отыскивает в самой природе душу развития, его «источник», его продолжаемость и прерывность. Идеалист переносит необходимость движения в сознание, в мысль, как это делал Цермело, или в бога, как мы видели у Гильберта. Вот почему относительность множества (и бесконечности) у Цермело была субъективной односторонней: он никак не мог себе представить, что и любой элемент может заключать в себе множество. Вот почему и Гильберт, хотя и обращает внимание на все, что осталось невыясненным у Кантора и Цермело, «продолжает» их дальше, открывает необходимые понятия — именно, последовательность элементов, движение, развитие, — но Гильберт переносит необходимость развития понятий в сознание субъекта и попадает в ту самую ловушку «формальной логики», которую он поставил своей «теорией непротиворечивости».

## Сила, которая поддерживает аэроплан<sup>1)</sup>.

V. Bjerknes.

### По поводу статьи Ф. Бьеркнеса.

Шумный успех, который выпал на долю теории Эйнштейна, все более и более отвлекал внимание от того революционного движения в физике, которое связывается обыкновенно с именем Фарадея и Максвелла. С легкой руки сторонников «чистого описания» между механикой и электродинамикой как будто вновь стали видеть пропасть. Но из этого нельзя сделать заключения, что последователи Фарадея и Максвелла исчезли с нашей планеты—они продолжали работу, как бы уйдя в «подполье» в том смысле, что их работы оставались в тени, хотя они и печатались в самых распространенных журналах. На них почти не обращали внимания—таково было влияние «моды». Теперь в наши дни, после опытов Дейтон-Миллера, нанесших удар по теории Эйнштейна и показавших, что «действие на расстоянии» сдано в архив физиками уже в половине XIX столетия, не так то легко воскреснуть, хотя бы и на почве самых революционных теорий—невольно приходится прислушиваться к голосу из «подполья». В этом отношении крайне любопытна появляющаяся в нашем журнале статья Ф. Бьеркнеса, одного из крупнейших представителей школы Фарадея—Максвелла. В этой статье Бьеркнес напоминает о том глубоком сходстве, какое существует между механикой, правильнее гидродинамикой, и электромагнитным полем. Эту аналогию не видели, вернее не хотели видеть, последователи Эйнштейна. Помимо чисто теоретического философского интереса, необходимо отметить, что эта аналогия электромагнитных явлений и механики позволяет производить практические расчеты аэропланов и может дать толчок для дальнейшего развития теоретической основы авиационного дела<sup>2)</sup>.

А. Тимирязев.

Под таким заглавием напечатана в англ. журнале «Nature» №№ 2865—2866, 1924 г., речь профессора V. Bjerknes из Бергена (Норвегия). Содержание этой статьи далеко не охватывается ее заглавием. Статья представляет очень широкий интерес; она

<sup>1)</sup> Настоящая статья представляет собой перевод статьи Бьеркнеса с некоторыми дополнениями, разъясняющими основную мысль автора. Перевод дополнения сделаны тов. А. И. Морозкиным.

<sup>2)</sup> Аналогия эта была уже использована при построении двигателя Флетнера, представляющего вертикальный вращающийся цилиндр, установленный на лодке; лодка, снабженная этим двигателем, идет под прямым углом к направлению ветра.

получилась в результате исследований очень далеких от вопросов авиации; можно сказать, что к аэроплану пришло, занимаясь философским вопросом о том, правы ли материалисты, не допуская возможности действия тел на расстоянии, как допускал это Ньютон. Занимаясь этим вопросом, отец V. Bjerknes'a С. Bjerknes доказал, что сила ньютоновского притяжения могла бы появляться в мире, наполненном несжимаемой жидкостью, вследствие пульсации тел<sup>1)</sup>; тогда появилась бы сила, обратно пропорциональная квадрату расстояния.

Изучение скоростей жидкости окружающей пульсирующие тела, привело к аналогии между полем гидродинамическим (в жидкости) и электромагнитным. Оказалось, что скорости в гидродинамическом поле около пульсирующих тел те же, как силы около магнитных полюсов.

Изучение этой аналогии показало, что мы можем, имея какое-нибудь гидродинамическое явление, найти соответствующее явление электродинамическое и, зная законы этого явления, сразу определить законы гидродинамического явления. Между прочим мы можем, как показал V. Bjerknes, определить формулу подъемной силы аэроплана из формулы, выражающей действие электромагнитного поля на проводник, по которому идет ток.

Бьеркнес справедливо указывает на плодотворность сравнительного изучения указанных двух областей науки и указывает ряд вопросов, где можно применить этот метод.

Мы излагаем статью Б. с пропусками некоторых мест, имеющих второстепенное значение, и с добавлением некоторых рисунков, взятых из давнишней книги Bjerknes'a «Поле сил».

Силы, поддерживающие аэроплан,—говорит Bjerknes,—сейчас исследуются самым интенсивным образом как теоретически, так и экспериментально. Исследования привели к одному поразительному результату, а именно—силы, дающие нам возможность летать, относятся к числу сил, открытых много лет тому назад до времени авиации. Их существование было предсказано математически, и эти предсказания были подтверждены опытами.

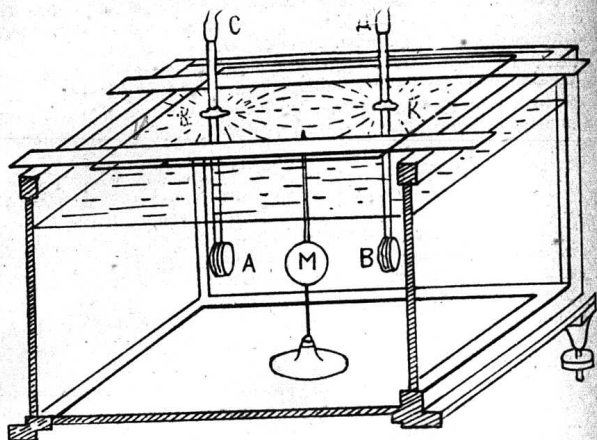
### 1. Прямая геометрическая и обратная динамическая аналогия между гидродинамическим и электромагнитным полями.

Эта давно существующая теория и давние опыты относятся к так называемому гидродинамическому действию на расстоянии.

«Еще 30 лет тому назад учение Ньютона о действии на расстоянии продолжало вполне господствовать по крайней мере на континенте. Работы, о которых я буду говорить, относятся к этому времени. Мой отец С. Bjerknes не мог примириться с этой доктриной, когда он был студентом в Христиании около 80 лет тому назад. Десять лет спустя он получил возможность ознакомиться с новейшими исследованиями по гидродинамике. Они указали удивительный факт: сферическое тело может двигаться в несжимаемой жидкости, не испытывая никакого сопротивления. Этот парадокс был в его глазах важным фактом для решения

<sup>1)</sup> Пульсирующим телом называется, например, шар, центр которого неподвижен, а объем изменяется: то расширяется, то сжимается. Этого можно достигнуть периодическим вдуванием или высасыванием воздуха из резинового шарика. Тела неизменной формы, колеблющиеся около какого-нибудь положения, называются «осциллирующими»; как видно будет ниже, они производят одинаковый эффект в окружающей жидкости, как и «пульсирующие».

вопроса о действии на расстоянии. Учение последователей Ньютона было подорвано: они утверждают, что промежуточная среда должна остановить всякое движение. Теперь этот аргумент отпадает, как ошибочный. Предположение, что пространство наполнено некоторой средой, не противоречило первому принципу динамики—закону инерции».



Черт. 1.

«Направивалась другая идея: не может ли та же самая среда передавать действие одного тела на другое—быть источником кажущегося действия на расстоянии? Нельзя ли добиться ответа на этот вопрос, решая задачу об одновременном движении двух или более тел в жидкости—для облегчения математического вычисления самой простой формы—сферической или цилиндрической?»

Условия, в которых работал мой отец, были не благоприятны, но он упорно занимался этим вопросом, и через 25 лет он имел полное решение задачи, подтвержденное рядом точных опытов.

Результатом было то, что обнаружилась замечательная аналогия между полем скоростей жидкости и полем электрических и магнитных сил.

Тела производят поля скоростей того же самого геометрического строения, как электрические или магнитные поля.

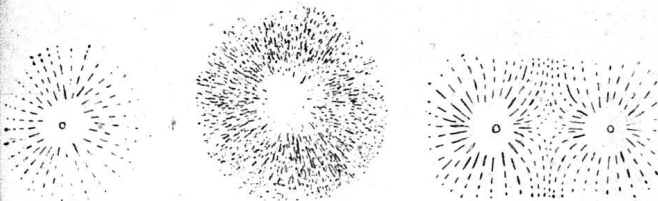
Более того, они производят друг на друга кажущиеся действия на расстоянии равные, но, что всего интереснее, противоположное действию соответствующих тел в электрическом или магнитном поле».

Движения тел, вызывающие силы притяжения или отталкивания по закону Ньютона, могут быть, как мы сказали уже, или пульсации—периодическое изменение объема тела, или осцилляции—колебания тела около какой-нибудь точки.

На черт. 1 представлен прибор, при помощи которого Бьеркнес изучал гидродинамические поля около пульсирующих тел. В

стеклянную коробку помещались 2 тела А и В, имеющие форму цилиндров. Боковые поверхности их были со складками наподобие кузнечных мехов или гармоник так, что верхние и нижние основания могли приближаться и удаляться друг от друга.

При дувании и высасывании воздуха из цилиндров при помощи трубок СА и DV эти цилиндры пульсировали—сжимались и расширялись в направлении соединявшей их линии АВ. Между цилиндрами на упругом стержне помещается шар М.



Черт. 2.

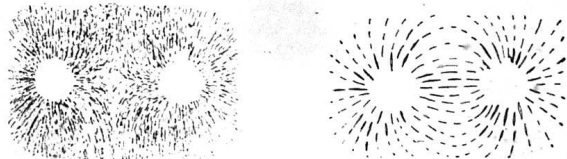
Черт. 3.

Черт. 4.

Вообще колебания частиц воды столь малы, что не могут привести в движение этого шара. Но если подобрать его массу и длину стержня так, что его собственные колебания будут иметь тот же период, что и колебания частиц воды, то он придет в движение и будет своим верхним острым концом проводить ту или другую черту на стекле КК.

Черт. 2 дает гидродинамическое поле около одного пульсирующего тела, и это поле одинаково, как видим из сравнения черт. 3, с магнитным полем около магнитного полюса. Интересно заметить, что хотя пульсации проходят только в одном направлении—по оси цилиндра, жидкость приходит в движение по всем направлениям с одинаковыми скоростями.

Черт. 4 дает гидродинамическое поле около 2-х тел, пульси-



Черт. 5.

Черт. 6.

рующих одинаково, т.е. одновременно расширяющихся и сжимающихся. Это поле одинаково с предгавленным на черт. 5 магнитным полем двух одинаковых магнитных полюсов.

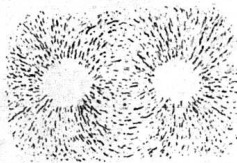
Черт. 6 дает поле 2-х противоположных пульсирующих тел: когда одно расширяется, другое сжимается; черт. 7 дает поле двух противоположных магнитных полюсов. Как видно, они также одинаковы.

На черт. 8 и 9 представлены поля около тела, совершающего короткие колебания и поле около короткого магнита.

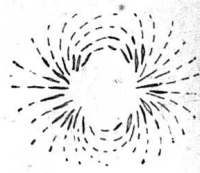
Эти чертежи иллюстрируют так называемую прямую геометрическую аналогию.

Обратная динамическая аналогия состоит в том, что силы, соответствующие этим полям, противоположно направлены, т. е. чертежу 4 соответствуют силы притяжения; в то же время чертежу 5 соответствуют силы отталкивания.

Чертежу 7 соответствует притяжение, а черт. 6 отталкивание. Существуют таблицы перехода от формул электродинамики



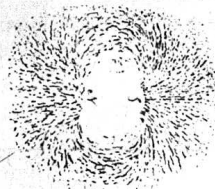
Черт. 7.



Черт. 8.

к формулам гидродинамики, дающие правило замены гидродинамических величин электродинамическими.

Кроме вибрирующих тел и вращающиеся цилиндры также дают поле, аналогичное тому полю, которые дают электрические токи, идущие по проволокам.



Черт. 9.

Поэтому 2 параллельно расположенные цилиндра, вращающиеся в жидкостях в одну сторону, отталкиваются, вращающиеся в разные стороны притягиваются диаметрально противоположно тому, как действуют друг на друга параллельные токи, идущие в одну или в разные стороны.

Замечательно, что притягивающая или отталкивающая сила возникает в тот момент, когда начнется движение, а спустя некоторый промежуток времени, необходимый для распространения движения в жидкости.

## 2. Возможный способ постройки аэроплана.

«Когда мой отец, — продолжает V. Bjerknæs, — показывал свои опыты, его часто спрашивали, может ли он представить практическое значение этих опытов. Он всегда отвечал: «это не мое дело». Когда спрашивающий, почти извиняясь за свой вопрос, прибавлял: «Ведь из сил всегда можно сделать какое-нибудь употребление», отец говорил: «Против этого ничего нельзя возразить, нет границ применению сил».

Возвращаясь к этому вопросу 40—50 лет спустя, мы сразу видим приложение вращающихся цилиндров. Опыт удается одинаково хорошо в воздухе и в воде. Правда, в воздухе сила уменьшается пропорционально плотности, но мы можем компенсировать это уменьшение увеличением скорости вращения. Вращающийся цилиндр должен перемещаться перпендикулярно к ветру.

производимому другими вращающимися цилиндрами или каким-нибудь другим способом точно так же, как проводник с электрическим током смещается перпендикулярно к направлению магнитного поля, чем бы ни было вызвано это поле. Вращающийся цилиндр перемещается в ту сторону, где движение цилиндра совпадает со скоростью воздуха, между тем как ток перемещается в ту сторону, где его поле противоположно внешнему полю.

Мы можем, следовательно, использовать наш вращающийся цилиндр для того, чтобы подняться на воздух. Для этого при наличии горизонтального направления ветра поместим горизонтально и перпендикулярно к направлению ветра цилиндр, вращающийся так, что его нижняя часть движется против ветра, а верхняя по ветру. Если мы устроим, что какая-нибудь сила удерживает его от движения по ветру, то цилиндр будет подниматься вверх, как будто притягиваемый сверху вращающимся в противоположную сторону цилиндром. Пользуясь аналогией, мы можем подсчитать силу на единицу длины цилиндра. Сила магнитного поля на единицу длины тока выражается формулой:  $F = \mu i H$ , где  $\mu$  есть магнитная проницаемость среды,  $i$  — сила тока и  $H$  — напряжение магнитного поля. Чтобы перейти к гидродинамическим силам, нужно заменить <sup>1)</sup>:

$H$  через скорость  $v$   
 $\mu i$  через — плотность  $\rho$   
 $i$  через циркуляцию  $\Gamma$   
 получим  $F = \rho v \Gamma$

Циркуляцией  $\Gamma$  называется следующее: пусть мы имеем окружность, вращающуюся около своего центра. Каждая точка окружности имеет одну и ту же скорость  $v$ , направленную по касательной к окружности. Произведение из длины окружности на скорость  $v$  и называется циркуляцией  $\Gamma$ . Мы видим, что  $\Gamma$  получается аналогично получению работы по какому-нибудь пути, только вместо силы входит скорость. Можно бы сказать: циркуляция есть работа силы равной скорости. Циркуляцию взять по любому контуру.

Для окружности цилиндра циркуляцию мы можем вычислять, умножив длину окружности на скорость.

Положим, мы имеем цилиндр, окружность которого один метр и скорость на окружности 1 метр в секунду.

Пусть также скорость ветра 1 метр в секунду. Тогда, принимая, что плотность воздуха в 1000 раз менее плотности воды, мы получим силу давления на единицу длины цилиндра по формуле  $F = \rho v \Gamma = \frac{1}{10}$  кг.

Цилиндр в 10 метров длины даст килограмм. Если довести окружную скорость от 1 до 10 метр., получим 10 кг; при возрастании скорости ветра до 10 метр. в секунду, получим 100 кг. Оставляя угловую скорость неизменной и увеличивая длину окружности цилиндра с 1 до 10 метр., мы получим подъемную силу в 1000 кг. и т. д.

<sup>1)</sup> Heaviside Electromagn. theory, vol. 1, p. 233.



Вместо того, чтобы заставлять цилиндр подниматься при ветре, мы можем двигать его вперед в неподвижном воздухе. Тогда у нас получится аэроплан, у которого вращающийся цилиндр заменяет крылья и, как показывают произведенные выше расчеты, такой аэроплан может дать очень заметную подъемную силу, если вся циркуляция с окружности цилиндра передается в воздух через трение.

Только опыт может дать точные указания на этот счет. Такие опыты произведены, как известно, в Геттингенском У-те. Подъемная сила, получаемая при вращении цилиндра в потоке воздуха, оказалась настолько значительной, что ее оказалось возможным применить для приведения в движение морских судов<sup>1)</sup>.

Конечно, можно было бы получить таким образом и подъемную силу аэроплана, но лобовое сопротивление вращающегося цилиндра больше сопротивления крыла аэроплана.

Технические трудности постройки такого аэроплана очевидны. Главный интерес есть и будет, вероятно, теоретический: это пример, иллюстрирующий зависимость летания от гидродинамического действия на расстоянии. Чтобы видеть связь этого теоретически очень простого аэроплана с реальным аэропланом, мы должны подойти к некоторым результатам опытов в аэродинамических лабораториях.

### 3. Автоматическое получение поддерживающей циркуляции.

Здесь мы встречаемся с эффектом трения, которое не содержалось в изложенной теории. Мы исходили из парадоксального предположения, что сферическое тело, движущееся с постоянной скоростью через вязкую жидкость, не испытывает согласно уравнениям гидродинамики никакого сопротивления.

Что же является тогда причиной всегда испытываемого сопротивления, которое, по видимому, слишком велико, чтобы его можно было объяснить влиянием малой вязкости? Причиной является образование вихрей позади тела. Образование этих вихрей было исследовано главным образом Прандтлем и его школой в аэродинамической лаборатории в Геттингенском У-те.

Как требует теория, вихри никогда не возникают внутри самой жидкости. Однако, как бы ни была мала вязкость жидкости, всегда есть тонкий слой, примыкающий к поверхности тела, в котором жидкие массы испытывают сильное прилипание. Это прилипание нарушает симметрию движения спереди и сзади цилиндра.

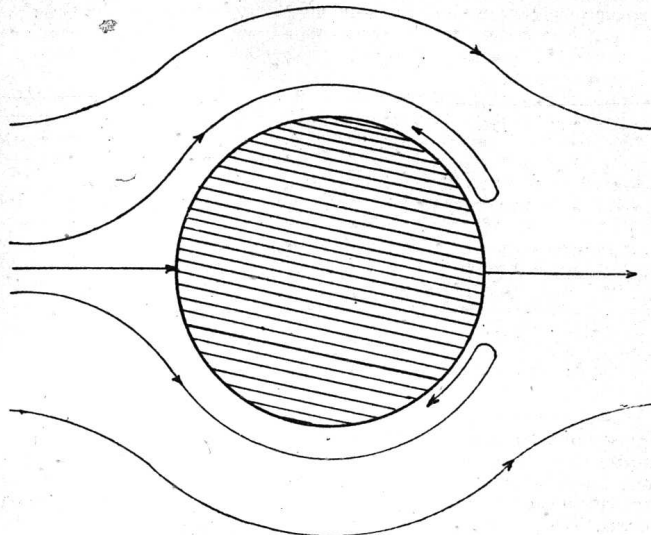
Задержанные в своем движении жидкие массы постепенно собираются сзади цилиндра, образуя там 2 вихря (черт. 10).

Время от времени эти вихри отрываются по очереди с одной и другой стороны, давая цепочки вихрей (черт. 11, опыты Ланчестера). Сопротивление, испытываемое цилиндром, зависит от скорости, затраченной на образование этих вихрей.

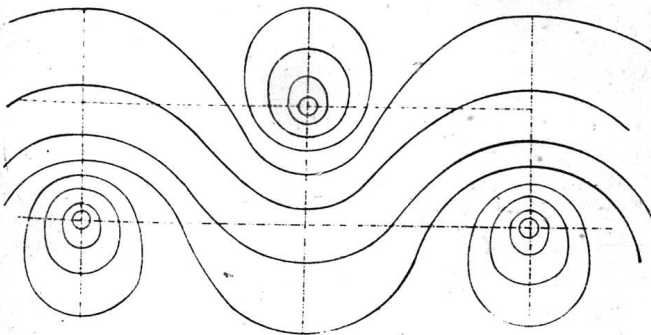
Теперь заменим круглый цилиндр эллиптически наклонным к потоку. Так как симметрия нарушена, подветренные наветренные вихри образуются и отрываются при разных условиях.

<sup>1)</sup> Цилиндр ставится вертикально, тогда судно идет по направлению, образуемому прямой углом к направлению ветра (способ Флетнера).

Наветренный вихрь уносится вместе с потоком, в то время, как подветренный вихрь (сверху крыла) остается присоединенным к цилиндру, образуя кругом него циркуляцию. Поддержи-



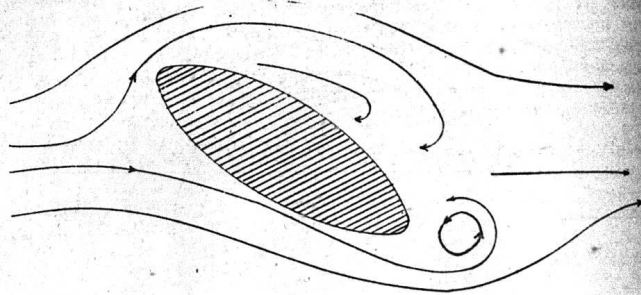
Черт. 10.



Черт. 11.

вающая сила наклонной пластинки является исключительно следствием циркуляции кругом пластинки—основной факт аэродинамики, впервые установленный Ланчестером и потом выраженный математически Кутта и Жуковским (черт. 12 и 13).

Формула Жуковского есть та же формула, которую мы только что вывели из аналогии гидродинамики и электромагнитного поля: она действительна для крыльев всяких сечений и для циркуляции всякого происхождения, не только для круглого вращающегося цилиндра в нашем воображаемом аэроплане.

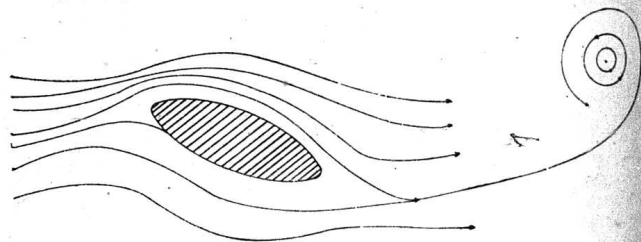


Черт. 12.

Различие между воображаемым аэропланом с вращающимся цилиндром и применяемым на практике аэропланом с наклонными крыльями сводится к следующему: вращение цилиндра мы производили систематически способом, которым мы можем контролировать циркуляцию, являющуюся условием подъемной силы. В обыкновенном же аэропланном крыле циркуляция возникает сама собой, благодаря не симметричности крыльев.

#### 4. Индуцированное сопротивление.

Из гидродинамической аналогии мы вывели силу, поддерживающую аэроплан. Но кроме поддерживающей силы существует

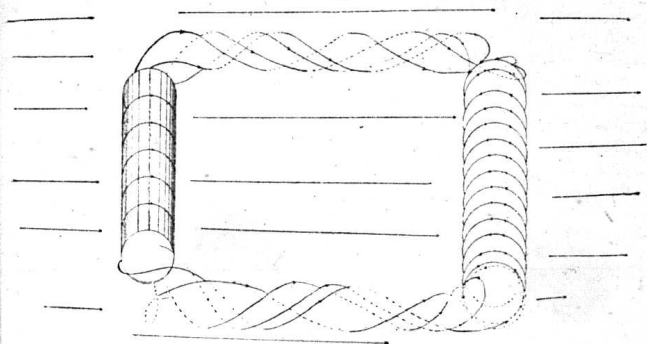


Черт. 13.

еще лобовое сопротивление, для которого аналогия также дает теорию. Каждый вихрь, который аэроплан оставляет за собой в воздухе, представляет из себя ток, который оказывает действие на тот главный ток, который несет аэроплан.

Черт. 14 показывает схематически систему вихрей, которые каждый аэроплан оставляет за собой; именно наветренный вихрь, который соскакивает с аэроплана, и остается сзади и шнуры с осями параллельными ветру, которые соединяют концы наветренного вихря с концами подветренного, оставшегося на крыле. Концы этих шнуров сзади смыкаются и получается замкнутый вихрь в форме четырехугольника, 2 стороны которого имеют постоянную длину, в то время как длина 2-х других возрастает со скоростью аэроплана относительно воздуха. То, что авиационные инженеры называют наведенным сопротивлением, может быть рассматриваемо, как гидроэлектрическое притяжение той части вихря, которая остается сзади аэроплана в воздухе, на ту часть, которая соединена с крылом. Аналогии с электромагнетизмом позволяют нам непосредственно написать формулы этой силы.

Теория гидродинамического действия на расстоянии, которая до сих пор была абсолютно бесполезна с практической точки зре-



Черт. 14.

ния, теперь становится очень практичной. Она указывает на возможность приложить формулы электромагнетизма к теории аэроплана. От теории крыла недалеко до теории пропеллера. Неважно, что это движение вращательное, а не поступательное. Действующая сила зависит от циркуляции кругом нее и может быть вычислена по теории гидродинамического действия на расстоянии. От лопасти пропеллера недалеко до лопасти турбины. Тип движущей силы не изменяется от того, будет ли движущая среда несжимаемая жидкость или расширяющийся пар. (В последней среде будет играть роль движение представленных нами в опытах с пульсирующими телами). Вопрос не менее интересен с точки зрения преобразования механической энергии в электромагнитную и обратно. Предположим, что на одном конце вала мы имеем водяную или паровую турбину, а на другом конце динамо. На лопатках турбины проявляется гидродинамическое

действие на расстоянии в динамо равное, но противоположное электромагнитное действие. Мы получаем то и другое посредством одной и той же формулы с переменной знака при переходе от одной установки к другой.

«Разве не видна глубокая гармония природы здесь в этом вопросе, где важные практические проблемы сплелись с идеями глубокого теоретического интереса. Что говорит нам природа, ставя нас лицом к лицу с такой удивительной гармонией между столь различными отраслями физики, как гидравлика и электродинамика? Это вопрос, на который может ответить только будущий Фарадей».

## К сравнительной физиологии центральной нервной системы<sup>1)</sup>.

Ж. Леб.

### ПРЕДИСЛОВИЕ.

В предыдущих номерах журнала нами были помещены две главы из переведенной нами замечательной книги Леба: «Организм как целое с физико-химической точки зрения»<sup>2)</sup>. В осуществление нашей задачи познакомить русского читателя со всеми основными работами покойного ученого, бывшего вождем последовательного введения в биологию научно-материалистических методов исследования, нами подготовлен в настоящее время к печати перевод другой книги Леба: «Механистическое воззрение на жизнь» («Mechanistic conception of life»)<sup>3)</sup>. Эта книга представляет собою собрание программных речей и статей, написанных Лебом в разное время в научных журналах или для международных съездов. Эти материалы были собраны еще самим Лебом в 1912 году в один томик с отмеченным выше заглавием. Каждая глава томика представляет, таким образом, законченное целое, но в своей совокупности они представляют классическое произведение, дающее в сжатом виде систему законченного и цельного материалистического воззрения на жизнь. Другая особенность книги — это исключительная, поражающая свежесть и современность мыслей, в ней изложенных. Это в особенности относится к предлагаемым здесь отрывкам, первый из которых написан 30 лет назад. И тем не менее в нем мы находим сжатую и выразительную формулировку тех именно тенденций объективно-материалистического анализа психических явлений, которые только в наши дни завоевывают себе общее признание благодаря трудам, с одной стороны, того же Леба, а с другой — И. П. Павлова. При чтении мыслей Леба об «ассоциативной памяти» всякому бросится в глаза их родство, почти тождество с павловским учением об условных рефлексах. Но следует иметь в виду, что эти строки были написаны Лебом еще за 4 года до того, когда Павлов впервые сформулировал свое учение об условных рефлексах.

Тем не менее этот отрывок еще до сих пор является не просто памятником прошлого, пройденного пути, но программой дальнейших исследований, из коих работы Леба над полу-

<sup>1)</sup> Перевод М. Н. Лапинера под редакцией Б. М. Завадовского.

<sup>2)</sup> Книга на-днях вышла в свет в серии «Современные проблемы естествознания». Госуд. Изд., 1926 г.

<sup>3)</sup> Книга сдана в издательство Ком. У-та им. Свердлова.

чением рефлекторных движений без наличия обычно в таких случаях подразумеваемого субстрата, еще только ждут своего продолжения.

Второй отрывок своею парадоксальностью и кажущейся «стремительностью» предлагаемой схемы поразит даже наших читателей, привыкших мыслить психический процесс в условиях пространства и времени, не говоря уже о возмущении, которое он возбудит со стороны тех, кто продолжает твердить о «непространственной» природе психики. Не предвещая вопроса о том, насколько схема, предлагаемая Лебом, получит свое подтверждение в дальнейших экспериментах, нельзя не признать, что аргументация Леба, подкупающая своею простотой и в то же время железной логикой, заставляет считаться с отмеченной им возможностью.

Б. Завадовский.

#### К сравнительной физиологии центральной нервной системы<sup>1)</sup>.

1. Понимание сложных явлений достигается анализом, с помощью которого эти сложные явления разлагаются на их простые, элементарные составные части. Если мы поставим себе вопрос, что является элементарным компонентом в физиологии центральной нервной системы, то наше внимание направится к классу процессов, которые называются рефлексам. Рефлекс есть реакция, вызываемая внешним воздействием и выражающаяся в координированном движении; таково, напр., смыкание век при прикосновении к конъюнктиве постороннего тела или сужение зрачка под влиянием света. В каждом из этих случаев в окончании чувствительного нерва вызываются изменения, которые меняют условия в нервах. Это изменение распространяется по центральной нервной системе, отсюда переходит на двигательные нервы и заканчивается в мышечных волокнах, обуславливая здесь сокращение.

Этот-то переход от раздраженного участка к центральной нервной системе и обратно к периферическим мышцам и называется рефлексом. Стремление положить рефлекс в основу анализа деятельности центральной нервной системы росло и до сих пор растет в физиологии. Соответственно процессам, лежащим в основе рефлексов и обуславливающих их механизмов, придавалось все большее значение.

Название «рефлекс» указывает на сравнение спинного мозга с зеркалом. Предполагалось, что раздражение отражается от спинного мозга к мышцам, в согласии с этим раздражение спинного мозга должно делать рефлекс невозможным, подобно тому, как разрушение зеркала должно прекращать отражение света. Однако, это сравнение рефлекторного процесса в центральной нервной системе с отражением света уже давно потеряло свой смысл, и в настоящее время немногие физиологи, употребляя обозначение «рефлекс», понимают его в первоначальном смысле. Вместо этого стала выдвигаться на первый план другая ха-

<sup>1)</sup> Перепечатано из книги Леба «Сравнительная физиология мозга и сравнительная психология» (1899).

рактерная черта во взгляде на понятие рефлекса, именно — целесообразный характер рефлекторных движений. Смыкание век и сужение зрачка в высокой степени целесообразны, потому что таким образом роговица предохраняется от разрушительного соприкосновения с посторонними телами, а сетчатка от вредного действия сильного света. Отмечалось также другое, весьма характерное для этих рефлексов: вызываемые движения протекают столь гладко и согласованно, что кажется, будто они в самом деле или избраны или осуществляются каким-то разумом. Однако уже тот факт, что даже обезглавленная лягушка счищает лапками каплю уксусной кислоты с кожи, указывает на необходимость какого-то другого объяснения.

Один выдающийся психолог высказал предположение, что рефлекс должны рассматриваться как механические результаты волевых актов прошлых поколений<sup>1)</sup>.

Ганглиозная клетка представляется единственным местом, где эти механические воздействия могли бы запечатлеться. Поэтому ее и считали наиболее существенным элементом рефлекторного механизма, на нервные же волокна обычно смотрят и вероятно правильно, просто как на проводники.

Как те авторы, которые подчеркивают целесообразность рефлекторных актов, так и те, кто видит в них лишь физический процесс, одинаково считают ганглиозную клетку главным носителем тех структур, которые определяют сложно-координированные движения рефлекторных действий. Как и всякий другой физиолог, я должен был бы быть мало склонен сомневаться в справедливости этого воззрения, если бы я не доказал на основании тождества реакций животных и растений на свет несостоятельность такого взгляда и в то же самое время не предложил бы другого воззрения на рефлексы.

Полет ночной бабочки на пламя есть типичный рефлекторный процесс. Свет раздражает периферические органы чувств, раздражение проходит до центральной нервной системы, отсюда к мускулам крыльев, и бабочка вынуждена лететь к пламени. Этот рефлекторный процесс сходен во всех пунктах с гелиотропическим действием света на органы растений. Между тем растения не имеют ни нервов, ни ганглиев, а это тождество гелиотропизма животного и растений может привести лишь к одному заключению: это гелиотропическое действие должно зависеть от общих животным и растениям свойств. В конце моей книги о гелиотропизме<sup>2)</sup>, я выразил этот взгляд следующими словами: «Мы видели, что у животных, у которых имеются нервы, ориентировочные движения по направлению к свету управляются в точности теми же самыми внешними условиями, и зависят точно так же от внешней формы тела, как у растений, кои нервов не имеют. Явления гелиотропизма не могут, следовательно, зависеть от специфических качеств центральной нервной системы». С другой стороны, возражали, что разрушение ганглиозных клеток прерывает рефлекторный процесс. Этот довод, однако, неосно-

<sup>1)</sup> Положение, для которого не существует и намека на экспериментальное подтверждение.

<sup>2)</sup> Ж. Леб. Гелиотропизм животных и согласование его с гелиотропизмом растений. Вюрцбург, 1890. Предварительная заметка об этих опытах появилась в 1888 г.

вателен, так как нервно-рефлекторная дуга у высших животных представляет собою единственную протоплазматическую связь между органами чувств поверхности тела и мускулами. Разрушая ганглиозные клетки или центральную нервную систему, мы нарушаем непрерывность протоплазматического сообщения между поверхностью тела и мускулами, и рефлекс делается невозможным. Раз осевые цилиндры нервов и ганглиозные клетки суть не больше, как протоплазматические образования, мы вправе искать в них лишь общие протоплазматические свойства, пока не найдем, что с помощью их одних явления не могут быть объяснены.

2. Можно было бы, дальше, возразить, что хотя рефлексы встречаются у растений, которые не имеют нервов, однако у животных, где ганглиозные клетки налицо — именно существование этих ганглиозных клеток и определяет присутствие в них специального рефлекторного механизма. Поэтому необходимо было поискать, нет ли таких животных, у которых координированные рефлексы еще продолжают существовать после разрушения центральной нервной системы. Такое явление можно ожидать только у форм, у которых, кроме передачи по рефлекторной дуге, возможен прямой переход раздражения с кожи к мускулам или прямое раздражение мускулов. Это имеет место, напр., у червей и асцидий. Мне удалось показать, что у *Siona intestinalis* сложные рефлексы еще продолжают существовать после удаления центральной нервной системы<sup>1)</sup>.

Таким образом, изучение сравнительной физиологии обнаруживает тот факт, что раздражимость и проводимость — единственные необходимые для рефлекса свойства, и оба эти свойства есть общие свойства всякой протоплазмы. Раздражимые образования на поверхности тела и расположение мускулов определяют характер рефлекторного акта. Предположение, что центральная нервная система или ганглиозные клетки являются специфическим носителем рефлекторного механизма, не может быть принято. Но сделаем ли мы отсюда вывод, что нервы излишни и совершенно не нужны? Конечно, нет. Значение их в том, что они являются более быстрыми и чувствительными проводниками, чем недифференцированная протоплазма. Благодаря этим свойствам нервов, животное в состоянии лучше приспосабливаться к изменению внешних условий, чем это было бы возможно, если бы у него нервов не было. Эти способности приспосабливаться совершенно необходимы для свободных животных.

3. В то время как некоторые авторы объясняют все рефлексы без исключения на основе психики, большинство исследователей пользуются этим объяснением только для определенной группы рефлексов, т. е. инстинктов. Инстинкты определяются по-разному, но какое определение дается на словах, неважно, смысл представляется следующим: инстинкты — это наследственные рефлексы столь целесообразные и столь сложные

<sup>1)</sup> При прикосновении это животное закрывает ротовое отверстие. Этот рефлекс подобен смыканию век при прикосновении к роговичку. Центральная нервная система этого животного состоит из одного ганглия. После удаления последнего ротовое отверстие немедленно закрывается в ответ на механическое раздражение.

по характеру, что ограниченный разум или опыт не мог бы их создать. К этому классу рефлексов принадлежит, напр., обыкновенное, присущее некоторым насекомым, откладывать свои яйца в материале, который позднее используется личинками в пищу. Если мы примем во внимание, что самка мухи после откладывания яиц не уделяет им никакого внимания, то мы поражемся той очевидной заботой, которую проявляет природа для сохранения видов. Чем может определяться поведение этого насекомого, если не таинственными структурами, которые могут быть заключены только в ганглиозных клетках? Как можем объяснить мы наследственность этих инстинктов, если мы в самом деле примем, что ганглиозные клетки — это только проводники раздражений? Невозможно ни раскрыть механизм инстинктов, ни объяснить просто и ясно их наследственность, исходя из старой точки зрения; лишь наше воззрение делает это объяснение возможным. Среди элементов, из которых состоят эти сложные инстинкты, важную роль играют тропизмы (гелитропизм, хемотропизм, геотропизм, стеритропизм). Тропизмы эти тождественны для животных и для растений. Объяснение их зависит, во-первых, от специфической раздражимости определенных элементов поверхности ряда и, во-вторых, от относительной симметрии тела. Симметричные элементы поверхности тела имеют одинаковую раздражимость, несимметричные элементы имеют раздражимость различную. Элементы, более близкие к ротовому концу, обладают большей раздражимостью, чем близкие к абсорбному полюсу. Это распределение вынуждает животное направляться к источнику раздражения благодаря тому, что симметричные точки поверхности раздражаются одинаково. Благодаря этому животные без всякого желанья с их стороны влекутся по направлению к источнику раздражения или прочь от него. Таким образом, на долю ганглиозной клетки остается не создавать, а только проводить раздражение, а это может быть выполнено любым видом протоплазмы. Для наследственности инстинктов необходимо только, чтобы яйца содержали некоторые вещества, которые должны определять различные тропизмы — и условия для создания двусторонней симметрии зародыша. Тайна, которую окружались ганглиозные клетки, не только не ведет к раскрытию истинного смысла этих процессов, но представляет скорее препятствие для попытки найти их объяснение.

Ясно, что не существует резкой границы между рефлексами и инстинктами. Мы находим, что авторы предпочитают говорить о рефлексах в случае, где дело идет о реакции отдельных частей или органов животного на высшее раздражение и в то же время называют инстинктами реакцию животного как целого (как в случае тропизмов).

4. Если механика множества инстинктов объясняется с помощью тропизмов, общих животным и растениям, и если значение ганглиозных клеток ограничивается, как и во всех рефлекторных процессах, только их способностью проводить раздражение, то мы вынуждены спросить, какие обстоятельства определяют в рефлексах согласованные движения, особенно в наиболее сложных рефлексах. Предположение сложных, но неизвестных и, может быть, непознаваемых структур в ганглиозных

клетках служило прежде удобным термином для всяких рассуждений в этом направлении. Отказываясь от этого предположения, мы призваны показать, какие условия в состоянии определить координированный характер рефлекторных движений. Эксперименты над гальванотропизмом животных указывают, что должно существовать простое соотношение между ориентированностью определенных моторных элементов в центральной нервной системе и направлением движений тела, создаваемым активностью этих элементов. Быть может, это создает рациональную основу для дальнейшего исследования координированных движений<sup>1)</sup>.

5. Подобно тому, как мы это сделали в случае простых рефлексов и инстинктов, мы должны липить ганглиозные клетки всего их специфического значения также и в самопроизвольных движениях. Под самопроизвольными движениями мы понимаем движения, которые видимо определяются внутренними условиями живой системы. Строго говоря, движения животных никогда не определяются исключительно внутренними условиями, ибо атмосферный кислород и определенная высота температуры всегда необходимы для сохранения активности, за исключением самых кратких промежутков времени.

Мы должны различать простую и сознательную самопроизвольность. Под простой самопроизвольностью мы понимаем два рода процессов, именно: неперiodические самопроизвольные процессы и ритмические самопроизвольные или автоматические процессы. Для нас важны здесь ритмические процессы; к этой категории относится дыхание и биение сердца. Дыхательные движения как будто показывают, что автоматическая деятельность может протекать из ганглиозных клеток; отсюда делалось заключение, что все автоматические движения обязаны специфическому устройству именно этих ганглиозных клеток. Недавние исследования, однако, перенесли проблему ритмических спонтанных сокращений из области морфологии в область физической химии. Особые свойства каждой ткани частью обусловлены тем, что в ней содержатся некоторые ионы (Na, K, Ca и др.) в определенных пропорциях. Изменяя эти пропорции, мы можем сообщить ткани свойства, которыми она обычно не обладает. Если увеличить содержание Na иона в скелетных мышцах и уменьшить Ca иона, мышцы делаются способными сокращаться ритмически, подобно сердцу. Так как мускулы не содержат ганглиозных клеток, очевидно, что способность к ритмическому самопроизвольному сокращению обязана своим происхождением не специфическому морфологическому характеру ганглиозных клеток, но определенным химическим условиям, которые не заключаются непременно в ганглиозных клетках.

Координированный характер автоматических движений часто объясняется гипотезой «центров координации», которые, предпологается, стоят подобно полиции на страже отдельных элементов и следят, чтобы они значились в определенном порядке. Наблюдения

<sup>1)</sup> С тех пор, как это было написано, Юкскуль нашел закон, который должен иметь большое значение для объяснения механизма координации, именно: что растянутый мускул обнаруживает повышенную возбудимость, а сокращенный — пониженную. Раз сокращение группы мускулов связано с растяжением антагонистов, становится, как кажется, понятным координированный характер локомоторных действий.

дения над низшими животными однако показывают, что координация автоматических движений обусловлена тем фактом, что тот элемент, который бьется более быстро, побуждает и другие биться с тем же самым ритмом. Непериодическая самопроизвольность еще меньше есть специфическая функция ганглиозных клеток, чем ритмическая самопроизвольность. Многие споры водородослей, у которых нет ганглиозных клеток, обнаруживают произвольные движения, подобно животным, у которых есть ганглиозные клетки.

6. До сих пор мы не касались наиболее важной в физиологии проблемы, именно — какой механизм дает начало тому комплексу явлений, которые называются психическими или сознательными.

Подход наш должен быть тот же самый, как в случае рефлексов или инстинктов. Мы должны отыскать элементарные физиологические процессы, посредством которых осуществляются сложные явления сознания. Некоторые физиологи и психологи считают целесообразность психических действий существом элементом. Если какое-либо животное или орган реагирует так, как должен был бы вести себя разумный человек при тех же обстоятельствах, то эти авторы объявляют, что мы имеем дело с явлениями сознания. Таким образом, многие рефлексы, особенно инстинкты, рассматриваются как функции психические. Сознательность приписывали даже спинному мозгу, ибо многие из его функций целесообразны. Мы увидим в следующей главе, что многие из этих реакций — просто тропизмы, какие можно встретить в той же самой форме у растений. Растения тоже должны поэтому иметь психическую жизнь и, будучи последовательными, мы должны приписать психику также и машинам, ибо тропизм зависит лишь от простого механического расположения. В последнем счете, значит, мы должны бы прийти к молекулам и атомам, одаренным мыслительными способностями. Подтверждением этой точки зрения может служить тот простой факт, что явления эмбрионального развития и вообще организмы обнаруживают степень целесообразности, которая может даже превосходить степень целесообразности рефлекса и инстинктивного или сознательного действия. А ведь мы не считаем явления развития зависящими от сознания.

С другой стороны, физиологи, оценившие по достоинству бездоказательный характер этих метафизических рассуждений, стали считать, что остается лишь другая альтернатива: бросить поиски механизма, лежащего в основе сознания, и изучать исключительно результаты операций на мозге. Но это значит выплеснуть ребенка вместе с водой. Ошибка, сделанная метафизиками, не в том, что они посвящали себя разрешению серьезных проблем, а в том, что они пользовались ложным методом исследования и на место объяснения с помощью фактов подставляли словесную игру. Если физиология головного мозга отказывается от основной своей проблемы — от раскрытия тех элементарных процессов, которые делают сознание возможным — она пренебрегает самыми лучшими своими возможностями. Но, чтобы получить результат, нужно избежать ошибок метафизиков и строить объяснение на фактах, а не на словах. Метод для психологии животных должен быть тот же, что и для физиологии мозга. Он

заключается в правильном понимании основного процесса, который повторяется при всех психических явлениях в виде элементарного компонента. Таким процессом, по моему мнению, является деятельность ассоциативной памяти или ассоциации. Сознание есть лишь метафизическое обозначение для явлений, которые определяются ассоциативной памятью. Под ассоциативной памятью я подразумеваю тот механизм, с помощью которого раздражение не только вызывает тот эффект, какой может оно вызывать по своей природе и по специфической структуре раздражающего органа, но с помощью которого оно также вызывает эффект других раздражений, которые прежде действовали на организм почти или вполне одновременно с данным раздражителем. Если животное может быть научено, если оно может учиться, оно обладает ассоциативной памятью. С помощью этого критерия можно показать, что инфузории, кишечно-полостные и черви не обладают и следами ассоциативной памяти. Среди различных классов насекомых (напр., муравьев, пчел и ос) может быть доказана наличие ассоциативной памяти. Наш критерий мог бы быть большой поддержкой для развития сравнительной психологии<sup>1)</sup>.

7. Наш критерий кладет конец метафизической идее, что вся материя и значит весь животный мир обладает сознанием. Мы пришли к теории, что только некоторые виды животных обладают ассоциативной памятью и имеют сознание и что сознание появляется у них лишь на определенной стадии их онтогенетического развития. Это ясно из того факта, что ассоциативная память зависит от того механического устройства, какое имеется лишь у некоторых животных и появляется лишь когда они достигнут определенного развития. Взгляд этот подтверждается тем фактом, что некоторые животные утрачивают целиком способность ассоциативной памяти после разрушения полушарий головного мозга и что позвоночные, у которых ассоциативная память или не развивается вовсе или развивается лишь незначительно (напр., акула или лягушка), после утраты полушарий не отличаются или отличаются лишь немного по своим реакциям. Тот факт, что только некоторые животные обладают необходимой механической системой для ассоциативной памяти и значит для сознания, удивителен не более, чем тот факт, что лишь некоторые животные обладают механическим приспособлением для соединения лучей из светящейся точки в одной точке сетчатки. Сжатие газов представляет собой пример внезапного изменения свойств, которое может быть вызвано изменением одной переменной; не удивительно, что должны быть внезапные изменения в онтогенетическом и филогенетическом развитии организмов, где происходит изменение столь многих переменных, особенно, если мы вспомним, что коллоиды легко изменяют свое агрегатное состояние.

Становится ясным, что раскрытие механизма, ассоциативной памяти есть величайшее открытие, которое предстоит сделать

<sup>1)</sup> Следует иметь в виду, что эти строки писались Лебом еще в то время, когда не было создано павловское учение об условных рефлексах. Легко видеть, что то, что Леб называет здесь ассоциативной памятью, в значительной мере совпадает с павловским механизмом временных связей.

(Прим. ред.)

в области физиологии головного мозга и психологии. Но в то же самое время ясно, что этот механизм не может быть раскрыт гистологическими методами или операциями на головном мозге, или измерением времени реакции. Вспомним, что все явления жизни в конечном счете обусловлены движениями или изменениями, протекающими в коллоидных веществах. Встает вопрос, какие особенности коллоидальных веществ могут сделать возможным явление ассоциативной памяти? Для разрешения этой проблемы данные физической химии и физиологии протоплазмы должны быть скомбинированы. Из того же самого источника мы должны ожидать разрешения другой фундаментальной проблемы физиологии мозга, именно—процесса проведения возбуждения.

#### Адаптация окраски у рыб и мозаичное зрение.

Механизм действия головного мозга нам еще совершенно неизвестен. Мы не можем заглянуть в работающий мозг, а объективные результаты мозговой деятельности, вообще говоря, столь отличаются по своей природе от тех внешних стимулов, которые приводят мозг в действие, что мы в большинстве случаев абсолютно не в состоянии сделать какое-либо заключение о процессах, протекающих в головном мозге.

Из результатов, полученных на опытах с собаками, Мунком много лет назад вывел, что существует проекция сетчатки на часть коры, которую он обозначил, как зрительную область, и что удаление определенных частей этой области вызывает слепоту в определенных частях сетчатки. Я повторил эти опыты, но мне не удалось подтвердить его выводы.

Однако Геншен недавно, основываясь на превосходных наблюдениях над патологическими случаями у человека, привел доказательство, что такая проекция все-таки существует, но что она локализована не в той части коры, где полагал Мунк, а в другой, именно в *area striata*.

Миньковский подтвердил наблюдения Геншена опытами на собаках.

Эти наблюдения и опыты указывают на возможность того, что при акте зрения изображение образуется не только на сетчатке, но также и на коре мозга. Предположение, что зрение основано на образовании изображения в мозгу, подкрепляется рядом фактов, которые, насколько я знаю, никогда не подвергались рассмотрению в этом аспекте.

Известно уже давно, что многие животные, особенно некоторые рыбы, приспособливают свою окраску к почве, на которой им приходится пребывать. Этот факт использовался исключительно для теории естественного отбора. Мне кажется, что тот же самый факт служит также доказательством того, что в мозгу образуется изображение предметов.

Пуше много лет назад показал, что приспособление рыб к почве прекращается после удаления их глаз или же после устранения образования изображений на сетчатке путем затемнения преломляющих сред глаза.

Этот факт, подтвержденный многими наблюдателями, доказывает, что соответствие между цветом и рисунком кожи рыб и окружающей их средой осуществляется через образ на сетчатке:

другими словами, что т. н. приспособление рыб к среде есть только передача изображения с сетчатки на кожу.

Известно, кроме того, что разрушение зрительных волокон и зрительных ганглиев в мозгу действует подобно удалению глаз; наконец, доказано, что перерезка симпатических волокон, идущих к пигментным клеткам кожи, также делает невозможным образование изображения почвы на коже. Итак, мы знаем путь, по которому изображение с сетчатки передается к коже рыбы. Единственной остановкой является окончание зрительных волокон в головном мозгу. Раз мы можем доказать существование отражения предмета на сетчатке рыбы, раз доказано, что рисунок на коже рыбы есть отпечаток ретинального изображения, а не самого предмета (в данном случае почвы), раз, далее, передача образа с сетчатки на кожу происходит через зрительный нерв, следовательно, изображение по пути к коже должно пройти через центральные окончания зрительного нерва. Изображение состоит из множества световых точек различной интенсивности, взаимное распределение которых характерно для каждого объекта. Зуммер доказал, что некоторые рыбы способны воспроизводить на своей коже довольно сложные рисунки (напр., шахматную доску, которая была изображена на дне аквариума). Это воспроизведение рисунка не вполне совершенно, но если мы отвлечемся от вторичных усложняющих факторов, то останется тот факт, что рисунок на коже есть достаточно верная копия рисунка почвы. Итак, существует определенное расположение образов различных светящихся точек на коже рыбы. Мы можем считать каждую точку ретинального образа за светящуюся или возбужденную точку, которой соответствует точка изображения в первичном оптическом ганглии, благодаря действию нервных волокон, которые ее соединяют с ганглиями. Каждая точка изображения в нервном оптическом ганглии может, в свою очередь, быть рассматриваема как светящаяся или возбужденная точка, действующая через посредство специальных нервных волокон кожный хроматофор или небольшую группу хроматофоров кожи. Принимая во внимание тот факт, что retina представляет собою мозаику, мы не можем себе ясно представить передачу ретинального образа на кожу как-либо иначе, чем приняв, что относительное расположение отдельных точек ретинального образа сохраняется и в оптических волокнах и концевых ганглиях оптического нерва. При этом предположении должно существовать относительное расположение возбуждающих интенсивностей в первичном оптическом ганглии, соответствующее распределению точек изображения на сетчатке и, в свою очередь, могущее быть названным изображением.

Эти наблюдения на рыбах и заключения, приведенные в этой заметке, подтверждают ту мысль, что зрение представляет род телефотографии.

## Об источниках и результатах упрощения в естествознании.

А. Максимов.

Пропаганда общественных наук в широких массах ведется уже более чем два десятилетия.

В этой области имеется проверенный опыт подхода к массам, имеется строго очерченное отношение различных политических группировок в смысле подхода к разрешению этого вопроса. В области марксистского естествознания издавна вскрыты формы и источники упрощения марксистской теории. И если теперь, в наше время, и в области общественных наук все еще встречается (и нередко) упрощение, то все же борьба с ним значительно облегчается опытом дореволюционной теоретической борьбы по этому вопросу.

Не то с естествознанием. В дореволюционной пропаганде оно занимало мало места и мы не имеем по отношению к нему того же теоретического опыта; что имеем в области общественных наук. И в то же время пропаганда естествознания теперь настолько широко развилась и приобрела такое большое значение, что вопросы, возникающие в области ее применения, заслуживают самого серьезного внимания. Этому внимания пропаганда естествознания заслуживает не только потому, что естествознание имеет много точек соприкосновения с общественными науками (антирелигиозная пропаганда, дарвинизм, электрификация, научная организация труда и т. п.), но и потому, что практическая позиция в области пропаганды естествознания в процессе своего оправдания превращается в теоретическую и, если первая не верна, то это грозит искажением и для самой марксистской теории.

Наконец, самая теория естествознания еще не пропитана марксистским методом. Само теоретическое естествознание выдвигает ряд вопросов, которые требуют их марксистского преодоления.

### I.

Некоторое время тому назад вышла книга с весьма замечательным оглавлением, замечательным именно выдержанностью определенной точки зрения. Вот это оглавление:





«Читателю-рабочему.

Наше тело—завод без рабочих.

- Глава 1. Работа и топливо (Введение в энергетику тела человека).
- » 2. Заготовка топлива и сырья (Пищеварение).
  - » 3. Перевозочные пути (Лимфо- и кровообращение).
  - » 4. Топки и мастерские (Клеточное строение).
  - » 5. Мастерские двигатели (Мышцы).
  - » 6. Стропила-рычаги (Кости).
  - » 7. Поддувала (Работа легких).
  - » 8. Отбросы производства (Работа органов выделения).
  - » 9. Охрана завода (Борьба с паразитами тела).
  - » 10. Сторожевые посты (Органы чувств).
  - » 11. Сигнальные провода завода (Нервы).
  - » 12. Сигнальные станции (Нервные узлы и мозг).
  - » 13. Обмен продуктами производства (Внутреннее самоотделение).
  - » 14. Заводостроительство (Размножение и развитие человека).
  - » 15. Баланс производства.
  - » 16. История завода (Эволюция человека).

ПРИЛОЖЕНИЯ (в том числе обращение к читателю-групповому)<sup>1)</sup>

Наше тело—завод без рабочих—вот основная руководящая мысль книги, и она проводится в книге до конца. Каковы мотивы того, что биология человека превращается в описание фабрично-заводского производства?

Все дело в том, что рабочему якобы трудно усвоить науку о строении и жизни человеческого организма. Но рабочий хорошо знает свой завод. Поэтому самый лучший способ облегчить понимание рабочим биологии человека—это—сравнение тела человека с заводом» (стр. 4). Правда, тов. Боссэ делает оговорку, что «тело наше все-таки не настоящий завод» (стр. 4), что анатомия, проводимая им,—педагогическое средство, а не научная схема, и «не надо, пользуясь ею, самостоятельно развивать ее далее, если не известна хорошо физико-химическая сторона сравниваемых процессов» (стр. 227).

Тем не менее т. Боссэ не только применяет эту «аналогию» и оправдывает ее всем изложением книги. Отличие организмов человека от завода т. Боссэ видит только в следующих четырех пунктах, что и разъясняет читателю-групповому. Пункт первый—организм человека отличается от завода тем, что «клетки-мастерские нашего тела—работают не в воздухе, а в водной среде». Пункт второй—«тело-завод представляет из себя подвижное целое, передвигающееся по направлению к своему топливу и сырью, которое он сам добывает, и уходящее от опасностей, ему грозящих». Пункт третий—«тело размножается, завод же даже в случае, если он заводостроительный, никогда не производит саморазвивающихся заводиков, несущих все при-

<sup>1)</sup> Г. Боссэ. «Опыт пособия по биологии. Для совпартшкол, фабзавуча и самообразования». Издание Ун-та им. Я. Свердлова. М. 1923. Стр. 233.

знаки сходства с производителем». И, наконец, пункт четвертый—«наше тело—завод без рабочих» (стр. 223).

За вычетом этих четырех пунктов т. Боссэ считает правильной свою аналогию. И вот по поводу книги тов. Боссэ возникают два вопроса: какова получится биология, изложенная по «производственному» методу и насколько безболезненно для научных фактов и теорий приложим этот метод, и, второе, насколько допустимо изложение такой «биологии для рабочих» без ущерба для самих рабочих?

Ответим сначала на первый вопрос. «Кому—как не рабочему знать свой завод»,—вот слова, которыми начинает свою книгу т. Боссэ. О каком же заводе идет речь? Книга посвящена рабочим-текстилям и в одном месте своей книги т. Боссэ пишет, что именно текстильная фабрика особенно подходяща для сравнения с нашим телом, так как в ней есть отделения, где применяются методы и механической обработки сырья и методы химической. В основе большинства фабрично-заводских производств лежат процессы, изучаемые в механике, физике и химии. И знание производства невозможно без знания основ перечисленных наук. Но так ли общераспространено действительно знание этих основ, хотя бы среди рабочих текстилей, чтобы, исходя из этих знаний, построить преподавание биологии рабочим? К сожалению, далеко не так распространено. Даже более того, сплошь и рядом знание основных приемов производства в их связи является достоянием только мастеров и инженеров данной фабрики или завода. Нужно еще много поработать, чтобы рабочий любого цеха того или другого завода знал и понимал производство в целом, знал научные основы его. Но если бы это знание и было на-лицо, то для изучения биологии пришлось бы использовать именно знание основных физико-химических и механических процессов производства. Знание их есть научное знание начатков физики, химии и механики и в этом отношении большинство производств совершенно одинаково, а все то особенное, что их различает, является настолько специфическим, что для изложения биологии использовано быть не может. И поэтому безразлично будет, возьмем ли мы текстильное производство или какое другое. Но не это знание научных основ, в лице начатков физики, химии, имеет в виду т. Боссэ при построении своего курса. Он имеет в виду внешнее знакомство с заводом каждого рабочего. Действительно, каждый рабочий знает, что для производства нужно сырье, что это сырье проходит стадии сортировки и последующей обработки, что готовый продукт идет на рынок, что отдельные цехи связаны процессом производства, что существует администрация завода, охрана, сигнализация и т. п. и пр. И вот на этом-то знании и строит свое изложение биологии т. Боссэ.

Насколько удастся ему это?

После введения, которому посвящена первая глава, т. Боссэ переходит к изложению процессов пищеварения. Эти процессы сравниваются с фабрично-заводским изготовлением топлива и сырья. То, что в различных производствах является двумя различными процессами, в пищеварении является объединенным и не только потому, что здесь эти процессы одновременны, а и потому, что здесь нельзя провести такого различия между топ-

ливом и сырьем, какое существует в фабрично-заводском процессе. В последнем нельзя заменить топливом сырьем и наоборот, тогда как в организме то, что является топливом, является в то же время и строительным материалом. И это различие обусловливается тем, что жизнедеятельность организма совсем не то, что фабрично-заводский процесс. Аналогия делается искусственной. И чем более старается автор изложить по производственному методу биологию, тем ярче проявляется эта искусственность. Так, далее, четвертая глава, излагающая клеточное строение организма, получает название «топки и мастерские». Действительно, в клетках происходят и процессы окисления живого вещества, и процессы его воспроизводства, и многие другие процессы. Клетка очень сложное образование как по своему строению, так и по процессам, в ней происходящим. И этот т. Боссе, как биологу, ясно, но в то же время ему ясно, что в фабрично-заводском процессе нет аналогии клетке. Ведь клетка—это опять, если следовать Боссе, целый новый завод. И вот он уже вопреки всякой действительности выдумывает не существующие на заводах «топки-мастерские». Интересно было бы знать, где находятся те заводы, на которых мастерские помещаются в топках или топки в мастерских?

Приняв сравнение клеток с мастерскими, приходится далее для мускулов принять тоже противоестественное название «мастерских-двигателей».

Уже из приведенных аналогий видно, насколько они шапталы и искусственны. Из оглавления книги можно найти дальнейшие примеры этой искусственности.

Какой же вывод отсюда следует? Вывод только один. Проведение сколько-нибудь последовательной аналогии между организмом человека и заводом невозможно и причина этого—что наше тело не есть завод.

И тов. Боссе в своей книге наглядно доказал невыполнимость поставленной им перед собой задачи. Так как множество функций организма аналогии в заводской жизни и организации найти не удается, то т. Боссе оставляет свой завод в покое и обращается за аналогиями к экономической и политической жизни государства, чтобы иллюстрировать и объяснить излагаемые биологические явления.

Так, излагая процесс поглощения и отдачи кислорода красными кровяными шариками, он так поясняет происходящий при этом процесс: «По отношению к кислороду крови красные тельца похожи на сберегательные кассы, а жидкая часть крови—на жителей города. Когда у жителей много денег и тратят их не на что, деньги отдаются в сберегательные кассы. Когда же денег у горожан становится мало, они выбирают обратно свои взносы из касс» (стр. 93). Давая такое пояснение, не только упрощают процессы, происходящие в крови, но и процессы, взятые для иллюстрации. Разве так просто происходит дело с взносами в сберегательные кассы, как изображает тов. Боссе? Разве есть что-нибудь общее между процессами поглощения и отдачи кислорода в крови и действительными процессами накопления и обратного востребования вкладов из сберегательных касс? Нужно иметь самые примитивнейшие представления об экономических процессах в стране, или вернее не иметь никаких представле-

ний о них, чтобы ставить рядом для взаимной иллюстрации два таких разнородных явления, как кровяные шарик и сберегательные кассы. И результат получается вдвойне печальный: искажаются и упрощаются не только биологические явления, но и общественные.

Но последуем еще за тов. Боссе.

В главе «Охрана завода» излагаются защитные средства организма и те опасности, против которых они направлены. Первая опасность—это потеря воды. «Но этого мало. Телу нашему грозят и другие опасности. Одна из этих опасностей—бандиты» (стр. 106. Курсив мой. А. М.). Эти бандиты—блохи, клопы, вши, пылевые черви, микробы. Если последним удается проникнуть внутрь организма, то их задерживают лимфатические узлы, являющиеся ловушками для микробов. «Но этого мало,—картинно выдает т. Боссе.—У нашего тела есть своя милиция и эта милиция прежде всего охраняет пути сообщения» (стр. 114). Эта милиция белые кровяные тельца. «Встретившись с бандитами-микробами, белые тельца захватывают их и убивают». Но нередко достается и милиции. Тогда гибнут белые кровяные тельца. Воспроизводство последних происходит в лимфатических узлах. «Понятно поэтому,—заключает т. Боссе,—что главная борьба с бандитами идет именно из-за захвата этих узлов—это как бы главные военно-строительные мастерские (? А. М.), которыми так важно завладеть бандитам для того, чтобы обеспечить защиту» (стр. 115).

Вот наглядный кусочек изложения («по самому легкому методу»). И эти поистине «уголовную» биологию изображают, как самое новейшее и целительное средство и рекомендуют для советского школьного образования. Желавший научиться биологии по такой книге должен во всяком случае подновить, если не приобрести заново сведения не только по заводской организации, но и по борьбе с бандитизмом и по военно-строительному делу, и по финансам и по многим другим примечательным вещам, которые тов. Боссе угодно привлечь для украшения и облегчения в своем курсе.

Все есть в курсе тов. Боссе, одного только мало... биологии. Так, о белых кровяных тельцах всего-навсего сказано: «это—подвижные клеточки, плавающие в количестве до 33 миллиардов в крови и в лимфе». Вот и все, но зато целые страницы о бандитских похождениях, в картинных выражениях, напоминающих дела давно минувших дней периода военного коммунизма.

В книге «Опыт пособия биологии» 233 страницы и около половины из них посвящено примерам, ничего общего с биологией не имеющим. По нашему мнению—это не помощь читателю, а лишний балласт (как бы он картинно ни был изложен). Если бы те страницы, которые тов. Боссе посвятил бандитским похождениям, он посвятил просто, но строго научному изложению научных фактов и теорий, то это было бы значительно лучше, чем заполнять страницы книги упрощенными аналогиями в духе «бабушкиных сказок».

Мы говорим «строго научному» потому, что не в ладах с наукой тов. Боссе.

Действительно, как можно провести сколько-нибудь успешное сравнение между по существу дела несравнимыми явлениями

биологии и теми общественными процессами, которые взял тов. Боссэ в качестве якобы более известного своим слушателем? Это возможно только путем крайнего упрощения как явлений биологии, так и явлений общественной жизни. Особенно наглядно это упрощение в главе книги: «История завода» (Эволюция человека). Здесь изложение теории Дарвина о приспособлении организмов к среде и о естественном отборе ставится в параллель с такими же процессами в общественной жизни. «Если в одной и той же местности имеются разнообразные условия, в ней мы бок-о-бок находим и различные установки (силовые. А. М.). В равнинных местностях люди ездят на лошадях. В Карелии, где множество озер и рек, передвигаются, главным образом, на лодках. Там, где есть хорошие дороги, удобно пользоваться автомобилями и велосипедами. В последнее время идут в ход и аэропланы. В густо населенных городах устраивают подземные и надземные городские железные дороги. На верхних этажах высоких домов поднимаются на подъемных машинах» (стр. 184). Сравнивая в дальнейшем с естественным отбором в царстве животных эту зависимость силовых установок и средств сообщения от внешней среды, т. Боссэ сваливает в кучу и ручную мельницу, существовавшую в крепостном хозяйстве, и новейшую электрифицированную, передвижение на лошадях и передвижение на аэропланах. Если в первобытном обществе зависимость средств производства является непосредственной от природных условий, то эта зависимость в современном обществе совсем не так непосредственна, и изображать устраниение ветряных мельниц электрифицированными, как вытеснение более приспособленных средств производства менее приспособленных, значит биологизировать, т. е. упрощать, общественные процессы.

Продолжая те же рассуждения, автор «Опыта» пишет: «Как мельница зависит от окружающей ее среды, так и завод зависит от рынка» (стр. 185). Почему здесь зависимость завода от рынка отделяется и как бы противопоставляется зависимости мельницы от внешней среды — непонятно. Разве конкуренция мельниц совершается помимо рынка, а конкуренция завода с своими противниками совершается при его посредстве?

Самое учение о естественном отборе изображается до нелепи примитивно. «Жила в болоте лягушка и разводила в воде головастиков. Пришли люди, осушили болото. Головастики все погибли, а лягушке пришлось скакать в поисках нового болота. И тут же сравнение с давлением общественной жизни. «Так и ветрянка, спокойно работавшая на какую-нибудь деревню, оказывается без работы после того, как деревню электрифицировали. Ускакать как лягушка она ведь не может, и предоставленная сама себе, без ремонта и работы, разрушается» (стр. 186). Ну чем это не бабшкины сказки? Вот и все изложение учения о естественном отборе по т. Боссэ. Ни одного серьезно описанного примера: Неужели Дарвин с его примерами так недоступен для слушателей совнаршкол, что нужно давать какого-то упрощенного и выхолощенного Дарвина?

Уделяя так много места сравнениям биологических явлений с явлениями общественной жизни, автор «Опыта» при объяснении механизма биологических явлений принужден быть не только кратким, а просто догматичным — давать указания на механиз-

явления, не поясняя его. Примером этого является введение в изложение понятия энзимов в главе об «Отбросах производства» и ряд других примеров.

Вместе с тем, доведенное до крайности упрощенное изложение заводит автора в объяснения просто научно-неверные. Изложив понятие работы на примере поднятия груза в главе о работе мышц, т. Боссэ так излагает работу паровой машины: «Работу эту мы можем вычислить, помножив вес (мой курсив. А. М.) поршня на то расстояние в метрах, на которое поршень передвигается». Что здесь — нарочитое упрощенство или незнание физики? Но в том и другом случае мы имеем налицо совершенно неверное определение работы паровой машины. Работа паровой машины определяется не весом поршня, а тем давлением, которое пар оказывает на поршень.

Но достаточно приводить примеры. Нам думается, что и приведенных достаточно, чтобы понять все слабые стороны книги.

Остается только сказать о том итоге, который т. Боссэ делает из всего своего изложения по отношению истории... человечества. В послесловии, обращенном к читателю-групповоду, есть такая фраза: «Неопытный читатель, видя постоянно проводимое нами сравнение нашего тела с заводом, может увлечься этим очень выигрышным (насколько он выигрышен, надеемся, нам удалось показать. А. М.) и наглядным сравнением и пойти дальше лектора или автора: он незаметно для себя может перескочить от сходства к тождеству» (стр. 219). Эта фраза поистине пророческая и, к сожалению, оправдывается на самом авторе «Опыта».

В заключительной ко всему изложению главе о «Балансе производства» т. Боссэ излагает баланс жизнедеятельности организма человека. Он подчеркивает, что баланс тела человека нельзя изучать вне баланса общества и в заключение приходит к такому выводу о смысле всей истории человечества.

«Борьба за достижение все более выгодного баланса и представляет из себя историю человечества» (стр. 183. Подчеркнуто самим т. Боссэ).

Итак, вся история человечества сводится к лучшему балансу в организме человека. Куда девалась классовая борьба, куда девались все различия между различными общественными формациями, куда делась вся сложность общественных явлений? — Все это свелось к однородному и весьма простому вопросу о балансе в организме человека. «История человечества» по Боссэ автору этих строк напомнила другую «историю человечества». Еще и ныне здравствующий профессор анатомии Тонков, в бытность свою в Казани, на своих лекциях строго научно доказывал, что все развитие человека приводит к все большему и большему сокращению позвоночного столба и дальнейшая «история человечества» приведет к тому, что от человека останется только мозг да половые органы, и человек превратится в короткое, почти круглое, существо.

Чем этот позвоночный столб хуже баланса тов. Боссэ? Ведь если можно изобразить всю историю человечества, как историю за улучшение баланса в организме человека, то почему ее нельзя изобразить, как историю укорочения позвоночного столба?

Но не лучше ли бы было, если бы история человечества не спутывалась с историей человека, как биологического существа, хотя эти обе истории и связаны между собой? Поистине жив еще бессмертный К. Прутков. У него есть стихотворение:

«Все стою на камне;  
Дай-ка, брошусь в море...  
Что пошлет судьба мне:  
Радость или горе?  
Может, озадачит;  
Может, не обидит...  
Ведь кузнечик скачет,  
А куда—не видит».

Не является ли тов. Босса тем кузнечиком, который не видит, куда он скачет?

Перейдем теперь к итогам.

Попытка изложить биологические явления путем проведения аналогии с заводом или явлениями общественной жизни невозможна без ущерба и для тех и для других явлений. Только посредством втискивания биологических явлений в чуждую им схему, только путем заведомого упрощения и искажения тех и других явлений возможно сколько-нибудь полно провести аналогию между общественными явлениями и явлениями биологии. И это представляет очевидную опасность как для естественных, так и для общественных наук.

В то же время изложение фактов и теорий делается догматическим и затушевывается самое ценное—научный метод.

Все это делается для того, чтобы сделать якобы доступными широким массам трудящихся достижения науки. Несомненно, что в области пропаганды естествознания разрешение вопроса о том, как наиболее кратким и надежным путем привести прежде всего рабочий актив к усвоению, к овладению всеми основными достижениями науки, есть назревший и коренной вопрос. Но тот способ, который мы видели на примере «Опыта пособия по биологии», несомненно не приводит к цели.

Но разрешение вопроса о методике пропаганды естествознания не стоит безнадежно. Мы имеем примеры прекрасного изложения достижений естествознания без какого-либо упрощения, без какого-либо преумаления научности доказательств, изложения достижений естествознания без какого-либо упрощения слушателей, для которого написана разбираемая книга. Такими примерами являются изложения многих крупнейших естествоиспытателей, начиная от Фарадея и кончая Климентом Тимирязевым. Многому нам можно поучиться в изложении естествознания и у французских материалистов XVIII века, несмотря на то, что с тех пор естествознание колоссально шагнуло вперед. Наконец, немало книг, вполне пригодных для усвоения рабочими основ науки, написано и рядовыми естествоиспытателями.

Во всех этих книгах простота изложения не стоит в противоречии с научностью доказательств, научный метод в них не затушевывается.

Но в чем недостаток этих хороших книг? Основной их недостаток заключается в том, что они или написаны во времена

отдаленные от нас уже значительным промежутком времени и поэтому носят отпечаток своей эпохи и не могут быть использованы как систематические руководства, как учебники, как пособия; или они написаны людьми, далекими от современной аудитории. А не учитывать особенностей нашей аудитории нельзя. Наша работа связана с строительством социализма. Это выдвигает ряд ударных задач в области пропаганды естествознания, и вопрос о том, как со стороны программной и методической подойти к разрешению этих задач, приобретает существенное значение.

Если оставить в стороне вопрос о содержании естественнонаучной пропаганды и обратиться к вопросу о методе этой пропаганды, то главным вопросом в этой области является вопрос о том, как подойти к аудитории—из чего исходить при изложении данного материала.

В «Опыте пособия по биологии» на это дан такой ответ: «О том, что в основу преподавания и популяризации естествознания должны быть положены привычные мысли и знания учащихся и читателей, об этом уже не спорят ни теоретики, ни практики педагоги. Для рабочей аудитории это значит, что в основу преподаваемой темы должен быть положен тот производственный опыт, который имеется у каждого рабочего. Об этом также уже не спорят» (стр. 218).

Как разрешена эта задача в «Опыте»—мы видели выше, мы видели, какими опасностями с точки зрения науки чреват «производственный метод изложения естествознания».

Но пусть даже устранены чисто технические недочеты такого изложения, то все же остается вопрос: насколько далеко мы должны идти в приобщении к производственному опыту рабочего?

Действительно, неоспоримой истиной является положение, что педагог должен исходить из того опыта своих слушателей или читателей, который у них имеется. Ведь не только в преподавании, но и в мышлении вообще мы исходим из наличного опыта. Но вот вопрос, если из этого опыта мы исходим, то куда мы должны идти?

Пусть мы, как и автор «Опыта», имеем перед собой рабочих-текстильщиков. Им лучше всего известно текстильное производство. Но кое-что ведь они знают и о том, что совершается на свете за стенами их текстильной фабрики. Они ведь имеют опыт нашей великой революции. Так вот спрашивается, подготавливая своей работой строителей социализма, должны ли мы оставлять их при их текстильном опыте? Не должны ли мы считать, что текстильная точка зрения есть ограниченная точка зрения, что в ней заключается цеховая узость данной группы рабочих? Не должны ли мы ее преобороть? Мы думаем, что это делать нужно и что в этом-то и заключается одна из важных задач, стоящих перед пропагандистами.

Действительно, мы восстанавливаем свою промышленность, мы ставим себе задачу перестроить ее, более того,—мы хотим и должны перешагнуть и за наивысший образец буржуазной техники, за американский образец. Ведь в этом суть доказательства социализма. Так, спрашивается, параллельно с ростом промышленности не должен ли идти и культурный рост рабочего класса?

Конечно, да. Но этот рост прежде всего должен выражаться в овладении всеми достижениями буржуазной науки в области естествознания. Рабочий класс, являющийся наследником буржуазии во всех областях, является таковым и в области науки. И в этом наследовании научных достояний прежде всего должно быть усвоен революционный метод современного естествознания, не останавливающийся ни перед какими тайнами, срывающий со всего мистическую оболочку. И мы должны будем, как наследство буржуазии, пойти в этом отношении дальше.

И вместо этого рабочему преподносят науку в духе сказок: «жила была лягушка», совсем как в «Элегии к издыхающей лягушке» м-с Гонтер в «Замогильных записках Пиквикского клуба» Ч. Диккенса:

«И вот ты издыхаешь,  
Болото покидаешь;  
Друзей всех оставляешь.  
Во пучине,  
Во кручине».

Рабочему нужно дать не «текстильную» науку, а настоящую, и попытка дать вместо последней первую есть большая ошибка, которая, по нашему мнению, должна быть осуждена.

Мы полагаем, что по отношению к книгам, подобным «Опыту», относятся слова Ленина, сказанные давно, но по сию пору потерявшие своего полного значения:

«...Необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще, для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки «литературы для рабочих», а учились бы овладевать все больше и больше общей литературой. Вернее даже было бы сказать вместо «замыкались» — были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты думают, что «для рабочих» достаточно рассказывать о фабричных порядках и пережевывать давно известное»<sup>1)</sup>.

## II.

Споры о методах пропаганды естествознания начались более чем два года тому назад. Естественно, что в конце концов практическая линия должна была получить свое теоретическое оправдание. В этой теоретической защите должно было найти свое обоснование и то упрощенство, которое, как мы видели, неизбежно связано с производственным методом. И нет ничего удивительного, что механистическая точка зрения встретила такой горячий и единодушный прием среди многих естествоиспытателей, близко стоящих к пропаганде естествознания, а также и у профессионалов-естествоиспытателей.

Спор о том, насколько примирима механистическая точка зрения с диалектическим материализмом, уже в значительной степени исчерпан на страницах нашей теоретической печати. В наше намерение не входит продолжать его в этом ра-

<sup>1)</sup> Н. Ленин, Собр. сочин., т. V, стр. 148.

резе. В данном случае нас интересует только один вопрос, касающийся собственно современного естествознания. Именно при защите механистической точки зрения неоднократно ссылались на современное естествознание и по нашему мнению достаточно правомерно. Действительно, те выводы, которые делались, исходя из механистической точки зрения, вытекают из натур-философских представлений современного естествознания и находятся в произведениях современных естествоиспытателей.

Таким образом, мы обнаруживаем источник упрощенства в недрах самого естествознания, независимо от того, связан ли этот источник с практической деятельностью пропаганды или нет, т.е. источник, черпающий свое содержание из методов самой научной работы, из методов мышления самих современных естествоиспытателей.

Но обратимся к самому естествознанию.

История естествознания дает нам замечательный случай проследить развитие его методов. Не беря на себя задачи здесь рассмотреть этот вопрос полностью, мы остановимся кратко лишь на одной стороне дела. Замечательным является именно то, что самой ранней отраслью знания о природе является математика, если говорить об оформлении знания, сохранившем свое значение и до наших дней. Именно уже в глубочайшей древности существовало счисление, счет. Уже самые первобытные народы умеют сосчитать по пальцам рук и ног, а затем и путем применения примитивнейших инструментов, те или иные предметы или существа. Простейшие правила арифметики — одна из самых древнейших правил науки, которые были найдены в их рациональной форме. Это были одни из первых научных открытий, которые могут быть признаны вполне точными. У торговых народов, как, напр., у финикийцев, арифметика достигает уже достаточной высоты. У древних греков мы имеем уже начатки алгебры.

Так же рано развивается астрономия, по крайней мере, в своей описательной или лучше наблюдательной части. Именно, наблюдая движение небесных светил, древние получают представление об идеальном круговом движении, как им казалось, управляющем ими. Погребности морских и сухопутных путешественников, а также и сельского хозяйства, были практическим мотивом развития астрономии. Однако для нас в связи с дальнейшим важно подчеркнуть только влияние астрономии на развитие геометрии или даже тригонометрии, так как известно, что начало сферической тригонометрии заложено было именно в древний период, именно в указанной связи.

Практическое землемерие выдвинуло геометрию, и мы знаем, что основы современной элементарной геометрии уже в древности были изложены в систематическом виде Евклидом.

Позже, как наука, стала складываться механика. Все же учение о рычагах и основы гидродинамики заложены были также в древности.

По отношению к физике древность познала лишь некоторые законы явлений света (преломление и отражение) и звука.

Но все перечисленные достижения древней науки носят глубоко математический характер. Именно только отношениями величин и расположения материальных частиц или процес-

сов, удалось до некоторой степени овладеть древнему миру в рациональной форме. И мы видим в древности чрезвычайно рас пространенный взгляд, что миром явлений правят числа, что обычный мир явлений есть нечто обманчивое и ложное, а истинная действительность принадлежит числу или идее. Конечно, идеализм в древности имел свои социальные причины. Но они нас в данном случае интересуют. Для нас важно отметить, что в древности были ярко представлены течения, которые «сводили» весь мир явлений к числу. Наиболее известна в этом отношении школа пифагорейцев.

В новое время впереди всех прочих наук шагает механика, наука о движении масс, независимо от того качественного состава, какой эти массы имеют. Лишь позднее, к концу XVIII века, создается химия, как наука о качественных превращениях различных веществ. Начало этой научной химии ведется от открытий Лавуазье, применившего количественный метод в этой, если можно так выразиться, «насквозь качественной науке». Позднее развивается учение об электричестве и из недр последнего, наконец, к нашим дням создается учение о строении материи, идущее от молекул к атомам и от атомов к электронам и, наконец, от электронов к мировому эфиру.

Если сравнить теоретические достижения наук о мертвой природе с таковыми же наук о живой природе, то нужно сказать, что последние значительно отстают от первых. Более того, изучение процессов, происходящих в живом веществе, стало возможным лишь после того, как достаточно развились физика и химия. До начала XIX века мы встречаемся с попытками объяснить действие организмов живых существ, как механизмов. Последующий век вытесняет из голов биологов механику и заменяет ее физикой и химией, особенно, конечно, последней. Мы встречаемся уже с объяснением деятельности организмов, из арены физико-химических процессов. Однако простое перенесение достижений физики и химии оказывается недостаточным для объяснения жизнедеятельности организмов и создается особая отрасль химии, биологическая химия, с своими особыми методами исследования применительно к особенностям той особой среды, в которой протекают жизненные явления. То же происходит до некоторой степени и с физикой. Как известно, в Москве существует под руководством акад. П. П. Лазарева институт биологической физики.

Если бы потребовалось характеризовать в самых общих чертах различные периоды развития науки, то можно было бы сказать, что древний период характеризуется преимущественным развитием математики. Период нового времени до XIX века — развитием механики. XIX век — развитием физики и химии. XX век, поскольку мы его прожили, характеризуется расцветом учения об электричестве, о строении материи, т.е. учением об электронах и об эфире и в то же время бурным продвижением биологии в сторону создания теории биологических явлений на основе всех достижений физико-химических наук.

Во всем этом схематическом обзоре можно выделить три момента: во-первых, наука, как нечто теоретически оформленное, идет от изучения общих отношений материи и ее процессов к более частным и конкретным, получается последовательность

математика, механика, физика и химия, биология; во-вторых, в изучении самой материи, ее свойств и строения, наука идет от более конкретного и частного к более общему: «до-молекулярная» химия не знает еще строения вещества, затем открываются молекулярное и атомное строение, и, теперь, от атомов мы перешли уже к изучению электронов и эфира (о последнем знаем еще весьма мало); наконец, третий момент: более частные и сложные науки, на основе достижений в двух указанных направлениях, создают свои строгие методы изучения и превращаются все более в теоретические науки. Так, общие методологические достижения более общих и простых наук впитываются более сложными и превращаются в их собственные особые методы изучения.

Конечно, эти три момента нельзя строго отграничить друг от друга, они переплетаются между собой и переходят один в другой.

Так как процесс познания в его конкретной форме относителен, т.е. то, что мы познаем, познаем лишь до известной степени и в известном отношении, то в переходе от сложного к простому и от частного к общему и обратно нам остается всегда достаточно еще непознанного. Если мы в данное время дошли до электрона и эфира, то нам остается еще много выяснить, что представляет из себя эфир и исследовать его свойства при различных конкретных условиях.

Теперь после изложенного мы можем задать себе вопрос: какой же путь наиболее легок и характерен для современного естествознания — путь ли от сложного к простому и от конкретного к частному к абстрактному и общему или обратно? И вот мы должны констатировать, что, если науке, вообще говоря, свойственны оба пути, то все же путь от сложного к простому и от конкретного и частного к абстрактному и общему гораздо более легок, чем путь обратный. Можно даже сказать без особого преувеличения, что в современном естествознании превалирует путь анализа.

Разложить сложную действительность, выделить из конкретного более абстрактные моменты гораздо легче, чем из более простого воссоздать более сложное и от абстрактного перейти к конкретному. Метод анализа лежит в основе эксперимента современного естествоиспытателя. Как поступает современный естествоиспытатель в своей лаборатории? Он «анализирует», т.е. разлагает более сложные вещества и процессы на более простые, он анатомирует.

Выше мы видели, что ранее всего развивается математика, т.е. наука о самых общих отношениях, наблюдаемых в действительности. Понятия величины, расположения приложимы ко всяким явлениям, ко всяким телам. Опыт относительно этих отношений природы у человека и исторически и индивидуально накапливается раньше и легче всего. Нет ничего удивительного в том, что современные математики не только не нуждаются в каком-либо опыте при своих исследованиях, но, более того, стремясь освободить математику от всех наглядных представлений и превратить в формально-логическое построение, забывают, что в основе всех их рассуждений лежат представления, полученные еще с раннего детства.

Переходя к более конкретным отношениям действительности, мы прежде всего должны знать более абстрактные и общие. Механика предполагает знание математики. Физика и химия-механика. Биология—физики и химии. Правда, при таком возхождении к все более конкретным и узкой действительности нам не все нужно из более абстрактных наук, нужно только то, что, как более общий момент, входит в данное частное явление или в область. Так, при изучении общественных наук даже биология нужна в небольшой степени, так как здесь мы переходим в область отношений, где биологические факторы отступают далеко назад пред основными—общественными.

Но самое характерное в приложении естествоиспытателям достижений более общих наук к более конкретным это то, что эти достижения являются продуктом многих столетий и даже тысячелетий и естествоиспытатель, скажем биолог, еще на студенческой скамье (если не раньше) усваивает себе основные результаты математических и физико-химических наук и далее применяет их, как нечто само собой разумеющееся, по большей части некритически. Приходя же в свою лабораторию, естествоиспытатель начинает применять путь анализа: он разлагает сложное на простое, из конкретного выделяет абстрактные моменты. Когда физиолог исследует процессы организма, то ему обычно приходится отвлекаться от ряда конкретных особенностей. Так, в физиологии человека нет речи о том, есть ли человек немец или русский, рабочий или крестьянин, в ней идет речь об отправных человеческого организма вообще, хотя несомненный факт, что те люди, организмы которых исследовались физиологами были конкретными людьми, а не человеками вообще. Аналогично безразлично при исследовании многих из того, что важно было для физиолога. Химику безразлично при исследовании реакции веществ те конкретные особенности, при которых эти реакции применяются в них вещества встречаются в организмах и во многих других частных случаях. Все такое частное в данной науке обычно рассматривается как помеха (напр., примесь веществ, зачастую абсолютно неизбежных при протекании той или иной реакции получения данного вещества). Естествоиспытатель всегда стремится выделить данное вещество или процесс в «чистом» виде. Так, разлагая действительность на все более более простые элементы, естествоиспытатель познает действительность. Это познание выражается в понятиях, в теориях. Социальные сначала более простые и общие категории, от которых постепенно переходят к все более сложным и конкретным. Величина, число, линия, масса, количество движения, энергия, молекула, атом, электрон, химическая реакция, коллоид и т. д. и т. п.—вот те понятия, которыми оперирует естествоиспытатель. Но если анализ—основа метода современного естествоиспытателя, то синтез ему дается значительно труднее. Более успеш в этом отношении естествоиспытатель только в немногих областях, как, напр., в химии. Правда, и здесь всякому работавшему известное насколько синтез труднее анализа. Но если естествоиспытатель все же кое-где и в состоянии экспериментально осуществить синтез, то еще труднее ему удается этот синтез в мышлении. Метод анализа приводит к созданию естественно-научных категорий, они даны естествоиспытателю конкретно в виде его чистых

процессов и явлений в результате анатомирования действительности. Но как перейти от анатомии к живому организму? Как изобразить этот переход теоретически, т.-е. в мыслях? К сожалению, современный естествоиспытатель в этом случае поступает подобно анатому<sup>1)</sup>, который, на вопрос о том, что такое жизненный процесс, выволок бы свои анатомические препараты. Лучший возможный исход для такого анатома был бы позвать служителя при его анатомическом театре и продемонстрировать его в живом виде. Как из анатомических препаратов не получается живой жизни, так и из категорий и понятий, полученных путем абстракции, естествоиспытатель не умеет воссоздать теоретически картины данного конкретного явления, напр., жизни. Построить теорию данной частной области явлений—вот все, что с успехом делает современное теоретическое естествознание. Построение же картины более обширной, картины перехода от одной группы явлений к другой, воссоздание из абстрактных представлений картины конкретной действительности во всей ее сложности—это слабое место современного естествознания. А это несомненно задача еще более важная, чем анализ, чем анатомия действительности. Что истинный путь науки—путь от анализа к синтезу, это хорошо показал К. Маркс. «Экономисты XVII столетия,—писал он, напр.,—всегда начинают с живого целого, с населения, с нации, государства, нескольких государств и т. д. Как только эти отдельные моменты были более или менее установлены и абстрагированы, экономические системы начали входить от простейшего, как труд, разделение труда, потребность, меновая ценность, к государству, международному обмену и мировому рынку. Последний метод, очевидно, является правильным в научном отношении. Конкретное потому конкретно, что оно является сведенным к единству множеством определений, т.-е. единством в многообразии. В мышлении оно выступает, поэтому, как процесс объединения, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно является исходным пунктом в действительности и, следовательно, также исходным пунктом созерцания и представления. На первом пути полное представление испарится до степени абстрактного определения; на втором же абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного путем мышления»<sup>1)</sup>.

Но если естествоиспытателю дается легко путь анализа и тут он демонстрирует пред природой свою силу, то природа демонстрирует пред естествоиспытателем свою силу в лице конкретной действительности, как результате синтеза. Как известно, давнейшей мечтой естествознания является создание живого вещества, а когда-то пытались создавать даже человека. И если современное естествознание все еще бессильно создать лабораторно живое вещество, то природа в распоряжение всякого предоставила общедоступный хотя и не научный способ создания самого человека. Природа во всем демонстрирует нам свою способность к синтезу: развитие живого существа, развитие животного и растительного царства, развитие миров из рассеянного вещества и т. д. и т. п.—вот синтезы природы.

<sup>1)</sup> К. Маркс, К критике политической экономии. Введение к критике политической экономии, изд. «Московский Рабочий», стр. 24.

В чем причина, что современное естествознание еще так мало шагнуло вперед по пути синтеза? Мы не собираемся ответить на этот вопрос полностью. Но нам кажется, что не последней причиной в этом является слабость современного естествознания в теоретическом отношении. Если сравнить количество фактического материала, накопленного современным естествознанием, с тем, которым располагали древне-греческие натур-философы, в то же время сравнить степень теоретического одоления этого материала теми и другими, то поистине современные естествоиспытатели по сравнению с древними натур-философами являются жалкими ремесленниками. Мы отметили выше, что современные естествоиспытатели научились строить свои теории только на основе аналитического расчленения действительности, но метод, теория синтеза им неизвестны. Это сведение действительности к абстрактным и тощим элементам есть в натур-научная причина идеализма в современном естествознании. Конечно, идеализм имеет свои социальные корни, как и ограниченность современных естествоиспытателей. Нас здесь это не интересует. Современный естествоиспытатель, разложив действительность в простые, абстрактные элементы, полагает, что это и есть сама действительность. Глубоко прав был Энгельс, когда он писал: «Этот метод есть только видоизменение старого излюбленного идеологического, иначе говоря, априористического метода, который познает свойство какого-либо предмета не из самого этого предмета, но из его понятия. Сначала из предмета делается понятие предмета, затем переворачивают копье и меряют предмет по его отражению—понятию. Не понятие должно соответствовать предмету, но предмет понятию»<sup>1)</sup>. И достаточно взять почти любую математическую книгу или книгу по теоретической физике, или изложение теории современной биологии, чтобы убедиться в идеалистической трактовке выводов естествознания. Об этом много писалось на страницах нашего журнала.

Но даже и в том случае, когда мы имеем редкое явление современного естествоиспытателя-материалиста (редкое в среде буржуазных ученых), то и тут мы встречаемся фактически с тем же явлением: действительность представляется, как призрачный и весьма тощий мир абстрактных атомов и молекул. В этой причине ограниченности современного естественно-научного материализма. Он так же, как и естественно-научный идеализм, строит действительность из абстрактных представлений об атомах, молекулах и их движениях, хотя и признает существование и приоритет действительности.

Но, если несомненно, что современное естествознание слабо по части теоретического мышления, то так же несомненно и то, что стоящая перед ним задача—научиться синтетически мыслить—наиболее трудная из теоретических задач. И, как много раз подчеркивал Энгельс в своих произведениях, для естествознания один путь к разрешению этой задачи—усвоение достижений философии, вылучивание из нее рационального ядра. Так как философия в почете только пока у естествоиспытателей-марксистов (да и то у небольшой части), то их задача пропагандировать изучение философии естествоиспытателями, и тем самым

<sup>1)</sup> Энгельс, «Анти-Дюринг», стр. 46. Изд. «Моск. Рабоч.».

способствовать теоретическому оплодотворению современного естествознания.

А теперь перейдем к тем конкретным выводам, которые делают механисты, следуя ограниченной точке зрения современного естествознания. Стремясь изобразить конкретный мир, как нечто образованное движущей материей и следуя за естествоиспытателями в процессе абстрагирования, они приходят к выводу, что современные естествоиспытатели открыли «материю как таковую», количественным изменением которой и можно объяснить все качественные особенности всех процессов мира.

Так как, как мы показали выше, процесс абстракции опирается в эксперименте на анализ, то может возникнуть иллюзия, что последняя ступень разложения действительности экспериментом есть и последний мыслимый предел абстракций. Поэтому возможно отождествление общих абстрактных понятий с конечными продуктами анализа. Последний продукт анализа действительности по мнению механистов—электроны и положительные ядра; делая отмеченное отождествление, они приходят к выводу, что эти электроны и положительные ядра и являются «первоосновой материи». Более того они эту «первооснову» приравнивают к философскому понятию материи.

Прежде всего возникает вопрос: можно ли «все формы материи», т.-е. всю сложность конкретного мира изобразить как чисто количественные изменения этих (т.-е. электронов и ядер. А. М.) элементов? Конечно, большим достижением современной науки является доказательство того, что материя построена из электронов и ядер. Но, разложив материю на электроны и ядра, можем ли мы так же легко изобразить обратный процесс? Прежде всего нужно подчеркнуть, что материя отнюдь не исчерпывается электронами и ядрами. Уже древние атомисты и их противники видели трудность в том, что приходилось признать не только атомы, но и «пустоту» между ними. Вот эта-то «пустота» и есть камень преткновения и современного естествознания. Вопрос о строении материи не разрешается тем, что мы открыли ядра и электроны. Нужно еще разрешить вопрос о том, что такое среда, заполняющая промежутки между ядрами и электронами, и какое участие она принимает в строении материи вообще и электронов и ядер, в частности? И современное естествознание уже начинает понимать, что «первооснова» материи не электроны и ядра, но скорее тот мировой эфир, на котором уже так много поломали зубы естествоиспытатели (напр., Эйнштейн и его последователи). Достаточно в подтверждение сказанного сослаться на приобретенную широкую известность работу В. Нернста «Мироздание в свете новых исследований»<sup>1)</sup>. Проблема о среде, о мировом эфире уже потому трудна, что требует диалектического решения.

Но допустим, что материя сводится к электронам и ядрам. Можем ли мы чисто количественным и механическим путем воссоздать из этих элементов картину конкретной действительности, какова бы она ни была? Когда механисты отвечают категорически—да, то они забывают или упускают из виду то, каким путем образовались наши представления об электронах и ядрах.

<sup>1)</sup> Имеется в нескольких изданиях, в том числе и Госиздата.



Электроны и ядра, как и атомы, получают прежде всего, как результат разложения материи, т.-е. нарушения тех связей, которые имеют электроны и ядра в сложной материи. Разлагая материю, мы нарушаем и уничтожаем множество ее свойств, которые есть результат взаимодействия электронов, ядер и атомов, составляющихся из последних. И глубоко ошибается тот, кто полагает, что количественным изменением этих первичных элементов можно воссоздать снова нарушенную картину. Даже в области, принадлежащей собственно к атомам и молекулам, к области, более зрелой, чем учение об электронах и ядрах, совсем не так легко оказывается объяснить свойства различных веществ и явлений только путем создания картины более или менее сложного движения атомов и молекул по законам механики. В этих областях, казалось бы, легче всего построить механистическую картину. И тем не менее это оказывается не так легко. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в книги по физике и химии. В них всякий найдет бесчисленное множество свойств, которые все еще не получили объяснений и теоретической реконструкции. Достаточно указать на обширнейшую область явлений, происходящих в жидком веществе. До сих пор не найдено вполне удовлетворительного выражения для так называемого «уравнения состояния». Учение о растворах полно эмпирическими формулами. Да и одно ли учение о растворах? Всякий действительно серьезно изучавший современное естествознание знает, как много еще простора остается в нем для эмпирических выражений, т.-е. выражений, выведенных, так сказать, вслепую и не получивших своего объяснения с точки зрения атомистической теории. Но нам могут возразить, что тут трудность не принципиальная, но лишь техническая и что со временем естествознание сведет все эти неразъясненные сейчас свойства к атомам, электронам и ядрам. Но, к сожалению, для противников диалектической точки зрения и к счастью для нашей, дело не обстоит так просто. Можно было бы тезису сведения всего конкретного мира к точке первооснове электронов и ядер выдвинуть прямо противоположный тезис—объяснения свойств этих самых электронов и ядер из более сложных явлений природы. И это последнее было бы значительно правильнее, хотя истинный ответ и есть синтез обоих и является, таким образом, диалектическим. Действительно мы не только открыли электроны и ядра, исследуя сложные вещества, но более того мы свойства этих «кирпичей мироздания» понимаем только с точки зрения свойств сложной материи. И по мере того, как мы все глубже и глубже проникаем в понимание сложности скажем химических веществ, по мере этого мы понимаем многие из свойств электронов. Мы не только электронами объясняем сущность химической реакции, но и, наоборот, химическая реакция дала нам возможность понять ряд свойств электронов. И так во всем. И надо сказать, что такой диалектический характер взаимозависимости между простыми и основными понятиями и более сложными и производными был вполне ясно подчеркнут К. Марксом. Во «Введении к критике политической экономии» он писал по поводу категорий политической экономии: «Безразличие к определенному виду труда предполагает весьма развитую и цельную совокупность действительных видов труда, из которых ни один не является господствующим. Так, самые общие абстракции

вообще возникают только при богатом конкретном развитии, где одно и то же является общим многим или всем элементам. Тогда они перестают являться мышлению только в своей особой форме. С другой стороны, эта абстракция труда вообще является только результатом конкретной целостности трудовых процессов. Безразличное отношение к определенному труду соответствует общественной форме, при которой индивиды с легкостью переходят от одного вида труда к другому и при которой определенный вид труда для них является случайным, и потому безразличным. Труд здесь не только в категории, но и в действительности, стал средством создания богатства вообще и утратил свою связь с определенным индивидуумом. Такая общественная форма достигла наибольшего развития в современной из форм бытия буржуазного общества, в Соединенных Штатах. Здесь, таким образом, абстрактная категория «труда», «труда вообще», труда sans phrase, этот исходный пункт современной экономической науки, впервые, становится практической истиной. Следовательно, простейшая абстракция, которую современные экономисты ставят во главу угла и которая выражает древнейшее, для всех общественных форм действующее отношение, становится в этой абстракции практически истинным только как категория современного общества». Далее, так поясняет Маркс это положение: «Буржуазное общество есть наиболее развитая и многосторонняя историческая организация производства. Категории, выражающие его отношение, понимание его организации, дают одновременно возможность понять строение и производственные отношения всех отживших общественных форм, из обломков и элементов которых это общество строится, отчасти, продолжая влечить за собой их остатки, которые оно не успело преодолеть, отчасти развивая до полного значения то, что прежде имелось лишь в виде намека. Анатомия человека—ключ к анатомии обезьян. Намеки на высшее у низших видов животных могут быть поняты только в случае, если это высшее уже известно. Буржуазная экономика дает нам ключ к античной и т. д.»<sup>1)</sup> Это же самое мы наблюдаем и с электронами, ядрами, атомами, молекулами. Изучение химических реакций, физических явлений и т. д. привело к открытию строения материи. Но наши представления об атомах, электронах и ядрах далеко еще не пригодны для изображения таких сложных областей, как жизненные процессы. Исследуя эти сложные явления, мы несомненно обогатим значительно наши представления о «первооснове материи».

Но нам еще далеко до этого. Далеко прежде всего потому, что наши средства исследования еще весьма несовершенны для того, чтобы подробно и всесторонне исследовать такие мельчайшие объекты, как атомы, ядра, электроны. И когда хотят механистически из «первоосновы» материи воссоздать сложные явления, то упускают из виду, что наши представления о «первооснове» носят в значительной степени абстрактный характер. Действительно, мы не знаем методов исследования, которые давали бы возможность экспериментировать с отдельными атомами, электронами, или ядрами. В большинстве методов их исследования мы определяем свойства «кирпичей мироздания» косвен-

<sup>1)</sup> К. Маркс, «К критике политической экономии», стр. 27—28.

ным путем. Взять хотя бы к примеру определение массы, скорости и заряда электрона. Говорить об определении свойств отдельного электрона мы в данное время не имеем возможности, и мы не знаем, обладает ли какими-нибудь еще свойствами электроны кроме упомянутых выше. Но не только об электронах, но даже о таких по сравнению с ними крупных объектах, как об атомах мы не имеем сколько-нибудь полных представлений. И именно на атомах можно показать, что наши представления о них остаются в пределах лишь общих, т. е. абстрактных определений. Для нас атом в результате исследований получается лишь нечто, характеризованное, как среднее статистическое (то же относится и к молекулам, как, напр., в кинетической теории материи<sup>1)</sup>), притом определенное только в данном ограниченном отношении. Например, мы до последнего десятилетия даже не знали, что атомы химических элементов различны по массе у одного и того же элемента. И лишь открытие изотопов показало, что атомам присуще более конкретных свойств, чем мы предполагали ранее. Таким образом, нужно признать, что наши представления об электронах и пр. далеки, очень далеки от полноты и конкретности. И из этих-то полуабстрактных и полупустых «первооснов» нам широкообещательно обещают построить весь конкретный мир.

Но даже и в том случае, если бы мы имели полное представление о свойствах электронов и пр., то и в этом случае мы не могли бы механистически, исключительно количественным путем, построить картину более сложных явлений. Мы выше уже отмечали, что всякое разложение действительности на более простые элементы связано с разрушением ранее существовавшей связи. И как из продуктов анатомирования человека чисто количественным путем нельзя воспроизвести живого человека, так и из атомов и электронов нельзя получить сложной действительности. Стоять только на количественной точке зрения — это значит фактически стоять на почве только формальной логики. И когда т. т. механисты утешают себя тем, что электроны и ядра не чистые количества, а в то же время обладают и какими-какими качествами (всегда немногими), то они не могут уйти от неизбежного вывода из их исходных положений, что и в сложная действительность не будет ничего иметь сверх того, что они вложили в свои электроны и ядра.

Действительно «чисто количественный» путь не может нам объяснить появления новых качеств. Для того, чтобы мы могли объяснить появления этих новых качеств, необходимо привлечь теорию диалектики с ее скачками, развитием путем противоположностей, с единством противоположностей и т. д. Эти элементы теории диалектики никак не могут быть согласованы с утверждением, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц, а именно из положительных ядер и отрицательных электронов.

Мы показали, что эта «тождественность» в значительной степени есть результат абстракции и тех методов, какими есте-

<sup>1)</sup> Но этот же статистический метод в кинетической теории материи говорит, что по отношению к отдельным молекулам вполне допустимо предположение таких же индивидуальных различий, какие мы наблюдаем в обычных телах. См. закон распределения скоростей Максвелла.

ствоспытатели исследуют материю в ее мельчайших подразделениях. Приняв эту абстракцию за первооснову всего сущего, механисты неизбежно должны были сделать и другую, вытекающую из первой, ошибку, чудовищную по своему смыслу: они принуждены записывать идеализм в лице реалистов и пифагорейцев.

Действительно, идя вслед за анализом, можно смешать результаты анализа с результатами абстракции вообще и отождествить анализ с абстракцией. При анализе мы отвлекаемся, как и в абстракции, от многих свойств, присущих сложной действительности. В этом отношении результат анализа сходен с результатом абстракции. Но результаты последней значительно богаче первого. Не все мы можем анализировать в эксперименте. Мысленно же мы можем отвлекаться от множества свойств совершенно неотъемлемых в эксперименте от материального субстрата. В анализе мы разлагаем материальную сущность. В абстракции мы разлагаем и все возможные отношения, в какие данная вещь может вступать с другими. Так, мы можем человека определить как живое млекопитающее и отвлечься от всех его прочих свойств, хотя человека, представляющего только одно это свойство, и не существует. Точно так же материю мы можем определить бесчисленным множеством способов в соответствии с бесчисленным множеством ее свойств. Но когда мы ее определяем с точки зрения познания ее человеком, то мы можем отвлечься от всех ее свойств и сказать: материя есть то, что действует на наши органы чувств; материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении и т. д.<sup>1)</sup>

Но существует ли такая абстрактная материя? Реалисты бы ответили — да. Но что такое реалисты? Вот ответ: «Реалисты направления Ансельма Кентерберийского признавали вместе с Платоном, что общие понятия ведут бестелесное существование независимо от чувственных вещей, что понятия реальные и предшествуют вещам (sunt ante res). Реалисты берут в качестве исходного пункта мышление, понятие, затем они последнее анализируют, вскрывают все присущие, т. е., вернее, заранее приписываемые данному понятию определения, а найденным, таким образом, предикатам приписывают физическое бытие, реальность. Ошибка Ансельма и всех реалистов вообще заключалась в том, что они приписывали объективную реальность тому, что имело лишь субъективное значение, что они отождествляли мышление с бытием, логические категории с онтологическими»<sup>2)</sup>. Энгельс говорил: «Материя как таковая, это чистое создание мысли и абстракция. Подводя вещи, как телесно существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех их качественных различий. Следовательно, материя как таковая, в отличие от определенных существующих материй, не есть нечто чувственно существующее». И Энгельс был прав, когда он в приведенных словах отторгнул материалистическую точку зрения от идеалистиче-

<sup>1)</sup> См. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм, изд. 1920 г., стр. 143.

<sup>2)</sup> Деборин, Введение в философию диалектического материализма, изд. 1922 г., стр. 38.

ской. Для нас общее не существует вне конкретного и помимо него... «Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона, или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д.» Вот диалектическое решение вопроса. Материя, как философская категория, для нас не существует «как таковая». Материя для нас всегда является конкретной и спутывание атомов и ядер с философской категорией материи есть ошибка. Из этой ошибки с неизбежностью вытекает и другая. Раз абстрактное представление материи получило для механистов реальное существование в лице «первоосновы» и эта первооснова «чисто количественным» путем должна образовать все вещи, весь конкретный мир, то действительно между «механистической» точкой зрения и точкой зрения школы так называемых пифагорейцев не оказывается принципиальной разницы. Но что же представляет из себя пифагорейзм? «Числовая теория пифагорейцев видит свою задачу в том, чтобы определить постоянные отношения мировой жизни в числовой фиксации. Поэтому они говорят: все число, и понимают под этим, что числа представляют из себя определяющую сущность всех вещей. А так как те же самые абстрактные числа и числовые отношения встречаются во многих различных вещах и процессах, то они говорят также: числа это первоначальные образы, которым вещи подражают»<sup>2)</sup>. Таким образом, и здесь механистическая точка зрения встает на сторону отъявленного идеализма.

В устной и печатной дискуссии неоднократно защищившая механистическую точку зрения бросалась их противникам упрек в том, что они-де, признавая особое качественное отличие живых процессов от физико-химических, тем самым становятся на сторону витализма—протягивают им руку помощи и т. п. Надо сказать, что этот упрек остался и несомненно останется висящим в воздухе и не подтверждается никакими фактами.

В то же время механистическая точка зрения несомненно в своих выводах оказывается в родстве с реакционными течениями. Мы отмечали выше, что неизбежным выводом механистической точки зрения является пифагорейзм. И если мы посмотрим, какие течения среди естествоиспытателей примыкают и теперь к пифагорейству, то мы убедимся в правильности нашего вывода. Ограничимся парой примеров, хотя их и можно было бы увеличить до десятков.

В древности пифагорейзм был в большом ходу у тогдашних медиков. Они полагали, что здоровье человека зависит от гармонического сочетания в организме тепла, холода, сухости, влажности и т. д. Гармония эта определялась, конечно, словом. И вот как один из современных авторов оценивает пифагорейзм в древности и его современных поклонников. «Глушущую попытку понять и овладеть соматической природой человека при посредстве числа семь представляет сочинение Гипократа

«О седмирицах», которое очень живо напоминает в его математических тенденциях теорию Флисса<sup>1)</sup> о «протекании жизни», согласно ритмам 28 и 23, и которое оказало столь большое влияние на механический рационализм современных медиков. Еще сильнее и еще более сходным с античным прообразом вызвал себя геддоматизм у двух современных психологов, у Мейнуса, который пытался высшее проявление любовной и поэтической жизни Гете постигнуть в виде семилетних периодов, и у Г. Свобода, который пытался доказать вообще руководящее значение семилетнего периода для человеческой жизни»<sup>2)</sup>. Здесь мы видим, что древние пифагорейцы служат просто для обоснования современной числовой мистики.

Немногим лучше обстоит дело с современной математической наукой, где пифагорейзм имеет для себя благодатную почву. Проф. А. В. Васильев, противопоставляющий себя «узкому фашизму, считающему материализм Геккеля и Энгельса за последнее слово человеческого мышления», и отгораживающийся в то же время «от антинаучных построений и безответственных мистических исканий современных неоплатоников и гностиков», так характеризует выводы, делаемые естествоиспытателями и натур-философами из теории относительности Эйнштейна: «В математических соотношениях между числами, выражающих законы сопряжения точек событий, этих неопределимых далее элементов мира, идеализм, возрождая идею пифагорейства, может видеть ту истинную реальность, которая скрывается за нашими опущениями, и находить в общей теории относительности новый аргумент против материализма, нашедшего эту реальность в атомах и их движении»<sup>3)</sup>.

Таким образом, мы видим, что даже в оценке буржуазных ученых пифагорейская точка зрения в современном естествознании является реакционной.

В чем беда и вина механистической точки зрения, когда она опирается на современное естествознание? Эта беда и вина заключается в том, что механисты взяли у современного естествознания его ограниченный метод мышления, опирающийся на эксперимент, в основе своей применяющий анализ. Естествознанию, правда, удалось и при посредстве того метода, который оно применяет, достигнуть чрезвычайных результатов, устранить много мистических покровов, скрывавших от нас много явления природы. Но и здесь нужно подходить диалектически: то, что было ранее достоянием и совершенно неизбежным, теперь является недостаточным, может быть, и должно быть преодолено. Можно положительно утверждать, что современное естествознание переросло свой ограниченный метод, что для представителей революционного марксизма задача заключается не в том, чтобы преклонить свое теоретическое знамя пред современным естествознанием, но, наоборот, содействовать тому, чтобы естествознание по возможности скорее усвоило теорию диалектического материализма. Поэтому мы полагаем, что большой оче-

<sup>1)</sup> W. Fliess. Современный автор. См. его: «Der Ablauf des Lebens. Grundlegung zur exakten Biologie». L. 1906.

<sup>2)</sup> Цитата принадлежит Н. Diels «Antike Technik», 1920, стр. 25.

<sup>3)</sup> А. В. Васильев, Пространство, время, движение, 1923 г., стр. 128—129.

<sup>1)</sup> Ленин, К вопросу о диалектике,—«Большевик» № 5—103.

<sup>2)</sup> Виндельбанд, История древней философии, стр. 100.

редной задачей является критика современного естественно-научного метода и выяснение причин ограниченности современных естествоиспытателей, поскольку дело касается методологии и философии. Более того, мы думаем, что эта задача будет двигаться тем настоятельнее, чем более и более мы будем идти в полосу органического строительства социализма, опирающегося и исходящего из небывалого развития производительных сил, развития, требующего расцвета и естествознания.

Подводя итог всему сказанному, мы приходим к следующему выводу: естествознание привлекает к себе все более и более внимания в самых широчайших кругах и делается предметом массовой пропаганды. На основе выводов естествознания мы строим революционное мировоззрение, в части касающейся природы. Такой бурный рост в распространении естествознания связан с болезненными явлениями, приводящими к упрощенству в области теории. Только решительная борьба с ним может отделить революционную теорию от искажений.

## Грациадеи, политико-эконом и коммунист божьей милостью<sup>1)</sup>.

Л. Рудаш.

### IV. Реальность марксова закона стоимости.

#### Учение Грациадеи о цене.

Мы не собираемся защищать марксову теорию стоимости от нападок Грациадеи. Уже более полстолетия вся буржуазная политическая экономия направляет все усилия своей мысли на опровержение этой теории; по какой причине и с каким успехом, достаточно известно. Грациадеи, хотя он и коммунист, целиком находится под влиянием и, что гораздо хуже, целиком стоит на уровне этой буржуазной критики Маркса: к достопочтенным аргументам вульгарных экономистов он не прибавляет ни одного нового слова, он только пережевывает самые застарелые и плоские недоразумения,— правда, выдавая их при этом за самые новейшие открытия, за «последнее слово» науки.

Одним из таких освященных старостью «аргументов» буржуазной политической экономии является существующее якобы противоречие между I и III томами «Капитала». Вполне естественно, что это «противоречие» с восторгом открывается заново нашим Грациадеи. Маркс, видите ли, слишком поспешно перенял трудовую теорию стоимости Рикардо, построил на ней первый том «Капитала», и лишь по его написании и выходе в свет он к своему конфузу заметил, что развитая в нем теория стоимости и прибавочной стоимости противоречит действительности, в которой цены отклоняются от стоимостей (мнимых), а законы производства прибавочной стоимости от законов конкуренции (средней нормы прибыли). Но так как исправить роковую ошибку было уже поздно, то Маркс пустил в ход всякую «чертовщину», при чем, разумеется, впутался в величайшие противоречия и «непреодолимые затруднения».

Никто не примет всерьез это обвинение, повторявшееся тысячу раз и уже десять тысяч раз опровергнутое. И если мы все-таки потратим еще несколько слов на этот вопрос, то лишь потому, что это даст нам возможность расчитаться с Грациадеи не только как с экономистом, но и как с «социологом» и «философом истории», т.-е. расчитаться с ним окончательно. Ибо Грациадеи не узкий специалист-ученый, только и знающий, что свою специальность, экономическую: под свою собственную «тео-

<sup>1)</sup> Окончание, см. № 12 за 1925 г. Перевод с немецкого И. Румера.

рию цены и прибавочной цены», противопоставляемую им марксовской теории стоимости, он подводит философский и социологический фундамент. Этим он косвенно подтверждает то, что прежде отрицал, — а именно, что в марксизме «экономическая в тесном смысле» и «политико-экономическая» части находятся в теснейшей связи. Почему бы, в самом деле, быть им не связанными у Маркса, если даже Грациаден, как только он пытался построить экономическую теорию цен, вынужден излагать свои взгляды на человеческую природу, человеческое общество и его связь с человеческими поступками? Каковы эти взгляды, в данном случае безразлично; как они ни жалки, они все же доказывают, на практике самого Грациадена, что в каждой системе политической экономии должно соответствовать и служить основанием некоторое определенное воззрение на общество. Но почему то, что здорово для Грациадена, должно быть смертельно для Маркса? И у Маркса его «экономическое в тесном смысле слова» учение находится в теснейшей связи с его «политико-исторической» теорией, — более того: «экономическое в тесном смысле» учения у него вовсе и нет, ибо политическая экономия Маркса является только частью его философского и социологического учения. Экономическую теорию Маркса можно опровергнуть не иначе, как опрокинув весь марксизм.

Это выяснится тотчас же, как только мы ближе рассмотрим к мнимому противоречию между I и III томами «Капитала». Вопрос об этом противоречии имеет две стороны: это не только вопрос о единстве марксизма, но и чисто исторический вопрос. Правда ли, что Маркс так-таки и не имел никакого понятия о тех «противоречиях», к которым привело дальнейшее развитие его теории стоимости? Это было бы возможно только в том случае, если бы Маркс выпустил I том «Капитала», не имея никакого представления о том, что последует дальше. Но это не только неправдоподобно — это фактически неверно. Не говоря о том, что в I томе имеются многочисленные указания на последующее решение (напр., в главе о деньгах, в главе о воспроизводстве); не говоря о том, что «Теория прибавочной стоимости» (представляющие собою не что иное, как записные тетради Маркса, составленные задолго до появления I тома), обсуждают почти на каждой странице интересующий нас вопрос и излагают в самых различных вариациях его решение, данное в III томе, — не говоря обо всем этом, Каутский уже 15 лет тому назад опубликовал программу всего «Капитала». План всего сочинения был у Маркса готов задолго до появления I тома. Каутский говорит об этом следующее:

«В то время (в 1862 г.), за пять лет до появления первого тома, весь «Капитал» был продуман до конца не только со стороны общего хода мысли, но уже и со стороны того иланомного построения, в каком он впоследствии предстал перед публикой» (Предисловие к III тому «Теории прибавочной стоимости»).

В чем, однако, заключается то «противоречие», та «подводная скала», «на которую он (Маркс) натолкнулся»? Оно заключается, по Грациадену, в следующем:

«Ясно само собой, что если переменный капитал допускает прибавочную стоимость, а постоянный — нет, то те предприятия,

в которых — при равном общем капитале — доля постоянного капитала больше, будут выручать меньшую прибавочную стоимость, чем те, в которых эта доля меньше. Но такое неравенство прибавочных стоимостей и прибылей было бы несомненно с законными конкуренциями, согласно которым равновеликие капиталы должны приносить в один и тот же промежуток времени одинаковые прибыли.

«Чтобы обойти эту подводную скалу, Маркс принимает, что предприниматели, вложившие большую долю переменного капитала, продают свои товары по более низкой меновой стоимости (цене), чем какая вытекает из фактически содержащегося в них количества труда, — и что, наоборот, те предприниматели, которые находятся в противоположных условиях, продают свои товары по соответственно более высокой цене, чем какая действительно требуется количеством затраченного на них труда» («La Concezione», стр. 42).

Как мы видим, данное Марксом решение этого «противоречия» Грациаден излагает так же нескладно, более того — так же искаженно, как он прежде излагал теорию стоимости Маркса: он просто забывает о том, что прибавочная стоимость и прибыль (вместе с процентами и с рентой) в общественном масштабе совпадают, равно как и цены всех товаров совпадают с их стоимостью, и что норма прибыли определяется органическим составом общественного капитала, как это доказывается тем фактом, что норма прибыли имеет тенденцию к падению. Но как разрешается это «противоречие» по Грациадену? Рассказать об этом он еще только обещает в своей следующей брошюре, которая будет посвящена проблеме «технического капитала» и где он, ex professo покажет, сколь ошибочно допущение Маркса, что только переменный капитал «допускает» прибавочную стоимость.

Вероятно, нет такого коммуниста (кроме Грациадена), которому нужно доказывать, что такая постановка вопроса разрушает самые основы научного социализма. Распространяться об этом нет никакого смысла. Но мы сочли не лишним сказать о том, куда ведет путь, на который вступил Грациаден. Грациаден уверял нас, что он хочет подвергнуть созидательной «критике» лишь «несущественные» части марксизма — те части, которые сделались «несостоятельными» в виду развития монополистического капитализма. Но фактически Грациаден хочет отменить все существенные части марксизма — все равно, имеют ли они какое-нибудь отношение к монополизму, или нет. Подчеркну еще раз, что о выходе последней его брошюры только объявлено, сама брошюра пока еще не вышла. Все же мы не будем несправедливы к нему, если предостережем его заранее против тех следствий, к которым неизбежно приведет его «теория».

Обратимся теперь к другой, более важной стороне вопроса о «противоречии», в котором якобы запутался Маркс. Стоимость и цена не совпадают друг с другом; прибавочная стоимость, произведенная в отдельном капиталистическом предприятии, и она же, фактически реализованная капиталистом (с этой последней точки зрения она называется прибылью) — точно также различны. Тут в самом деле имеется налицо противоречие — но не в марксовской системе, а в действитель-

ности. Как известно, это не единственное противоречие, существующее капиталистическому порядку. Великая заслуга Маркса в том именно и состоит, что он констатировал это противоречие, вскрыл то, что за ним таится, и показал те формы, в которых оно диалектически разрешается. Диалектически—ибо оно при этом не исчезает, а движется в таких формах, которые, приводя к временному разрешению, всякий раз воспроизводят само противоречие на высшей ступени—до тех пор, пока не рухнет сама система.

Марксова, да и всякая вообще, теория стоимости имеет своей задачей объяснить как раз те два явления, которые для Грацианди, как и для всей буржуазной вульгарной экономики, составляют единственную реальность: цены и прибыль. Отметим: цены товаров и прибыль капиталиста. Это необходимо подчеркнуть. Ибо за этими явлениями капиталистического общества скрывается нечто, что имеется во всяком обществе; во всяком обществе существует нечто, что при капиталистическом строе принимает форму цены товаров, и нечто, что облекается при этом строе в форму прибыли капиталиста. А именно: за ценой скрывается стоимость, а за прибылью—прибавочная стоимость; и далее: за первой скрывается труд, а за последней—прибавочный труд. Во всяком обществе люди должны производить, и всякое общество должно как-нибудь отдавать себе отчет в том, каким количеством труда оно располагает и как распределить это количество для производства разных категорий необходимых благ, чтобы иметь их в достаточном множестве и чтобы было возможно воспроизводство. Не-капиталистическое общество точно так же стоит перед этой задачей, как и капиталистическое, ибо легко видеть, что без ее постоянного разрешения хозяйственная жизнь немедленно застопорилась бы. Первобытное общество, живущее охотой, не может уклониться от этой необходимости; простейшее крестьянское хозяйство должно целесообразно распределять свою рабочую силу и думать об обеспечении воспроизводства. Эта необходимость, эта неустрашимая предпосылка всякого хозяйствования осознается, конечно, всеми докапиталистическими обществами лишь весьма несовершенно. Но не осознанной она остается и в капиталистическом обществе. И если в этом последнем она же достигнута гораздо более высокая ступень совершенства в выполнении описанной задачи, то лишь потому, что здесь под давлением необходимости возникли формы, допускающие хотя все еще весьма недостаточное, но по сравнению с прошлыми общественными формациями все-таки более совершенное ее выполнение. Этими формами и являются: товарная форма продуктов, стоимость (цена) товаров и прибавочная стоимость (прибыль капиталиста).

В чем заключается более высокое развитие товарного общества сравнительно с обществом, основанным на рабском труде или с обществом феодальным,—этот вопрос нас сейчас не интересует. Но поскольку это товарное общество, с его широко развитым разделением труда, с его «атомизированным» хозяйством, существует, в нем неизбежно должна как-нибудь проявиться указанная необходимость,—хотя бы, по слову Маркса, так, как проявляется сила тяжести, когда на чью-нибудь голову обру-

шивается потолок. Капиталистическое общество есть товарное общество, т.-е. такое, в котором блага производятся независимыми друг от друга частными производителями. Общественная увязка производства здесь как будто исчезает из производственного процесса. Но она должна быть восстановлена под страхом гибели общества. Это восстановление осуществляется путем обмена, на рынке,—другими словами, в процессе обращения продуктов, которые тем самым становятся товарами. Здесь товар обменивается на товар, один продукт труда на другой,—трудовые деятельности обмениваются друг на друга, приводятся во взаимную связь. Отдельные капиталисты распределяют свои капиталы, т.-е. разные трудовые деятельности, как будто по собственному произволу; выбор той или другой отрасли производства зависит, казалось бы, от случая, от личного усмотрения. Но при таком положении неизбежно было бы утрачено пропорциональное распределение общественного труда, и сделалось бы невозможным воспроизводство, погону что не производились бы в надлежащем количестве и соотношении предпосылки последнего (предметы потребления, средства производства, рабочая сила и т.д.). Должно, следовательно, существовать средство, создающее эти неустрашимые предпосылки общественного производства вопреки индивидуальному, частному характеру производственной деятельности, вопреки отсутствию производственного плана и т.д. Что эти предпосылки создаются, об этом свидетельствует ежедневный опыт; где они создаются, того не тайна: в процессе обращения; но как они создаются, это-то и составляет вопрос.

Должен существовать механизм, принуждающий отдельных капиталистов действовать не по собственному произволу, а так, чтобы при этом выполнялись задачи общественного производства. Вопрос сводится таким образом к вопросу об отношении индивида к обществу. Индивид поступает согласно мотивам, приводящим его в движение. Но мотивом капиталиста является прибыль. Эту прибыль он вычисляет на основании общей величины вложенного им капитала. За противоположность нормы прибавочной стоимости и нормы прибыли скрывается, таким образом, противоположность между индивидом и обществом, между индивидуальным сознанием (мотивами, целями и т.д.) и общественной необходимостью.

Буржуазная политическая экономия эпигонов, за отсутствием у нее точной социологии, целиком стоит на точке зрения индивида, субъекта, тем более, что и та скудная социология, которая служит ей основой, насквозь проникнута идеализмом, субъективизмом, индивидуализмом. Это вполне соответствует точке зрения отдельного капиталиста, а также внешнему облику капиталистического хозяйства, производящему такое впечатление, будто исходным пунктом и определяющим элементом хозяйства является обращение. Эта точка зрения превосходно описывает мотивы «хозяйствующих субъектов», принимаемые ею за чистую монету и за последнюю причину экономических явлений, вследствие чего поверхностные категории, категории обращения, и оказываются для нее единственной реальностью. Упомянутые вы-

ше задачи хозяйственного организма на этой точке зрения и не ставятся; и если они, в виде исключения, и возникают, они не могут быть разрешены, потому что их постановка, не говоря уже о решении, требует совсем другой точки зрения—именно требует, чтобы производство было признано не только за исходный пункт, но и за всепроникающий элемент хозяйства, и чтобы общество было признано не только за отправной пункт, но и за методологическое и историческое *primum* по отношению к индивиду.

Буржуазная политическая экономия (каковы бы ни были ее социальные корни и апологетические тенденции) иногда очень хорошо и тонко описывает со своей точки зрения мотивы капиталистов, но она не в силах объяснить общественный результат—создание общественной увязки труда в пропорции, необходимой для беспрепятственного воспроизводства. Переходом капиталистов от одной отрасли промышленности к другой эта пропорция осуществляется фактически, хотя и не без трудностей, достигающих временами большой остроты (экономические кризисы). Но этот факт требует объяснения. Мотивы ли капиталистов производят, случайно и мимоходом, также и этот результат,—или, наоборот, сами эти «мотивы» есть только субъективные формы сознания, в которые облекается, в капиталистическом обществе, всеобщая объективная необходимость общественного бытия?

Наш товарищ Грацианден становится, разумеется, целиком на буржуазную точку зрения. Его «теория» цен представляет собою своеобразную мешанину, в которой главную роль играют предельная полезность и издержки (производства). (С этой «теорией», а также с его «теорией» капитала и прибыли, мы подробнее познакомимся ниже, а пока ограничимся лишь тем, что необходимо для нашей настоящей цели). Каждый производитель товара «будет требовать на рынке некоторого количества благ, полезность которых могла бы возместить ему как убыток, который он терпит, отдавая товар, так и те усилия, те издержки, с которыми было сопряжено для него производство этого товара» («Цена и прибав. цена», стр. 43). Непонятно только, что вообще гонит товарладельцев на рынок. Ведь они терпят убыток, отдавая свои товары! Избежать этого убытка они могли бы только, если бы сидели дома. Правда, приведенную фразу Грацианден спешит дополнить таким замечанием: «Поскольку разделение труда уже существует, величайшим несчастьем для производителя была бы невозможность продать свой товар». Выходит как будто, что производитель все-таки «терпит убыток» именно тогда, когда он не может «отдать» свои товары! Но послушаем дальше:

«Раз дано употребление денег, то, разумеется, и производитель этого товара (какого? денег? Л. Р.) будет измерять возможность своих производственных издержек определенным количеством денег (!), имеющих у других (!!).—совершенно так же, как покупатель определенного товара измеряет усилия, затраченные на его изготовление, определенным количеством денег, которыми он располагает (!!!)».

Итак, «производитель денег» измеряет свой товар, т. е. деньги, теми деньгами, которые имеются—неизвестно откуда—у дру-

гих, но остальные товаропроизводители измеряют свои товары отнюдь не деньгами, которыми располагает производитель денег,—это было бы «просто» неверно,—нет! производители денег измеряют свои товары деньгами других, но все остальные лица, желающие получить какой-нибудь товар, измеряет его стоимость с своими собственными деньгами, деньгами, которыми они сами располагают». Это уже не просто неверно, это—глупо! Но послушаем заключение:

«Для того, чтобы какой-нибудь товар мог непрерывно производиться и продаваться, должны быть, следовательно, выполнены (путем обмена) два основных условия: с одной стороны, лицо, которому он предлагается, должно считать его достаточно полезным—сравнительно с требуемой для его приобретения суммой денег; а, с другой стороны, производители данного товара должны выручить от его продажи такую сумму денег, которая в достаточной мере компенсирует их за издержки производства» (там же).

Полезность (спрос) и издержки производства (предложение) и определяют цены—и вот каким образом:

«Так как у потребителей свои интересы и своя точка зрения, а у производителей—своя, то желания обеих сторон могут быть согласованы только в том случае, если, как это бывает при всяком соглашении между людьми, каждая сторона считается с аргументами и целями другой. Так, напр., потребители, при всем своем желании покупать по самым низким ценам, знают, что товар вскоре исчезнет с рынка, если производители товара не смогут покрыть из выручки от его продажи хотя бы свои производственные издержки. А, с другой стороны, производители, при всем своем стремлении продавать по возможно более высоким ценам, признают (!), что потребители поступают логично (!!), платя как можно меньше за товар худшего качества или за не вполне удовлетворительный суррогат» (там же, стр. 46).

Миленькая идиллия, не правда ли? Эта весьма комичная «теория», конечно, так же неспособна, как и вульгарная буржуазная экономия, которую она дословно копирует, ответить на кое-какие вопросы, составляющие ахиллесову пяту всякой субъективной теории. Таковы, напр., вопросы: как определяется высота цен, когда спрос и предложение покрывают друг друга? Как может быть выражена в числах полезность того или другого блага? Или: в каком размере и кем устанавливается прибыль капиталиста по покрытию всех его издержек? Тут мы опять лишены великого объективного критерия. И наконец, *last but not least*,—какую роль играет во всем этом труд? Никакую? Он создает продукты,—но неужели никакой дальнейшей роли в экономике он не играет? Нашему товарищу, который на все эти вопросы отвечает весьма пышными, но и весьма пустыми увертками (вроде «непрерывной преемственности социальных явлений» или «невозможности измерять издержки производства *ex post*»), мы зададим только последний из приведенных вопросов, сразу изобличающий всю пустоту его «теории издержек».

Рабочий такой же товаровладелец, как и всякий другой. Его товар—рабочая сила. Последняя должна быть полезной для других и связана с производственными издержками для рабочего.

Стало быть, по теории нашего товарища, цена этой рабочей силы должна определяться пользой, извлекаемой из нее капиталистом, и производственными издержками, необходимыми для сохранения жизни рабочего. Но польза, приносимая рабочим капиталисту, заключается в труде. Значит, этот труд и имеет ценность. По крайней мере, в представлении капиталиста, который—заметьте это, тов. Грациаден!—мыслит весьма «логично» «Заработная плата» и есть та, соответствующая этому «логичному» мышлению, категория, к которой приводит «теория издержек». Значение же и социальную функцию этой категории Маркс объясняет так:

«Классическая политическая экономия заимствовала у повседневной жизни, без дальнейшей критики, категорию цены труда». А затем спросила себя, как эта цена определяется. Она вскоре убедилась, что изменения в отношении спроса и предложения ничего не объясняют в вопросе о цене труда, как и всякого другого товара, кроме изменений этой цены, т. е. колебаний рыночных цен выше или ниже определенной величины. Когда спрос и предложение покрывают друг друга, прекращается—при прочих равных условиях—и колебание цен. Но тогда прекращается и возможность объяснить что-нибудь при помощи спроса и предложения. Цена труда, при равенстве спроса и предложения, есть его независимая от этого отношения, его естественная цена, в которой и был, таким образом, найден подлинный предмет исследований. Или же брали более продолжительный период колебаний рыночной цены, напр., год, и тогда оказывалось, что эти колебания выравниваются до некоторой средней нормы до постоянной величины. Определять эту величину приходилось, конечно, иначе, чем выравнивающиеся отклонения от нее самой. Этой возвышающейся над случайными рыночными ценами и регулирующей их ценой труда, «необходимой ценой» (физиократы) или «естественной ценой» труда (Адам Смит), может быть, как и в случае других товаров, только его выраженная в деньгах стоимость.

«Таким путем политическая экономия проникла, как ей казалось, через случайные цены труда к его стоимости. Как в случае других товаров, эта стоимость была затем определена издержками производства. Но что такое издержки производства рабочего, т. е. издержки, необходимые для производства и воспроизводства самого рабочего? Этот вопрос политическая экономия бессознательно подставила вместо первоначального, так как с производственными издержками труда, как такового, она вращалась в круге и не могла сдвинуться с места... Занимаясь различием между рыночными ценами труда и его так называемой стоимостью, отношением этой стоимости к норме прибыли, к произведенным трудом товарным стоимостям и т. д., так никогда и не нашли, что ход анализа привел не только от рыночных цен труда к его предполагаемой стоимости, но и к тому, что эта стоимость самого труда оказалась снова распределенной в стоимость рабочей силы» (Маркс, «Капитал», I).

Сказанное здесь Марксом о стоимости рабочей силы очевидно, разумеется, не только к одному этому, но и ко всякому товару. Почему политической экономии не удастся перейти от рыночных цен к действительным ценностям, это объясняется

здесь, как и в случае остальных товаров, все той же причиной: нежеланием разоблачить тайну буржуазного общества, к чему прямо или косвенно приводит всякая трудовая теория стоимости.

«Форма заработной платы стирает всякий след разделения рабочего дня на необходимый и прибавочный труд, на труд оплаченный и неоплаченный. Весь труд кажется теперь оплаченным. При барщинном труде труд крепостного на самого себя и его принудительный труд на помещика различаются пространственно и временно, осязательно чувственным образом. При рабском труде даже та часть рабочего дня, во время которой раб только возмещает стоимость своего собственного существования, в которую он, стало быть, действительно работает на самого себя, представляется трудом на его хозяина. Весь его труд кажется неоплаченным трудом. Наоборот, при наемном труде даже прибавочный или неоплаченный труд кажется оплаченным. Там отношение собственности маскирует труд раба на самого себя, здесь денежное отношение маскирует даровой труд наемного рабочего.

«Отсюда становится понятной огромная важность перехода стоимости и цены рабочей силы в форму заработной платы или в стоимость и цену самого труда. На этой форме явления, которая скрывает действительные отношения и выставляет напоказ их прямую противоположность, покоятся все правовые представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства, все его иллюзии свободы, вся апологетическая болтовня вульгарной экономии.

«Если мировой истории нужно много времени, чтобы проникнуть в тайну заработной платы, то нет, наоборот, ничего проще, как понять необходимость, *raison d'être*, этой формы явления» (Маркс, там же).

Грациаден, стоящий, как мы видели, на точке зрения буржуазной экономии, согласно которой рабочий продает свой труд, признает тем самым, да и всей своей теорией цен и издержек производства, *raison d'être* капитала, и свою работу он увеличивает в следующей своей брошюре, где он покажет, что прибавочная стоимость создается не только рабочим (переменным капиталом).

В отличие от буржуазной—субъективной, индивидуалистической—позиции, марксизм стоит на общественной, объективной точке зрения: потребности и нужды производства суть первоначальное, и мотивы индивидов коренятся в этой объективной необходимости. Так как объективная суть всякого, а значит и капиталистического, общества заключается в выполнении задач общественного производства (т. е. в распределении количества труда, которым общество располагает для производства необходимых благ, в наблюдении за правильностью этого распределения, в обеспечении производства и воспроизводства и т. д.), то должен существовать объективный общественный механизм, обеспечивающий выполнение этих задач. Если я считаю общество первоначальным фактором, если необходимость материального общественного производства я считаю движущей силой, создающей, в зависимости от высоты производительных сил, определенные производственные отношения между людьми



ми, те социальные формы, в которых осуществляется это объективное содержание и которыми определяются действия людей,—тогда за мотивами, определяющими человеческие действия, т.-е. в производстве, я буду искать и найду объективные материальные причины.

Я не собираюсь, конечно, повторять здесь давно известные истины и излагать учение Маркса о прибыли. Здесь для нас важна только социологическая сторона этой проблемы. Не только нет никакого противоречия между марксовой теорией стоимости (прибавочной) и его теорией прибыли (другими словами—между I и III томами «Капитала»), но, наоборот, вся политическая экономия Маркса есть только в высшей степени последовательное приложение его социологической теории—исторического материализма—к капиталистическому обществу.

С точки зрения этой теории (правильность которой даже Грациаден не вполне подвергает сомнению), проблема капиталистического общества заключается именно в том, чтобы формы сознания, на поверхности определяющие в этом обществе действия людей, привести к их реальной сути. Цена, прибыль и заработная плата—таковы эти формы сознания. Реальной сутью для марксизма это ясно само собой—может быть только объективная необходимость производства и воспроизводства. На поверхности капиталистического общества ее, правда, нельзя увидеть: здесь царит частное производство, конкуренция, цена, прибыль. Но за этими явлениями должен скрываться общественный момент, общественное производство с его потребностями, все, что царит на поверхности, есть только субъективное представление об объективных отношениях. С этой общественной точки зрения за товаром должна скрываться потребительная стоимость, за ценой—стоимость, за последней—общественный труд, за прибылью—прибавочная стоимость (прибавочный продукт), за рынком и обращением должно скрываться производство. Свлекши формы явления, в которые облекается здесь общественное производство и воспроизводство, мы одновременно вскрыем тот механизм, при помощи которого осуществляются потребности общественного производства вопреки субъективным желаниям, целям и интересам хозяйствующих субъектов.

Именно эта социологическая точка зрения и заставляет Маркса начать свое изложение с производства товара. Товар (стоимость, прибавочная стоимость) производится, товаризация это те блага, которые производит и распределяет среди своих членов всякое общество. При капитализме производство и распределение хозяйственных благ регулируются стоимостью и прибавочной стоимостью, и притом в двойном смысле. В-первых, повышение и падение цен и осуществляемое конкуренцией распределение прибавочной стоимости обеспечивает правильное распределение общественного труда и постоянное развитие производства; а, во-вторых, потребление капиталистов и рабочего класса регулируется теперь не голым насилием, как в прежних обществах, а простым экономическим отношением, причем произведенная рабочим классом прибавочная стоимость распределяется между отдельными слоями класса капиталистов через посредство конкуренции.

Грациаден решительно ничего не понимает в том великом достижении, которое заключалось в открытии Маркса, что распределение прибавочной стоимости, произведенной в частных предприятиях, осуществляется посредством общественного процесса (конкуренция, норма прибыли). Он видит в этом только «уступку», сделанную Марксом для обхода той «подводной скалы», на которую он натолкнулся. Дорогой товарищ! Дело не так просто. Неужто вы взаправду думаете, что Маркс не знал ваших «возражений»? Он знал их все до одного, он слышал их слово в слово из уст Кэри, Сэев, Мак Кэллоков и tutti quanti. Марксу вовсе незачем было делать «уступки», потому что и по Марксу (как они и есть в действительности) прибавочная стоимость (несмотря на то, что она производится в частных предприятиях) есть общественный продукт, продукт общественного труда. Только не в том смысле, как вы себе это представляете—будто не каждый рабочий производит действительную и фактическую прибавочную стоимость,—а в том, что всякое капиталистическое предприятие, несмотря на его частный характер, существует и может существовать только как часть всего общественного хозяйства, как звено всего общественного процесса производства. Дело не в том только, что блага, производимые в частных предприятиях, предназначены для обслуживания потребностей всего общества, что каждое капиталистическое предприятие и каждая категория продуктов должны явиться звеном всего общественного производства, каждый товар должен оправдать себя в качестве предмета потребления,—дело в том, что прибавочная стоимость и прибыль с общественной точки зрения совпадают. Я подчеркиваю это еще раз потому, что отсюда видно, как прибыль, во всех своих разновидностях, имеет своим источником производство. Решающая роль, которую играет в образовании средней нормы прибыли органический состав всего общественного капитала, что выражается в тенденции этой нормы к понижению, доказывает, что это производство есть общественное производство. Поэтому и распределение прибавочной стоимости, производимой в отдельных предприятиях, совершается общественным путем, в результате общественного процесса. Посредствующим механизмом служит конкуренция, законы которой коренятся в материальных потребностях производства и проявляются в сознании индивидуальных производителей, как их мотивы. Как стоимость данного товара зависит не от количества труда, фактически затраченного на его изготовление, а от того, какова приходится на него доля всего общественно-необходимого труда (что в свою очередь определяется общественным процессом, процессом конкуренции),—так и отдельный капиталист выручает не столько прибавочной стоимости, сколько он производит, а сколько приходится на его капитал, как на определенную долю всего общественного капитала. И, стало быть, либо уже само понятие стоимости у Маркса заключает в себе противоречие (чего до сих пор еще никто не утверждал), либо образование прибыли совершается в полном согласии с образованием стоимости путем того же, независимого от индивидуального сознания, процесса. Образование той и другой подтверждает социологическую теорию Маркса, по ко-

торой общество господствует над индивидами, определяя все их поведение, а не наоборот.

Сказанное станет еще яснее, если мы сделаем небольшой экскурс в социологию Маркса. Впрочем, к этому, как уже отмечено, нас вынуждает и сам наш противник, поскольку он пытается обосновать свою теорию цены и прибавочной стоимости философским и социологическим хламом. Когда мы сравним его взгляды с системой Маркса, которую он тщится уничтожить, убожество «созидательной критики» тов. Грациаден станет перед нами во всей своей наготе.

### V. Учение Грациаден о прибавочной цене.

Политическая экономия Маркса может быть определена, как об'ективно-историко-общественная политическая экономия. Три основных признака характеризуют политическую экономию Маркса:

1. Признание примата общества над индивидом.
2. Признание исторически-преходящего характера всякой экономической структуры.
3. Признание доминирующей роли производства.

(См. Бухарин, «Политическая экономия рантье», стр. 81).

Так как марксизм представляет собою стройное целое, ясно, что эти три принципа политической экономии вытекают из философских и социологических принципов марксизма, являющихся лишь их приложением к экономии. Не только политическая экономия Маркса, но марксизм в целом есть «об'ективно-историко-общественная теория» мира (включая и общество).

Философия Маркса основана также на трех принципах:

1. Примат материального мира над человеком (примат природы над обществом, примат материи над духом или об'екта над субъектом—материализм).

2. Признание, что мир, как материальный процесс, развивается (т.е. движется, изменяется, ибо развитие может быть и с обратным знаком—историзм).

3. Признание, что развитие общества происходит согласно выражающим об'ективную закономерность природы (об'ективизм).

Приложение философии Маркса к общественным явлениям дает следующие три принципа марксовой социологии:

1. Воззрение на общество, как на материальный процесс человеческой жизни. Отсюда: примат этого материального процесса жизни над другими общественными процессами, в частности над процессом духовной жизни. Отсюда: примат общества, как процесса, над индивидом (материализм).

2. Признание, что общество, как материальный процесс жизни, развивается (=движется, изменяется, см. выше). Развитие получает здесь название исторического процесса (историзм), его отдельные фазы называются историческими эпохами (историзм).

3. Признание, что развитие общества происходит согласно законам, выражающим об'ективную закономерность общества (как выше—природы). В эту общую закономерность входит ряд специальных законов, изменяющихся от одной исторической

эпохи к другой (в рамках общей закономерности). Этим закономерность общества отличается от закономерности природы (об'ективизм).

Три приведенные выше принципа политической экономии Маркса представляют собою лишь приложение философского и исторического материализма к капиталистическому обществу, взятому как материальный процесс жизни.

Согласно социологии Маркса, всякое общество должно рассматриваться, как материальный процесс жизни живущих в нем людей. Это всеобщий закон, одинаково относящийся ко всякой исторической эпохе. Но самый процесс в разные эпохи бывает разным, он в каждую данную эпоху протекает по особым законам, представляющим собой модификации общих законов. Поэтому связь материального процесса жизни общества с остальными общественными процессами (политическим и духовным), а также общественный процесс в целом, могут быть изложены в общем виде; это и составляет задачу социологии. Но так как, согласно сказанному, сам материальный процесс (как и его политическая и духовная надстройка) всегда конкретен, так как он в каждую эпоху принимает особую форму и протекает по особым законам, то, по Марксу, нет всеобщей политической экономии, относящейся ко всем эпохам одинаково.

Правда, материальный процесс жизни, как таковой, процесс производства, тоже имеет свои общие признаки.

«Всем эпохам производства свойственны некоторые общие признаки, общие определения. Производство вообще есть абстракция, но абстракция разумная, поскольку она действительно выделяет общее, фиксирует его и тем самым избавляет нас от повторений» (Маркс, «К критике политической экономии», Введение, 9).

Но эти общие признаки производства не больше, чем абстракция, только «избавляющая нас от повторений». Так, в 5 главе «Капитала» Маркс описывает трудовой процесс вообще, но лишь для того, чтобы в следующей же главе перейти к той форме, которую он принимает в капиталистическом обществе,— к процессу капиталистического увеличения стоимости. Подлинную задачу политической экономии составляет рассмотрение не первого, а второго процесса. Ибо задача эта именно в том и состоит, чтобы изложить «процесс развития (определенный), выделяющий их из общего и сходного. Определение, приложимые ко всякому производству вообще, как раз и должны быть отброшены, чтобы за единством не были забыты существенные различия: последнее может случиться уже потому, что как субъект, человечество, так и об'ект, природа, остаются теми же самими. В этом забвении различий лежит, напр., вся мудрость современных экономистов» (Там же).

Если, таким образом, по Марксу материальный процесс жизни общества, есть всегда конкретный материальный процесс, протекающий в каждую данную эпоху, в своеобразной форме, то значит и политическая экономия возможна и необходима лишь в товарном и особенно в капиталистическом обществе, ибо только здесь материальный процесс облекается в «мистифицированные» формы (стоимость, деньги, цена, капитал и т. д.), для объясне-

ния которых требуется особая наука. Такою наукой и является политическая экономия, исследующая базис данного определенного общества, т. е. материальный процесс жизни и возникающие в нем и благодаря ему отношения этого общества, его «действительную физиологию» и «анатомию». Как таковая, политическая экономия характеризуется двумя признаками: во-первых, она должна согласоваться с основными принципами общесоциологического мировоззрения, т. е. она должна быть материалистической, объективной, исторической и признавать примат общества над индивидом. Она ведь представляет собою только приложение этих общих начал к определенной области определенной эпохи; следовательно, ее принципы зависят от общего учения. Но, во-вторых, именно потому, что она есть приложение общей теории к определенной эпохе и притом к своей очереди вскрыть особенную структуру этой эпохи, после чего впервые становится возможным приложение социологии и к остальным областям (политической и духовной, а также ко всему социальному процессу в целом). Если по своему методу политическая экономия зависит от философско-социологической теории, то, с другой стороны, она является основой, на которой строится и только и может быть построена социология капиталистического общества, — основой прикладной социологии. Чтобы узнать, напр., как протекает общественный процесс вообще, достаточно обратиться к введению Маркса к его «К критике политической экономии», не случайно предпосланному Марксом изложению политической экономии (ибо, как сказано, оно содержит в себе метод последней). Но чтобы узнать, как складывается материальный процесс в определенных условиях капиталистического общества, какие формы он принимает, какие классы в нем коренятся и т. д., необходимо обратиться к политической экономии, и, лишь произведя с ее помощью анализ конкретного материального процесса капиталистического общества, можно перейти к дальнейшим задачам социологии.

Если, таким образом, политическая экономия получает от философии и социологии свой метод, то, с другой стороны, приложению социологии к современному капиталистическому обществу должны предшествовать политико-экономические исследования.

Но центр тяжести социологии лежит в учении об объективности общественных явлений. Материализм, раз будучи признан в философии, переносится сам собою и на социологию. И это тем более, что зависимость духовного процесса от материального процесса жизни в буржуазном обществе сделалась вполне очевидной. Историзм, второй принцип философии, разумеется в социологии сам собою. Раз этот принцип признан для природы, то как же не господствовать ему в области развития человеческих обществ? (Сделаю две оговорки: 1) я говорю, конечно, о социологии, опирающейся на материалистическую философию, а не о буржуазной социологии, исходящей из идеалистических предположений; 2) хотя принцип историзма был открыт в области истории и лишь отсюда проник в философию, и в частности в учение о природе, однако нужно помнить, что происхождение

теории и ее методологическая связь — не одно и то же. Методологическая связь тут обратная: принцип историзма в социологии зависит методологически от принципа историзма в философии. Отмечаю это потому, что многие — напр., Лукач — держатся противоположного взгляда).

Однако принцип объективности именно общественных явлений, т. е. их «естественной необходимости», независимой от мышления, воли, сознания вообще, — это принцип с особым трудом завоевывает себе признание, и еще труднее дается его понимание. А, между тем, он является тем «центральным пунктом, от которого зависит понимание марксовской социологии».

Так (чтобы остаться при нашем примере) Грациадеи приводит следующую цитату из Маркса:

«Он (труд) есть затрата простой средней рабочей силы, которой располагает телесный организм каждого обыкновенного человека, не обладающего никакой специальной подготовкой. Простой средний труд хотя и носит различный характер в различных странах и в различные культурные эпохи, тем не менее для каждого определенного общества представляет величину данную. Сравнительно сложный труд есть только возведенный в степень, или, скорее, помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к простому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как в единице их измерения, устанавливаются общественным процессом за спиной производителей и потому кажутся последним установленным обычаем» («Капитал», 1 т., I гл., § 2).

И он присоединяет к этой цитате следующее опровержение: «Даже гений Карла Маркса не в состоянии согласовать два столь несовместимых утверждения, как те, что содержатся в приведенном месте: утверждение, что возможность сведения сложного труда к простому доказана опытом, и другое утверждение, что это сведение совершается без ведома производителей. Человеческий опыт предполагает сознание, а там, где наличествует сознание, ничто не может происходить «без ведома». Одно условие исключает другое, и, следовательно, их одновременное существование невозможно. Но, с другой стороны, как признать возможность процессов, которые осуществляются людьми и все-таки происходят без их ведома?»

Итак, процессы, осуществляемые людьми, не могут быть бессознательными, происходить без их ведома. Так как «теория» Грациадеи является, как мы видели, субъективистической в противоположность объективной теории марксизма, то мы должны здесь вкратце остановиться на этой стороне вопроса.

Объективность общественных явлений не означает, как думает Грациадеи, что осуществляемые людьми процессы не осознаются ими, протекают без их ведома. Но она означает: 1) что сознание, хотя оно индивидуально изолировано благодаря частному труду, все же осознает общественный процесс, но имен-

но в силу своей индивидуальной изолированности (и классовой определенности) осознает его в таких формах, которые при своей обусловленности этим процессом отражают его далеко не в чистом виде; и 2) что это осознание процесса вносит в него объективные изменения лишь постольку, поскольку само сознание есть член процесса и определяется в своем значении другими членами того же процесса. В этом случае необходимо строго определить зависимость сознания от этих слагаемых и его взаимодействие с ними.

Рассмотрим, напр., ближе приведенную только что цитату из Маркса. Люди сознают, что «различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их измерения». В чем проявляется это сознание? В том, что изыскнейшее украшение, продукт сложного труда ювелира, обменивается, как товар, на другой товар — на хлеб, произведенный простым трудом пекаря и покупаемый ювелиром на выручку от продажи им своего товара (Так это в простом товарном обществе. В капиталистическом деле несколько меняется, поскольку там и ювелир и пекарь получают каждый соответствующую плату). Описанный процесс осуществляется при посредстве денег, но конечный результат тот, что украшение обменивается на хлеб. Свидетельствует ли об этом оныт? Да, иначе как раз наиболее искусные ювелиры быстрее всего погибали бы от голода. «Сводится» ли этим труд ювелира к труду пекаря? Да. Как отражается это сведение различных видов труда друг к другу в сознании производителей? В форме цены, которую они требуют за свои продукты или свою рабочую силу. Получают ли они эту цену (плату?) и зависит ли это от них или от их сознания? Нет! Это зависит от объективно общественного процесса, который протекает за их спинами, и в котором другие, тоже одаренные сознанием люди, в свою очередь выполняют или заставляют выполнять работы ювелира, пекаря и т. д. и выбрасывают свои продукты на рынок в качестве товаров, требуя за них свою цену (конкретная рецензия). В результате индивидуальных действий получается общественное явление, которое в индивидуальном сознании людей отражается, как движение товаров: человеческое сознание оказывается «овеществленным». Где тут противоречие?

Понять объективную марксову социологию, понять привнесаемую ею «естественную необходимость» явлений общественной жизни можно только в том случае, если рассматривать людей составляющих общества, как общественных, обобществленных людей, связанных между собой материальным процессом жизни, который требует обобществления. Социология Маркса не знает человека, она знает только «хозяйствующего (производящего человека), который производит при вполне определенных естественных и исторических условиях. Маркс говорит об «искусственном капитале» (Kapitalindividuum, «Капитал», I, стр. 549 русск. изд.). «Экономическая маска капиталиста связана с данным лицом лишь постольку, поскольку деньги его непрерывно функционируют как капитал» (Там же, стр. 528). «Все лицо капиталиста «есть лишь функция капитала, одаренного в его лице волей и сознанием» (Там же, стр. 555). То же самое о рабочем: «Меновое отношение между капиталистом и рабочим

становится, таким образом, простой видимостью процесса обращения, простой формой, которая чужда своему собственному содержанию и лишь затемняет его действительный смысл. Постоянная купля и продажа рабочей силы есть форма. Содержание же заключается в том, что капиталист часть уже овеществленного чужого труда, постоянно присвоенного им без эквивалента, снова обменивает на большое количество чужого труда, но не овеществленного, а живого» (Там же, стр. 545—546). Итак, если капиталист это только экономическая маска капитала, только одаренный волей и сознанием капитал, то и рабочий тоже есть не что иное, как одаренная сознанием и волей рабочая сила. «Теперь уже не простой случай противопоставления на товарном рынке капиталиста и рабочего, как покупателя и продавца. Железный ход самого процесса постоянно отбрасывает последнего, как продавца своей рабочей силы, обратно на товарный рынок и постоянно превращает его собственный продукт в средство купли в руках первого. В действительности рабочий принадлежит капиталу еще раньше, чем он продал себя капиталисту» (Там же, стр. 539—540). Младенец, дремлющий в колыбели рабочего, принадлежит капиталу раньше, чем он в состоянии продать капиталисту; он только воплощение рабочей силы, и капитал решает, суждено ли ему умереть с голоду или вырасти, чтобы служить потребностям капитала в качестве преступника или в качестве рабочего.

Если в капиталистическом обществе люди выступают в особых масках капиталиста и пролетария, то в других общественных формациях они выступают в других масках. Так мы приходим в весьма важному понятию «экономической маски» вообще. Только как носители этих масок являются люди членами различных обществ, только как таковые принадлежат они к одному и тому же классу, этим их основным определением устанавливается, но и детерминируется, их взаимная связь.

Социология Маркса не отрицает, что общество состоит из людей, которые мыслят, чувствуют, хотят, ставят себе цели и т. д. Она не отрицает также, что у человека все им переживаемое обращается в мысли, чувства, волевые акты, цели. Но так как люди это только «экономические маски», за которыми скрываются объективные хозяйственные процессы, так как они укоренены в определенной структуре общества, обусловлены данной ступенью развития производительных сил, то их мысли, чувства, цели, их воля и т. д., — все это только рефлекс этих объективных процессов. Их возможности, самый их характер зависят от хозяйственного процесса: на одной ступени последнего эти возможности меньше, на другой больше, и с изменениями процесса меняются и их характер.

Естественная необходимость общественного процесса не означает, таким образом, что индивид и его сознание не играют в истории никакой роли, а означает лишь, что эта роль определяется как форма, в которой объективные процессы осознаются человеком. Так как эти процессы меняются от одной эпохи к другой, то соответственно меняются и человеческое сознание. Разумеется, и это следует понимать не «по-шотландски». Меняются именно содержания сознания.

Индивид со своим сознанием есть всегда индивид, хозяйствующий на определенной ступени общественного процесса производства, в определенной хозяйственной связи, и его индивидуальность, есть лишь «необходимое выражение индивидуальности на основе определенной ступени общественного процесса производства» (Маркс, «К критике политической экономии»).

Примат общества над индивидом—такова формула, наиболее pregnantly выражающая эту объективность общественных действий. И поэтому неправильно представлять себе дело так, что классовое общество, до которого общество дорастает на определенной ступени развития производительных сил, составляет из классов. Нет, оно распадается на классы. Ибо даже классы подчинены примату общества. Единство общественного процесса осуществляет себя вопреки этому распадению на классы. Но в индивидуальном и в классовом сознании оно по необходимости осуществляет себя в ложной, «искаженной», «стигматизированной» форме, в смещении с элементами, отражающими расколотость общества. И что верно для классов, в том более верно для индивида и для чисто индивидуального сознания.

Роль, которую человек играет в хозяйственном процессе, облекается в маску именно потому, что он обладает сознанием. Всесторонне определенный для индивида, бесконечный ряд материального процесса жизни имеет свою естественную закономерность, которая хоть и меняется от одной эпохи к другой, сохраняет свой характер неумолимости, более того—становится все неумолимее вплоть до образования капиталистического общества. Неумолимость этого процесса принуждает людей играть определенную роль. Эту роль они осознают,—те объективные отношения, которые им навязывает хозяйственный процесс, отражаются в их сознании как желаемое ими, как их цель, как мотив, который наряду с другими мотивами, вытекающими из их индивидуального положения, определяет их поступки. Римский раб familias склонен обращаться со своими рабами человечно, шалопод, владелец позднейших веков готов заморить их работой. Средневековый ремесленник «хочет» быть отцом своих подмастерьев, современный капиталист обрекает отцов с матерями и детьми на медленное умирание у себя на фабрике. В зависимости от форм, которые создает себе хозяйственный процесс (а они все время меняются),—меняется и то, что может быть предметом воли, целью, меняются мотивы,—и лишь одно остается неизменяемым: та истина, что цели и мотивы суть материальные силы, перенесенные в область идеального.

Объективно-материальный процесс выражается в целях, мотивах и т. д. индивидуально и стало быть ложно, классово-определенно и стало быть уж совсем извращенно: они отображаются вместе с тем и искажают этот процесс, вплоть до отрицания его общественного характера. Материальные и идеальные процессы жизни и сознание суть сопряженные, взаимно-обусловленные, нераздельные моменты.

<sup>1)</sup> Все, что я здесь говорю, приложимо, конечно, к пролетариату лишь отчасти и вовсе не приложимо к послеклассовому обществу. Почему—это объяснил в другом месте.

вместе с тем—исключающие друг друга или противоположные крайности, т. е. полюсы одного и того же общественного процесса. Как сопряженные моменты, они поддерживают друг друга (таково, напр., сознание экономически восходящего класса, буржуазии в XVII и XVIII веках, пролетариата в наше время); как исключющие друг друга полюсы, они противостоят друг другу (сознание феодальной аристократии, современной буржуазии),—но победа остается за объективно-материальным процессом.

Именно в виду этой диалектической роли сознания политическая экономия Маркса может быть понята только с точки зрения социологии Маркса. Ключ к пониманию «Капитала» дает социологическая глава—«тому, кто сумеет им воспользоваться». Эта глава называется: «Фетишистский характер товара и его тайна». «Тайна» буржуазного общества есть тайна всех обществ; все они не что иное, как материальный процесс производства, отражающийся, однако, в сознании людей не как таковой, а под покрывалом отношений угнетения и рабства. Труд, этот Прометей обществ, заковывается в цепи (не метафорически, а в лице рабочего фактически заковывается на протяжении долгих, долгих столетий); он раскалывается на необходимый и прибавочный труд, но, будучи замаскирован всевозможными идеологиями, становится «тайной», которую надлежит расшифровать. Марксу удалось, впервые и окончательно, разоблачить эту тайну, открыть за явлениями их сущность. Труд, производство—вот разгадка тайны; и расшифровать ее мог только пролетарий, ибо образ Саиса, освобожденный от своего покрывала, показывает рабочему его самого. Узреть самого себя в разоблаченном виде было дано только ясному взору пролетариата!

Так на первое место выдвигается последний из трех указанных выше принципов политической экономии: признание доминирующей роли производства. Неподвижным полюсом в потоке сменяющихся форм человеческих обществ, гранитным столпом, на котором они покоятся, служит вечный обмен веществ между человеком и природой, осуществляемый посредством непрерывного трудового процесса, посредством производства. Лишь когда изменяется последнее, изменяются соответственно и все те формы, на которые дифференцируется общественная жизнь людей в ходе истории.

Но этот трудовой процесс есть не что иное, как совокупность отношений людей к природе и друг к другу. Чтобы иметь возможность производить, люди вступают в отношения к природе и друг к другу. Изменение трудового процесса есть, таким образом, не что иное, как изменение этих отношений—отношений к природе и производственных отношений. «Совокупность этих отношений, в которых находятся к природе и друг к другу носители производства, в которых они производят,—эта совокупность и есть общество, рассматриваемое со стороны своей экономической структуры» (Маркс, «Капитал», III, 2, 335). «Материальные элементы богатства служат при производстве носителями этих отношений» (Маркс, там же).

Но эти отношения имеют двойной характер: общественный процесс производства «есть и процесс производства материальных условий человеческого существования, и в то же время процесс,

протекающий в специфических историко-экономических производственных отношениях и производящий и воспроизводящий эти отношения, а через то и носитель самого процесса, материальные условия их существования и их взаимные отношения, т.-е. определенную экономическую форму их общественного бытия» (Маркс, «Капитал», III, 2, 318). Если бы эти отношения не подверглись постоянному изменению и если бы, далее, этим изменением не соответствовало тоже меняющееся общественное сознание, отражающее действительность в искаженном виде, то к чему была бы нужна социология или политическая экономия?

Итак, ошибаются те многие и среди них, конечно, Грацианди, которые думают, что по Марксу труд является мерилом стоимости только потому, что в товарах, за вычетом всех их различных свойств, остается лишь один общий признак: тот, что все они суть продукты труда. Только в изложении предмета труд Маркс этим логически-абстрактным путем, путь же его исследования был исторически-конкретным. Маркс расшифровывает общее свойство не товаров, а людей, человеческих обществ, и за формами и отношениями, которые создаются людьми, он находит нечто общее: труд. Только потому, что труд наличествует во всех обществах, наличествует он и во всех товарах, как продукты труда. Если все общества определяются материальным процессом жизни, общественным производством, то и же определяется и товарное общество, в котором это общественное производство принимает форму частного труда, а стало быть его продукт—форму товара.

Но общество, ведущее свое общественное производство в форме частного труда, выражает и труд в исторически-определенной форме абстрактного труда—в форме стоимости. Стоимость признает общественное производство, скрытого за частными трудовыми деятельностями, как есть социальное свойство товаров, лишь выраженное на языке соответствующем товарному обществу,—на «товарном языке», который «так же имеет свои диалекты, как еврейский».

Значит, кто отрицает реальность стоимости; кто утверждает, что единственной реальностью является цена; кто держит взгляд, что «стоимость, интересующая политическую экономическую представляет собой не общую, а частную проблему—проблему меновой стоимости»; кто выводит стоимость из обращения, а не из производства,—тот, согласно всему изложенному, находится целиком в плену у буржуазии, у капитализма, тот не разучился даже товарного языка, уже не говоря о его диалектах—и более не говоря о марксизме.

В том-то ведь и состоит реальность стоимости, что последняя есть «идеальное», «воображаемое» выражение материального трудового процесса человеческих обществ в языке товарного общества. То обстоятельство, что стоимость только «идеальна», только «воображаема», нисколько не мешает ее реальности, ибо за нею скрывается нечто отличное от идеального и не воображаемого, именно человеческий общественный труд. И поскольку она выражает—пусть в идеальной, воображаемой форме—некоторый факт, лежащий в основе всякого общества, постольку ее реальность сильнее всех тех признаков, которые витают над процессами обращения и т. д. Неправильно

что стоимость не имеет реальности; наоборот, она—основная реальность, соответствующая товарному обществу, тайный сокровенный закон, которому подчиняется мир этого общества.

Если поэтому наш Грацианди полагает, что, оспаривая «рикардо-марксовский» закон стоимости, он касается «только» некоторых деталей марксизма, то он заблуждается. Опрокинув этот закон, он опрокинул все труды марксизма. Он, конечно, полагает, что экономии Маркса можно отделить от его социологии и опровергнуть первую, не затронув второй. Но в действительности, как мы видели, все части марксова учения теснейшим образом связаны друг с другом. Но чтобы его опрокинуть, нужны совсем другие способы доказательства, нужна другая философия и другая социология, чем те, которыми располагает Грацианди и к рассмотрению которых мы сейчас перейдем. Мы просим читателя сравнить эту более чем своеобразную философию и социологию с кратко очерченным выше учением Маркса. И мы не сомневаемся, что он воскликнет: как плоско, затхло, банально и противоречиво это опровержение марксизма со стороны «коммуниста»! Если где-либо применима известная поговорка: «гора родила мышь»,—то именно здесь. Достопочтеннейшие по возрасту буржуазные банальности преподносятся автором под видом самоновейших открытий.

Прежде всего торжественно возмущается, что нашему товарищу Грацианди мы обязаны не больше не меньше, как «созидательной критикой»—разумеется, созидательной на развалинах марксизма, который уничтожен не кем иным, как нашим профессором Парского университета. Как именно уничтожен, это мы уже видели и еще увидим дальше.

Затем заново открывается «почему и как экономических законов». Это «почему и как» (кто бы подумал?) заключается, во-первых, в том, что люди «логически судят и логически действуют». «Как таковые (т.-е. как логические суждения и логические действия) они (т.-е. цены и т. д.) живут в сознании тех, кто их образует и совершает». «Почему научных явлений должно, следовательно, совпадать (!) и составлять одну вещь (!!) с как человеческого хозяйственного действия и суждения. Если почему не идет рука об руку с как, то исправлению подлежит почему». А, во-вторых, открытие Грацианди заключается в том, что социальные явления обладают преемственностью. Нельзя в самом деле всякий раз начинать с начала, с занова!

Грацианди называет это «реальным» методом в политической экономии, в противоположность ирреальному методу Маркса. В качестве строгого реалиста он принимает почему и как социальных явлений за единую вещь. Что человек, мыслящий вполне буржуазно, овеществляет все на свете, даже почему и как вещей,—это нисколько не удивительно. Удивительно только, что он ограничивает свое открытие областью социологии. Почему бы и естествоиспытателям не воспользоваться столь великим открытием? От скольких трудов они были бы избавлены! Долгое время ученые знали, как электричество проявляется, не имея удовольствия знать его сущность. Знали как, но не знали почему. И они работали, не покладая рук, пока не открыли и последнее. Теперь мы знаем, что в атомах электроны вращаются

вокруг ионов по различным орбитам. Открыт «электрический атом». Вычислены орбиты этих атомов, их заряды (кванты) и т. д. К чему все это? Почему и как должны «совпадать и составлять единую вещь»—и на этом basta!

Вооруженный своим реальным методом, Грациадеи выступает в поход—и в мгновение ока повергает в прах все фетиши марксизма.

Хотите ли знать, в чем коренится реальное мышление и действие людей? Не верьте марксизму, который, как мы показали выше, открыл их корень в реальном процессе труда. О нет! Что такое техника? Только внешний аппарат! Они коренятся в вечной человеческой природе!

«То обстоятельство, что один или несколько человек не в силах сами изменить социальные предпосылки того или другого хозяйственного закона, не мешает нам признать, что все экономические законы являются продуктом суждения и действований людей, рассматриваемых как целое и живущих в определенных отношениях (такова социология Грациадеи! Л. Р.). Если некоторые из этих законов, приведенные к своей простейшей форме, остаются в известных пределах постоянными (несмотря на движение истории), то это объясняется тем, что они не зависят от развития техники и вообще от внешнего адвентура общества (Маркса с его учением приходится бросить в мусорную яму, после этого открытия Грациадеи они ни на что другое не годятся! Л. Р.) и находятся в прямой связи с человеческой природой, т. е. с теми формами логики и с теми элементами сознания, изменением которых можно пренебречь, как ничтожной величиной—по крайней мере, для доступных нашему наблюдению исторических периодов (т. е. они вечны—такова его философия! Л. Р.).»

А если вы не поверите самому Грациадеи, то он может опереться на авторитет, который вы уж несомненно признаете. Этот авторитет (удивительная вещь!) не кто иной, как Маркс!

«Впрочем, это признал и сам Маркс, который был слишком умен, чтобы оставаться рабом тех чрезмерно метафизических форм, в которые он облек большую часть своего трактата о стоимости. В четвертой части первой главы I тома «Капитала» он говорит бурливо: «Определение предметов потребления как стоимостей есть общественный продукт людей». А в начале второй главы того же тома он столь же выразительно добавляет: «Товары не могут сами отправляться на рынок и обмениваться между собой. Следовательно, мы должны обратиться к их хранителям, к товароладельцам».

Обратившись к этим «хранителям товаров», Маркс действительно увидел перед собой их суждения и действия. Он увидел их на рынке, где они предлагают свои товары—по цене, которую они себе представляют, но которой не получают. («Спрос и предложение»—вот что определяет эти цены в конечном счете. Маркс нашел еще нечто. Он нашел экономистов, считающих эти цены единственной реальностью и поэтому провозгласивших закон спроса и предложения верховным законом политической экономии. Что же Маркс сделал? «Он был слишком умен, чтобы оставаться рабом чрезмерно метафизических форм», и так как он был любитель шуток, то он объявил свой закон стоимости

удавшейся шуткой и—признал правоту вульгарных экономистов? Не так ли?

Но шутки в сторону! Мыши, которых после долгих мук родила гора нашего Грациадеи, даже не мыши, а осы, и его «теория»—настоящее осиное гнездо заблуждений и банальностей. Больше в ней ничего не содержится.

Установив «чисто человеческий и социальный характер явления стоимости» (сравните его формулировку с охарактеризованным выше учением Маркса о чисто человеческой и социальной природе этого явления!), Грациадеи затем «пытается подробнее разоблачить его формы». Итак, что такое стоимость? Стоимость, это—потребительная стоимость. Это открытие Грациадеи вполне достойно других его открытий.

«Польза, которую можно извлечь, препятствия, издержки, которые приходится одолеть—вот что входит составной частью во всякое оценочное суждение».

Но слушайте дальше:

«Если рассматривать оценочное суждение как всеобщее и простое понятие и только как таковое, то можно сказать, что все экономические явления, будучи разложены на свои простейшие элементы, приводят к стоимости. В самом деле, все экономические суждения, от элементарнейших до сложнейших, могут быть разложены на суждения (положительные или отрицательные) от отношений между желаемым предметом и теми усилиями и издержками, которых требует обладание им; и все хозяйственные действия, от элементарнейших до сложнейших, определяются этими суждениями».

«С этой точки зрения—и повторяем: только с этой—дозвоительно сказать, что стоимость может быть понята... не только вне обмена в собственном смысле, но даже и вне действительного общества» (не угодно ли? Л. Р.).

«Так как политическая экономия (и в особенности официальная) имеет слабость, может быть вполне бескорыстную—к робинзонадам, то представим себе Робинзона Крузо на его необитаемом острове. По определению, он совершенно одинок. Он хочет есть и видит на дереве плод, который, он в этом уверен, способен утолить его голод. Тогда он взвешивает, с одной стороны, пользу, которую могло бы ему принести поедание плода, а с другой—те усилия, которые необходимы, чтобы взобраться на дерево, овладеть предметом и спуститься вниз. В результате он высказывает оценочное суждение, суждение о стоимости. Если оно положительно, т. е. если он решает, что затратить усилия стоит, то он предпримет некоторое хозяйственное действие, которое и явится результатом его суждения (а не его голода! Л. Р.); он взлезет на дерево и достанет плод (если не свалится раньше! Л. Р.).»

«Таким образом, то обстоятельство, что в нашем примере логические элементы суждения и материальные элементы действия рудиментарны (?), и что, согласно гипотезе, в данном случае отсутствует социальная среда, не помешало нам признать, что даже при этих простейших условиях, даже в естественном состоянии, человек может составлять оценочные суждения и совершать соответствующие действия» («Цена и прибав. цена», стр. 25—26).

Прошу извинения за эту очень длинную и очень скучную цитату. Я должен был привести эту робинзонаду, которую тов. Грациадеи бессмысленно повторяет за «может быть (!) не вполне бескорыстной» официальной политической экономией, чтобы уж сразу покончить и с теорией Грациадеи. Это все та же теория предельной полезности, в ее наиболее плоском и вульгарном виде. Только пустыня Бэм-Баверка, в которой изнывающий от жажды путник готов отдать за стакан воды все водопитное, которое он влечет с собой через пустыню, превращается здесь в идиллический необитаемый остров. Для этого не стоило писать целых три книги. Было бы достаточно заявить: прав Маркс, а — «жалкий Мак».

Я выдаю тов. Грациадеи один секрет, который, наверное, интересует его, как экономиста, пытающегося опровергнуть Маркса: Маркс, кроме трех томов «Капитала», написал еще четвертый том о «Теориях прибавочной стоимости». Ведь вы этого не знали, тов. Грациадеи? Интересно, не правда ли?

В этих четырех томах бедный Маркс возится с целой кучей «экономистов», подобных Вам и утверждавших то самое, что утверждаете Вы. Одному из них Маркс отвечает так: «На самом деле это (т.е. то, что утверждал Ваш коллега, тов. Грациадеи) означает только вот что: причиной стоимости товара или равенства двух товаров являются обстоятельства, заставляющие продавца или покупателя и продавца считать что-нибудь за стоимость или за эквивалент товара. Объяснение обстоятельств, определяющих стоимость товара, не подвинулось ни на шаг от того, что они обозначены, как обстоятельства, действующие в «дух» обменивающихся лиц».

«Те же, от духа независимые, хотя на него и действующие обстоятельства, которые вынуждают производителей продавать свои продукты, как товары, — обстоятельства, отличающие одну форму общественного производства от другой, — сообщают их продуктам и независимую от потребительной стоимости меновую стоимость для их духа. Их «дух», их сознание, может быть все и не знать, для него может и не существовать то, чем в действительности определяется стоимость их товаров или их продуктов, как стоимостей. Они поставлены в такие условия, которые определяют их дух, при чем они могут и не знать об этом. Каждый может пользоваться деньгами, не зная, что такое деньги. Экономические категории отражаются в сознании в очень искаженном виде» («Theorien über den Mehrwert», III, 195).

Вот как Маркс понимал, что «логические суждения и логическое действие» составляют сущность экономических законов! Приведенной цитаты, вместе с изложенным в начале этой главы, вполне достаточно, чтобы сдать в архив всю философскую, социологическую и экономическую «теорию» нашего привника.

И единственно лишь с целью осветить последовательность коммунистической линии нашего товарища, мы разберем здесь еще его теорию прибыли, которая приводит его к своеобразному учению о политике коммунизма.

Но сначала скажем несколько слов о его теории капитала. По Грациадеи, «хоть и не все производительные богатства являются капиталом, но зато всякий капитал есть тем самым производительное богатство... Всякий капитал есть производительное богатство, потому что при каком угодно точном определении капитала остается в силе то обстоятельство, что он служит своему владельцу не сам по себе (!),... а лишь как средство для обеспечения постоянного дохода».

Своеобразно и в устах коммуниста довольно странно даже не столько то, что, спустя 70 лет после Маркса, капитал снова определяется, как производительное богатство, и таким образом тупоумно буржуазной экономии водворяется в наших собственных рядах. Странно то, что капитал определяется «как средство для обеспечения постоянного дохода». Ведь и рабочий использует свою рабочую силу для обеспечения себе по возможности постоянного дохода. А, с другой стороны, и капиталист не обеспечен от того, что его доход перестанет быть постоянным. Слово «доход» употребляется здесь во избежание слова прибыль, как прежде товар фигурировал исключительно под видом продукта и как вскоре труд окажется «услугой», а животное — рабочим. Это ли не прямое, хотя быть может и несознательное, услужение капиталу?

После приведенного определения капитала никого не удивит учение Грациадеи о прибыли. Послушаем:

«Если верны предпосылки Маркса, особенно те, согласно которым стоимость (меновая) возникает из труда, то прибыль (прибавочная стоимость, прибавочная цена) отдельного предпринимателя может быть выведена не иначе, как из труда рабочих, и притом только рабочих, работающих на него. Наоборот, если верны наши предпосылки, и особенно те, согласно которым стоимость (меновая) хотя связана и с производством, но все же является прежде всего фактом товарного обращения, — то прибавочная цена оказывается разностью двух членов: первый член — высота продажных цен, т.е. величина уменьшаемого, — конкретизируется за счет издержек покупателя товара, к какому бы классу покупатель ни принадлежал. Второй же член, т.е. величина вычитаемого, — конкретизируется за счет рабочих (и служащих), ибо последние, именно потому, что они рабочие и служащие, получают плату меньшую, чем цена, которую данный покупатель реализует посредством продажи своего товара, так что возникающую из этой разницы прибавочную цену они не могут использовать для себя» («Il Prezzo», стр. 25).

Итак, высота (реализованная) цена, а тем самым и прибыль капиталиста, зависит от борьбы покупателей и продавцов, она возникает стало быть за счет потребителей, «к какому бы классу покупатель ни принадлежал!» Ясно без лишних слов, что коммунизм, как классовое движение пролетариата, лишается таким образом всей своей хозяйственной основы, т.е. одного из наших сильнейших и надежнейших орудий. Но тут тов. Грациадеи вспоминает, что он — коммунист. Его упрекали, — жалуется он, — что по его теории прибыль капиталиста получается исключительно за счет потребителей (Там же, стр. 26). Клевета! Злонамеренность! Прибыль получается также и за счет рабочих и служащих.



Превосходно! Мы не желаем клеветать на тов. Грациаден. И мы не питаем никаких дурных чувств против него. Поэтому мы позволим себе задать ему несколько других вопросов.

Допустим, что он прав. Продавец продает, покупатель покупает; первый запрашивает столько, сколько составляют издержки производства плюс «честный барыш», — второй платит этот барыш «нечестным», и в результате пререканий получается разница, идущая в карман продавцу. Мы уже не спрашиваем о том, по какому критерию определяет продавец свой «честный барыш», и почему покупатель считает его нечестным (слишком высоким). Грациаден, конечно, ответил бы, что предприниматель «устанавливает свой барыш из обычного расчета в 10% издержек производства».

Как устанавливаются сами эти издержки производства, в которые, кроме цены рабочей силы, входят еще цены материальных средств, тоже ведь требующие определения по какому-нибудь правилу и содержащиеся в прибыли других предпринимателей, — об этом мы также не будем спрашивать, ибо все равно получили бы все тот же ничто не значащий ответ. Вопросы, которые мы хотим задать, другого рода.

Во-первых. Предприниматель не может вечно продавать. Он должен и покупать. То, что он выигрывает как продавец, он теряет, как покупатель. Если же Вы скажете, что он покупает реже, чем другие потребители, не являющиеся предпринимателями, ибо тех очень много и все они покупают его товар, а он один и удовлетворяет лишь свои личные потребности, — то это будет неправда. Предприниматель, именно как таковой, удовлетворяет не только свои личные потребности, но и производственные потребности капитала, представителем которого он является. В этом своем качестве он покупает больше, чем обыкновенные потребители. Ведь он накапливает, на вырученные деньги он покупает орудия производства, машины, сырье и т. д. — не говоря пока о рабочей силе, к которой мы вернемся ниже. Весь свой барыш он должен был бы уступить другим предпринимателям, прежде чем очередь дойдет до них и они станут покупать товары у него. Знаком Вам этот аргумент, тов. Грациаден? Старый аргумент, встречающийся во многих местах «Капитала» и «Теории прибавочной стоимости». Старый — но не опровергнутый до сих пор. Не опровергнутый и Вами, тов. Грациаден! И знаете ли Вы, какой, по Марксу, принцип открыт вами в качестве закона капиталистического общества? Надувательство, обман. Так мы благополучно вернулись к социологии XVIII века. Расстояние, на которое Вы ушли от Маркса, больше, нежели то, на которое Маркс ушел от Смита и Рикардо. К сожалению, только вы прошли его в противоположном направлении — Вы пошли назад! Маркс показал, как возникает прибыль при соблюдении всех правил товарообмена, при условии, что все товары продаются по своей стоимости. Обман, надувательство исключаются им в качестве принципа объяснения капиталистического общества. Вы же, тов. Грациаден, снова вводите этот принцип и думаете, что совершили великое дело. Но в действительности Вы достигли только одного: Вы вскрыли бессилие вашего «судения» во всей его обнаженности!

Во-вторых. Рабочие (и служащие) предпринимателя тоже ведь «продавцы»: они продают свою рабочую силу. Почему же они не могут провести «покупателя», не могут продать свой товар дороже, как это делает капиталист? Но об этом после. Кроме того, они и покупатели. И, как таковые, они совершенно такие же потребители, как и все прочие. Почему же они не могут «использовать для себя» разницу между своей заработной платой и ценами на продукты? Если Вы на это ответите: потому, что они получают «всего лишь» такую плату, которая ниже продажных цен товаров (а Вы именно так и отвечаете), то я должен обратить Ваше внимание на следующее: рабочий класс ест тот самый хлеб и носит ту самую обувь, которые он сам же производит. Но хотя рабочие производят эти необходимые вещи, они все-таки должны покупать их на рынке совершенно так же, как все другие потребители. И вдобавок они еще платят за эти скверные вещи (ибо они получают товар самого скверного качества) очень дорого. Но дешево ли, дорого ли, они покупают все эти товары у некоторого предпринимателя. Иногда у своего собственного, который тогда получает соответствующий барыш. Откуда происходит этот барыш? Рабочие покупают эти товары за свою заработную плату, указанный барыш происходит из их заработной платы. Вы, стало-быть, сводите прибыль к вычету из заработной платы. Но «данная прибыль может, правда, иногда заключать его в себе, но он (этот вычет) никогда не может лежать в основе категории «прибыли» (Маркс, Теория прибавочной стоимости, III, 434). Кроме того, рабочий такой же потребитель, как всякий другой, и то обстоятельство, что его покупательные средства имеют своим источником заработную плату, не может помешать ему «использовать для себя» все те преимущества, которые с Вашей точки зрения могли бы иметь потребители в борьбе против продавца. Если же все «потребители» всегда остаются в накладе, то то же должно случиться и с рабочими — не поскольку они рабочие, а поскольку потребители. Итак, если предприниматель — согласно Вашей собственной теории, тов. Грациаден, — получает барыш за счет рабочих, то этот барыш либо имеет своим источником производство (это Вы отрицаете), либо же, выражая собою только разницу между издержками производства и продажной ценой, он получается за счет рабочего, поскольку он потребитель, а не поскольку он рабочий. Но тогда падает вторая часть Вашего тезиса, в которой Вы отличаете рабочих (и служащих) от других потребителей, и остается в силе только первая часть, согласно которой прибыль предпринимателя возникает за счет потребителей. «к какому бы классу ни принадлежал покупатель». И не пытайтесь спасти свое положение ссылкой на то, что предпринимательская прибыль получается не за счет рабочих, а «только» за счет других потребителей: ведь этой ссылкой Вы подтвердите, против чего так энергично протестуете, как против клеветы — именно, что по Вашему мнению прибыль получается исключительно за счет потребителей. Впрочем, если вы этого и не скажете, то, как мы только что показали, дело все равно сведется к этому.

Но если прибыль капиталистов, продающих свои товары рабочим, происходит из того же источника, как и прибыль остальных

ных предпринимателей, то чем же отличается тогда рабочий, как потребитель (ибо в этом случае он только потребитель), от остальных потребителей? Что рабочие (виноват! я чуть было не позабыл о служащих!) получают «только» заработную плату, это не имеет здесь никакого значения, потому что рабочий заработок есть такая же сумма денег, как и всякая другая. Правда, она пожалуй меньше той, что имеется у «потребителей-нерабочих». Но откуда в таком случае этот «избыток» денег у остальных потребителей? Они не рабочие, так кто же они такие? Может быть рантье, покупающие себе автомобили, скаковых лошадей, картины и т. д. (все то, что Вы всегда приводите в качестве примеров в Ваших книгах)? Но откуда у них «избыток» денег, на который они покупают все эти превосходные вещи? Или, может быть, они чиновники? Тогда, откуда берет деньги государство, выплачивающее им содержание? Из налогов! Но налоги взимаются из карманов рабочих, предпринимателей, рантье; мы, таким образом, опять вернулись к ним. Стало быть, чиновников приходится исключать из рассмотрения. Может быть, наконец, они—мелкие производители? Тогда, если они работают в одиночку, их деньги (большей частью совсем не «большие») имеют своим источником их производство, чего по Вашей гипотезе не должно быть,—если же они нанимают рабочих, то они предприниматели, хотя и более мелкие, чем другие.

Подчеркну еще раз, что вопрос заключается в следующем: откуда происходят деньги, которые в виде прибыли переселяются в карман капиталиста и которые до этого переселения должны же были находиться в кармане кого-нибудь другого?

Должен признаться, что Ваше объяснение этого вопроса нас не удовлетворяет. Вы говорите:

«Раз дано употребление денег...» («Цена и приб. цена», стр. 43).

Но я именно о том и спрашиваю—как оно «дано»? А на это Вы в другом месте отвечаете так:

«Чтобы сделать обмен всеобщим и достигнуть постоянного товарного обращения, нужно было заключить соглашение, в силу которого—так как все согласилась (!) обменивать свои собственные товары или услуги (!) на один какой-нибудь товар—каждый в отдельности приобретал уверенность, что сможет удовлетворить свои потребности, получив от других определенное количество этого товара. Экономическое благо, служащее для этой цели, называется деньгами» (Там же, стр. 26).

Нет, товарищ, это объяснение нас никак не удовлетворяет! Сначала Вы удивили нас сообщением, что люди мыслят и действуют логически, затем еще более—другим сообщением, что логика, о которой Вы говорите, есть «прикладная и историческая логика», но все-таки—эту «прикладную и историческую» логику мы себе не так представляли. Люди хотят сделать обмен всеобщим и достигнуть постоянного обращения товаров и поэтому они заключают «соглашение», при чем необходимые предпосылки для «всеобщего» обмена и «постоянного» обращения они высасывают у себя из пальцев. Изобретательность этих счастливых людей почти так же велика, как и Ваша, тов. Грацианди. Они изобретают деньги, еще не имея о них никакого представления, ни малейшего понятия. Вероятно, эту идею им внушает, как древним евреям Иегова, их национальный бог, одновременно с заповедью: не укради! Почему только их бог не внушает им

заводно идею еще и другого «соглашения»—о том, чтобы каждый обладал благом, которое будет именоваться деньгами, в возможно большем количестве или, по крайней мере, в таком же, как и все остальные? В силу какого соглашения у одного денег очень много, а у другого нет их вовсе? Не кажется ли Вам, тов. Грацианди, что своей остроумной теорией денег Вы уж заодно объяснили и то, что угнетенные классы, в особенности пролетариат, обязаны своим экономическим положением, своей эксплуатацией, отчуждению и, следовательно, самим себе? Но, может быть, дело все-таки происходит так, что деньги появляются лишь после того, как обмен уже стал всеобщим, а обращение (товаров!) постоянным? А как появляются товары и их обращение, об этом я попросил бы Вас прочесть у Маркса.

Но чтобы стать средством обращения, деньги уже должны существовать! Да, но знаете ли, в какой роли? В роли товара, в роли стоимости—стоимости, получившей самостоятельность, ставшей всеобщим эквивалентом. Дорогой товарищ, мы уж выдадим Вам и эту тайну! Но как эта стоимость попадает в виде прибыли в карман «предпринимателя», этого отнюдь не объясняет Ваше «соглашение» (вот уже постыжное «реальный», «исторический» метод!), успевшее устареть еще в XVIII веке. Зато это объясняет Маркс: «В обмене продукты отдельных лиц, приобретая форму «денег», тем самым показывают себя продуктами всеобщего труда. Но обмен еще не определяет величины их стоимости. В нем они показывают себя всеобщим общественным трудом, но в какой мере могут они показывать себя всеобщим трудом, это зависит от того, в какой мере могут они показывать себя общественным трудом,—значит от количества товаров, на которые они могут обмениваться,—значит от размеров обмена, торговли, от того ряда товаров, в котором они выражают себя, как меновую стоимость. Если бы, наприм., существовало только четыре различных отрасли производства, то каждый производитель значительную часть своих продуктов производил бы для самого себя. А если существует целая тысяча отраслей производства, то каждый отдельный производитель может производить весь свой продукт, как товар. Его продукт может целиком идти в обмен» («Теории прибавочной стоимости», I, 202).

Но перейдем теперь к третьему и важнейшему вопросу, уже затронутому выше.

Все, к чему Вы пришли с помощью Вашей блестящей «прикладной и исторической» логики, мы принимаем. Прибыль происходит не из производства, а из разницы между издержками продавца и покупателя, деньги не стоимость, а средство обращения, созданное путем соглашения и т. д. Мы отдаем даже должное той коммунистической последовательности, с какой Вы объясняете происхождение и сущность капитала и наемного труда.

Но все-таки Вы не будете отрицать, что, каково бы ни было происхождение наемного труда, наемные рабочие существуют. Вы, правда, называете, как уж было замечено, труд этих наемных рабочих «услугами», так же, как и труд животных! Чем же отличается наемный рабочий от животного? Разве и животное выполняет необходимый и прибавочный труд? Знаете ли вы, кто отрицает эту теорию? Мак-Кэллок. Прочтите отповедь, полученную

им от Маркса («Теории прибавочной стоимости», III том). Маркс называет это «сифофанством» на службе капитала, как раз и заинтересованного в том, чтобы затушевать особенности наемного труда, как исторически преходящей формы, и поставить на их место бесформенные «услуги». Но услуги так услуги: наемные рабочие во всяком случае существуют.

А если они существуют, то существует и особый товар — рабочая сила, которую они продают. Она совершенно такой же товар, как и всякий другой. Почему же — таков наш вопрос — почему рабочие, при продаже этого своего товара, не поступают так же, как предприниматели, почему они не продают его дороже, чем стоит его производство, и не кладут разницу к себе в карман? Почему они не становятся капиталистами? Или что мешает им на этом пути? Рабочий очень часто выступает как продавец и все же он один действительно является жертвой обмана! Как это происходит?

Исходя из Вашей теории, дорогой товарищ, на этот вопрос не может быть ответа. Но у Маркса, которого Вы — правда, со всеми возможными оговорками — постарались уничтожить, Вы можете найти ответ и на это, и ответ чрезвычайно уместный как раз в данном случае.

Один очень известный вульгарный экономист и сифофант капитала вообще и крупного землевладения в частности, по имени Томас Роберт Мальтус, мимоходом объяснил однажды прибыль так же, как Вы ее объясняете теперь. Маркс ответил ему следующим образом:

«Ситец заключает в себе рабочее время, равное 12 ш. Из ш. (капиталист) заплатил только 8 ш. Он продает товар за 12 ш. если продает его по его стоимости, и, следовательно, наживает 4 ш. Что касается покупателя, то он, согласно предположению, платит во всяком случае только за стоимость ситца (вот видите, его никто не надувает! Л. Р.), — т. е. он отдает сумму денег, в которой заключается столько же рабочего времени, сколько в ситце. Тут возможны три случая. Покупатель — капиталист. Деньги, которыми он платит, также заключают в себе часть неоплаченного труда. Так что если один продает неоплаченный труд, то другой покупает на неоплаченный труд. Каждый реализует неоплаченный труд: один как продавец, другой как покупатель. Или же покупатель является самостоятельным производителем. Тогда он получает эквивалент за эквивалент. Оплачен или неоплачен труд, продаваемый ему в товаре, это несколько не касается. Он получает столько же оущественного труда, сколько дает. Или, наконец, он — наемный рабочий. В этом случае — предположим, что товар продается по своей стоимости — он получает за свои деньги, как и всякий другой покупатель, эквивалент в форме товара. (Значит, поскольку он потребитель, и его тоже никто не надувает! Л. Р.). Он получает столько же оущественного труда в форме товара, сколько дает его в форме денег. Но за те деньги, которые составляют его заработную плату, он отдал больше труда, чем его заключается в деньгах. Стало быть, он заплатил за эти деньги дороже их стоимости, а значит и за эквивалент денег, за ситец, он тоже заплатил дороже его стоимости. Следовательно, его издержки, как покупателя, больше, чем издержки

продавца любого товара, хотя он и получил в товаре эквивалент за свои деньги: но ведь в деньгах-то он не получил эквивалента за свой труд — в форме труда он дал больше, чем эквивалент. Рабочий оказывается, таким образом, единственным, кто за все товары, даже когда он покупает их по их стоимости, платит дороже их стоимости, потому что он купил всеобщий эквивалент труда, деньги, дороже их стоимости. Отсюда не получается никакого особого барыша для того, кто продает свой товар рабочему: рабочий платит ему не больше, чем всякий другой покупатель, — он оплачивает стоимость труда. Капиталист, продающий произведенный рабочим товар рабочему же, реализует, конечно, на этой продаже прибыль, но не большую, чем на продаже всякому другому покупателю. Его прибыль происходит не от того (в случае продажи рабочему), что он продает товар дороже его стоимости, а от того, что он раньше, в процессе производства, купил этот товар у рабочего ниже его стоимости».

Теперь Вы можете торжествовать, тов. Грациади! Да ведь это моя теория, — воскликнете Вы, — ведь я утверждаю то же самое, что здесь утверждает Маркс, — именно, что прибыль происходит из разницы между издержками производства и продажными ценами! Но минутку терпения! Дело в том, что Маркс продолжает:

«Господин Мальтус, превративший капитализацию товара в его стоимость, вполне последовательно превращает затем всех покупателей в наемных рабочих, т. е. у него все они дают капиталисту в обмен за товар непосредственный труд (как у Вас, тов. Грациади, решительно все превращаются, наоборот, в потребители! Л. Р.), и притом все отдают ему больше труда, чем его заключено в товаре, — тогда как на самом деле прибыль капиталиста происходит от того, что он продает заключенный в товаре труд целиком, оплачена же им только часть этого труда. Значит, если у Рикардо затруднение в том, что закон товарообмена непосредственно не объясняет обмена между капиталом и наемным трудом и даже как будто его противоречит, то Мальтус разрешает это затруднение тем, что превращает куплю (обмен) товаров в обмен между капиталом и наемным трудом. Мальтус не понимает разницы между всей суммой труда, заключающейся в данном товаре, и суммой оплаченного труда, заключающейся в нем. А именно эта разница и является источником прибыли. И в дальнейшем Мальтус вынужден выводить прибыль из того, что продавец продает товар не только выше той цены, которую он ему стоит (так капиталист действительно и поступает), но и выше той, которую она сама стоит; он приходит, следовательно, к вульгарному воззрению, выводящему прибыль из того, что продавец продает товар дороже его стоимости (т. е. получает за большее количество рабочего времени, чем в нем заключается). То, что он таким образом выигрывает как продавец одного товара, он теряет как покупатель другого, и решительно нельзя понять, какая может получиться реальная «прибыль» от такого всеобщего номинального повышения цен. Непонятно, как может таким путем обогатиться все общество в целом, как может образоваться действительная прибавочная стоимость или прибавочный продукт. Это — чепело тупоумное представление».

Хотя Вы, тов. Грациадеи, строите свою теорию несколько иначе, чем пресловутый Мальтус, все же Вы на своем пути приходите как раз к тому же, к чему пришел и Мальтус: к введению прибыли из отчуждения товаров, из процесса их обращения. И только что Вы прослушали ответ Маркса не только на эту частную теорию, но и на всю Вашу «логическую и историческую» теорию вообще.

На этом мы бы и закончили, если бы не вывод, который Грациадеи делает из своей теории и который мы должны еще привести—скорее, впрочем, для развлечения, чем для серьезного опровержения. Оказывается, видите ли, что наша доселешняя политика, опиравшаяся на марксизм и ленинизм, была неправильна! Мы должны немедленно ее изменить и в основу нашей политики положить фашизм. Ибо если вы хотите знать, в чем заключается истинный коммунизм, то слушайте.

По Марксу, прибыль происходит из неоплаченного труда, т.е. образуется за счет рабочих. Это только один факт. По Грациадеи, она образуется отчасти за счет рабочих, отчасти же за счет потребителей. Это—два факта. Итак:

«Критика капиталистического строя не ослабляется, а усиливается тем, что ее опорой становятся, вместо одного, два важнейших факта... Если два эти явления... будут приведены во взаимную связь, можно будет оба их использовать в одинаковом смысле».

«Первое явление, т.е. тот факт, что они (рабочие) не в состоянии воспрепятствовать присвоению прибавочной цены исключительно капиталистами, может быть использовано по отношению к тем, кто, будучи вынуждены продавать свою рабочую силу, чувствительнее к этой стороне вопроса (рабочие, крестьяне, частные служащие)».

«На второе же явление, т.е. на тот факт, что потребители оказываются жертвой несправедливости, можно обращать внимание средних классов и слоев... А ведь одна из характерных черт коммунизма, как политической школы, в том и состоит, что он признает значение и средних трудовых слоев и старается удовлетворить и их интересы и стремления» («Il Prezzo», стр. 38—39).

Что это такое, как не идеология фашизма? От Муссолини до Гитлера весь фашизм стоит под знаком борьбы не против производительного, а против торгового капитала, взвешивающего цены за счет потребителей. Этой идеологией фашизм хочет приманить к себе промежуточные слои. По Грациадеи, наша ленинская политика привлечения трудовых слоев на сторону пролетариата в его революционной борьбе совпадает с фашистской идеологией потребителей, с попыткой фашизма приманить к себе промежуточные слои!

Мы, стало быть, несколько не ошиблись, когда в введении к настоящей статье высказали мысль, что быть может характер нынешней стадии революции побудил Грациадеи выступить со своими писаниями и со своей попыткой ревизии марксизма. Это наше заявление мы должны теперь изменить только в том смысле, что это не быть может так, а без всякого сомнения так. И вот доказательство: Долой идеологию пролетариата, революционный марксизм! Вместо него да здравствует идеология мелкой буржуазии, в ее реакционной форме, идеология фашизма!

## Гильфердинг или Маркс?

(К критике теории денег Гильфердинга).

В. Позняков.

В своей работе о «Деньгах и кредите» А. Финн-Енотаевский пишет:

«Деньги явились на известной ступени развития меновой торговли, ставшей посредственной. Некоторые из функций, выполняемых деньгами, которые ряд видных экономистов считают сущностью денег, имело место в общественной экономической жизни и до возникновения денег, они будут существовать и по исчезновении денег: укажем хотя бы на основную функцию денег—служить мерилом ценности. Но в сфере товарного обращения особый товар, выполняющий функции мерила ценности и средства обращения вместе, становится деньгами<sup>1)</sup>».

Трудно нарочно уместить такую большую путаницу на таком небольшом пространстве—на протяжении всего нескольких строк. Прежде всего, что это за функции денег, которые существовали до возникновения денег и будут существовать и после уничтожения денег? Во всяком случае это будут функции чего-либо иного, но не функции денег. Во-вторых, в качестве таковой функции Финн-Енотаевский называет их функцию служить мерилом ценности. Но мерило ценности предполагает наличие ценности, ибо нельзя измерять то, что не существует. В результате же мы, повидимому, благополучно приходим ко взглядам, хотя бы, того же Смита, который, напр., считал деньги таким средством, к которому люди условились прибегать удобства ради<sup>2)</sup>. Ценность, измеряемая деньгами, существует, повидимому, сама по себе, независимо от денег, но сами деньги ничуть при этом не связаны с ценностью. Если первое в надлежащей интерпретации верно, то второе уже абсолютно не верно. Суть здесь, конечно, в том, что ценность, по крайней мере в данном месте у Финна-Енотаевского, видимо вы-

<sup>1)</sup> См. «Новые идеи в экономике», сб. № 8, 1925 г., стр. 29.

<sup>2)</sup> Для того, чтобы избежать неудобства такого положения (т.е. при натуральном обмене товара на товар, В. П.), каждый благоразумный человек в любом состоянии общества после первоначального установления разделения труда естественно должен был стремиться так устроить свои дела, чтобы всегда иметь наряду с особым продуктом своего собственного производства также некоторое количество того или иного товара, который, как он предполагал, лишь очень небольшое число людей отказалось бы принять в обмен за продукт своего производства. Много различных товаров, по всей вероятности, было последовательно испытано и употребляемо для этой цели. А. Smith, Wealth of Nation, B. I, ch. IV.

стует в качестве логической категории. А. Смит считал деньги в то же время товаром. И Финн-Енотаевский считает их также товаром, и даже особым товаром. Но эта особенность заключается лишь в том, — как это следует из дальнейшего, — что этот товар выполняет «функцию мерила ценности и средства обращения». Финн-Енотаевский совершенно справедливо видит основной грех «ряда видных экономистов» в том, что они сущность денег выводили из той или иной функции денег. Но все отличие от них Финн-Енотаевского заключается в том, что, по его мнению, опять-таки высказанному здесь, сущность денег — это есть сумма двух их функций. Совершенно верно, что ошибочно выводить сущность денег из какой-либо функции денег, но несомненно также, что не менее ошибочно выводить деньги и из двух функций одновременно; в данном случае количество не переходит еще в качество.

Что здесь Финн-Енотаевский представляет совершенно неправильное положение, знает и он сам, ибо дальше он говорит: «Связь бумажных денег — и банкнот — с ценностью какого-нибудь исключительного товара — скажем, благородного металла — лежит в сущности денег, а не практическое лишь удобство, введенное вследствие естественного непостоянства кредита, как уверяет Готрей; она неустраиваема, пока существует обмен, создавший деньги. А деньги товар, хотя и особенный»<sup>1)</sup>.

Тем самым перед нами встает вопрос о сущности денег. Какой же ответ мы находим у Финна-Енотаевского? «Тот самый процесс, — говорит он, — который превращает ценность товаров в цены, превращает товар, в котором выражены эти цены, в деньги»<sup>2)</sup>.

Очевидно, что сущность денег и должна быть выведена из этого процесса. Но такая постановка вопроса в корне неправильна. Однако в нашу задачу вовсе не входит критика взглядов Финна-Енотаевского; задача, которую мы поставили себе, היא: она сводится к вскрытию основной ошибки теории денег Гильфердинга. Если мы и привлекли сюда Финна-Енотаевского, то только потому, что он в приведенных словах в очень сжатой форме дал в сущности очень верную формулировку основных взглядов Гильфердинга, а также, добавим, повторил и все его ошибки.

Обратимся все же к характеристике того процесса, в котором возникают деньги. Мы только что указали, что представленные об этом процессе Финна-Енотаевского мы совершенно не можем признать правильными, ибо они в корне противоречат теории денег Маркса, которую мы считаем единственно правильной. Но они одновременно, как нельзя лучше, можно сказать, внутренне связаны с его представлением о деньгах, как мере ценности плюс средство обращения. Фактически, а не на словах, подобное представление о процессе, как стремится показать Каутский, лежит в качестве того фундамента, на котором Гильфердинг воздвигает все свое теоретическое здание (в области теории денег, конечно). Впрочем, по отношению к Гильфердингу, как мы увидим дальше, и это неверно.

<sup>1)</sup> А. Финн-Енотаевский, Деньги и кредит, стр. 67.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 29.

Можно ли, в самом деле, утверждать, что тот процесс, который превращает особый товар в деньги, есть процесс модификации ценности в цены, как это утверждает Финн-Енотаевский? Мы думаем, что этого делать ни в коем случае нельзя. Однако, кстати, естественным следствием такого понимания является его представление, что может иметь место ценность и в то же время еще отсутствовать деньги и, наоборот, — может существовать ценность, хотя бы деньги были уничтожены, как это утверждает тот же Финн-Енотаевский.

Маркс давал совершенно иной ответ; для него процесс превращения особого товара в деньги был в то же время процессом развития самой ценности, а не только процессом превращения ценности в цену. Этот момент странным образом упускается из виду не только Финном-Енотаевским, но и Гильфердингом, а также и критиками теории денег Гильфердинга. Однако к теории Маркса мы вернемся позже, а теперь обратимся к нашей ближайшей теме.

Как известно, Гильфердинг конструирует новое понятие «общественно-необходимой стоимости (ценности) обращения»<sup>1)</sup>, и его кладет в основу своей теории бумажных денег; так он ставит вопрос, по крайней мере, в «Финансовом капитале», но, как указывает Каутский<sup>2)</sup>, в дальнейшем он распространяет выведенные им положения и на случай золотого обращения<sup>3)</sup>.

Вскрытие его основной ошибки делается поэтому актуальным; тем более, что и среди части марксистской молодежи, — как указывает т. Мотылев<sup>4)</sup>, — в виду этого (т. е. в силу перехода почти всех стран к бумажно-денежному обращению. В. П.) пользуется успехом теория «общественно-необходимой стоимости обращения» Гильфердинга, дающая видимость ответа и, — притом, — внешне согласованного с экономической концепцией марксизма.

Специальной критике подверг эту новую теорию денег Каутский в своей статье «Золото, бумажные деньги и товары»<sup>5)</sup>. Но нужно сказать, что основной изъян гильфердинговских построений остался для Каутского незамеченным; поэтому его критика в значительной степени бьет мимо цели. К тому же Каутский сам запутывается в дальнейшем, пытаясь восстановить разорванную Гильфердингом (конечно, только в представлении самого Гильфердинга) связь бумажных денег с золотом. Тов. Мотылев резче, но все-таки недостаточно резко, указывает на несовместимость взглядов Гильфердинга и теории Маркса. К сожалению, он эту несовместимость ближе не показывает.

Однако обратимся к первоисточнику: нам нужно прежде всего изложить критикуемую нами теорию. К счастью для нас,

<sup>1)</sup> Мы предполагаем слово «Wert» передавать термином «ценность». Термин же «стоимость» мы будем употреблять только в цитатах, где он употребляется в цитируемом источнике.

<sup>2)</sup> См. К. Каутский. Золото, бумажные деньги и товары. — «Под Знамя Маркса» № 11—12 за 1922 г., а также в сборнике «Деньги и денежное обращение в освещении марксизма». Изд. НКФ. Москва, 1923 г.

<sup>3)</sup> См., напр., Гильфердинг. Деньги и товар, в том же сборнике.

<sup>4)</sup> В. Мотылев, Мерило стоимости при бумажно-денежном обращении, — «Под Знамя Маркса» № 11—12, 1922 г., стр. 164.

<sup>5)</sup> Указанная выше статья.

общеизвестность взглядов Гильфердинга освобождает нас от необходимости подробного ее изложения. Остановимся на главных пунктах его теории и дадим их притом в известном критическом разрезе.

Здесь у него любопытен уже сам методологический подход. Каутский совершенно верно характеризует его, говоря, что деньги, по формуле Гильфердинга, должны функционировать как мерило стоимости и средство обращения прежде, нежели установлена их стоимость, превращающая их в мерило стоимости и средства обращения»<sup>1)</sup>. Приходится только удивляться, что Гильфердинг, так много и хорошо писавший о методе Маркса, в данном конкретном случае так основательно позабыл все написанное, и ни в малейшей степени не сумел применить этот метод. Здесь он хорошо усвоил язык и стиль Маркса, но сущность или метод Маркса остался для него terra incognita.

Конкретно, в действительности мы встречаемся, конечно, прежде всего с деньгами в их различных функциях. Нет обмена, т.-е. обращения товаров, нет и денег,—обмен предшествует деньгам. Но в актах обмена деньги функционируют в виде средства обращения, ибо целью менового акта и является перемещение товара из рук в руки, совершаемое при посредстве денег. Опять-таки, только в обмене мы встречаемся с деньгами, функционирующими в роли мерила ценности, ибо измеряют ценность для того, чтобы ее обменять (продать или купить). То же можно сказать и относительно других функций. Лишь выполняя эти функции, определенный товар становится деньгами. Эти функции, повидимому, и были исторически первичными; с них, повидимому, и должен начаться анализ денег: из этих функций денег нужно вывести их сущность. И мы знаем, что всевозможные буржуазные теории денег представляют как раз такое введение сущности денег из той или иной их функции. Можно даже пытаться вывести сущность денег из совокупности всех их функций, понимаемой при том в смысле простой, арифметической суммы этих функций. И, все-таки, даже и в таком случае это был бы неправильный путь. Ибо целое в данном случае будет больше, чем простая сумма составляющих его частей. Конкретно нам даны различные функции денег. Но конкретное потому конкретно, что оно является сведенным к единству множеством определений, т.-е. единством в многообразии»<sup>2)</sup>, а не единством многообразий. «В мышлении оно выступает поэтому как процесс объединения, как результат, а не как исходный пункт, хотя оно является исходным пунктом в действительности, и, следовательно, также исходным пунктом созерцания и представления»<sup>3)</sup>. Поэтому нет ничего ошибочнее пути, на который встал Гильфердинг. Но он предопределил также и его основную ошибку,

<sup>1)</sup> См. указанную статью в «Под Знаменем Марксизма», стр. 152.

<sup>2)</sup> К. Маркс, Введение к критике политической экономии. См. «Критика политической экономии». Изд. «Моск. Рабочий», 1923 г., стр. 25.

<sup>3)</sup> Там же (курсив в цитатах мой). Маркс говорит дальше: «Метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его духовно как конкретное. Однако это отнюдь не есть процесс возникновения самого конкретного».

фактически мы у него имеем мало последовательный, лишь прикрытый марксистской фразеологией, вариант вульгарной квантитативной теории. Впрочем, на этом моменте методологического порядка нам придется остановиться в дальнейшем в связи с теорией денег Маркса, которой нам придется коснуться, чтобы показать, насколько Гильфердинг основательно «проревизовал» Маркса.

О необходимости такого пересмотра взглядов Маркса, впрочем, говорит и сам Гильфердинг. По его мнению, мы встречаемся с рядом таких явлений,—как, напр., явления денежных систем в Голландии, Австрии и Индии,—с которыми при помощи с формулированной Марксом теории, повидимому, невозможно справиться<sup>1)</sup>. Теория денег, развитая Гильфердингом, как он сам говорит или как ему это кажется, на основе теории Маркса, должна разрешить именно эти выдвинутые новыми явлениями денежного обращения проблемы. Что при этом ему приходится исправить Маркса—это является несомненным. Весь вопрос и заключается в том, какой характер носит это исправление? И не является ли такое «исправление» скорее искажением Маркса?

Свой анализ Гильфердинг начинает с установления «необходимости денег». Здесь (в первой главе своего «Финансового капитала») он имеет дело только с золотыми деньгами, и здесь он, по видимости, лишь излагает то, что было сказано Марксом. Но это только по видимости; ибо при внимательном чтении становится ясным, что теория Маркса подвергается тут не извращению,—этого нельзя сказать прямо, но она как-то преукрашивается, принимает ненадлежащие пропорции, как бы отражается в кривом зеркале. То наиболее существенное, что характеризует теорию денег Маркса, как-то ускользает, наоборот, она непропорционально раздувается в другом отношении, получая при том вид того трамплина, который помогает Гильфердингу совершить скачок к своей собственной теории (дело идет тут, в действительности, не о «поправке» к теории Маркса, добавим мы в скобках, а именно о прыжке от теории Маркса). Даже там, где Гильфердинг только лишь следует за Марксом, излагая вполне марксистские, по внешности, взгляды, мы имеем уже основательную ревизию или весьма значительный уклон от взглядов Маркса, при чем, конечно, Гильфердингу volens volens в этих случаях приходится, увы, повторять только зады, давно сказанные не только до него, но и до Маркса.

В настоящее время вопрос вообще стоит так: или теория Маркса, вполне, без всяких поправок; или же поправки и поправочки, и неизбежное повторение новейших мудростей буржуазной политической экономии—tertium non datur. Итак, что такое деньги?

«Деньги суть товар, подобный всем другим товарам, а следовательно, это воплощение стоимости»<sup>2)</sup>.

«Деньги в качестве стоимости суть товар, подобный всякому другому, и непосредственно из самого характера общества

<sup>1)</sup> См. Р. Гильфердинг, Финансовый капитал, III изд., 1918 г., Предисловие, стр. 13.

<sup>2)</sup> Р. Гильфердинг, Финансовый капитал, стр. 27.

товаропроизводителей вытекает необходимость того, чтобы деньги имели стоимость<sup>1)</sup>.

Это совершенно верно, настолько верно, что дальше, когда Гильфердинг переходит к построению своей теории, он совершенно забывает об этих определениях. Следовательно, Гильфердинг знает, что деньги вообще являются товаром, что, как таковой, они должны иметь и имеют ценность, знает он также, что деньги в то же время являются особым товаром. Ибо «от всех остальных товаров деньги отличаются прежде всего тем, что они являются для всех других товаров эквивалентом, т. е. товаром, в котором все другие товары выражают свою стоимость. Что они сделались таковым, это—результат совокупности меновых процессов»<sup>2)</sup>.

Мы, таким образом, подошли к меновым процессам, т. е. к явлениям товарного обращения. Это товарное обращение, именно обращение, как «совокупность меновых процессов», и является для Гильфердинга исходным пунктом. Впрочем, об этом он сам говорит:

«Исторически деньги первоначально развились из обращения. Следовательно, это прежде всего—орудие обращения (для Гильфердинга и теоретически деньги тоже прежде всего—орудие обращения. В. II.). Только тогда, когда они сделались всеобщей мерой стоимостей и всеобщим эквивалентом, они сделались и всеобщим платежным средством»<sup>3)</sup>.

Этими словами Гильфердинг заостряет свою теорию против Кнаппа, но он заостряет ее не только против Кнаппа!

И в полном согласии с этим он говорит, что «необходимость общего мерила стоимости, в котором непосредственно выражается стоимость всякого другого товара, и на которое последний может быть во всякое время непосредственно обменен», возникает «из самого процесса обмена, из необходимости постоянного взаимного приравнивания товаров»<sup>4)</sup>, т. е. из ряда меновых актов, другими словами, из процесса обращения товаров, как такового.

«Следовательно, деньги с одной стороны—товар. Но, с другой стороны, этот товар постоянно отодвигается на особое место эквивалента»<sup>5)</sup>.

И он ближе характеризует этот процесс отодвигания. «Это произошло в процессе деятельности всех остальных товаров, которые легитимировали денежный товар, как свой единственный и всеобщий эквивалент»<sup>6)</sup>. Деньги, по Гильфердингу, есть легитимированный в качестве общего эквивалента товар.

Но в дальнейшем сам этот товар у него исчезает, ибо центр тяжести он переносит именно на эту легитимацию. Только благодаря этой легитимации он становится деньгами, непосредственным воплощением общественно-необходимого времени. Но при этом Гильфердинг совершенно забывает то чрезвычайно суще-

1) Там же.

2) Там же. Курсив мой.

3) Там же, стр. 32—33, сноска.

4) Там же, стр. 27—28. Курсив мой.

5) Там же.

6) Там же.

ственное обстоятельство, которое нарочито подчеркивает Маркс, что таким непосредственно-общественным трудом становится частный труд, именно труд производителя золота. В этом Маркс видит одно, и притом чрезвычайно существенное для теории денег, противоречие формы ценности. Эта сторона вопроса совершенно затушевывается Гильфердингом, и вместо этого он на первый план выпячивает именно процесс обращения или меновой акт. Вообще можно было бы, пожалуй, счесть первую главу «Финансового капитала» не совсем удачным изложением теории Маркса, если бы дальнейшее не бросало очень яркого света на это своеобразие в ее изложении,—иначе Гильфердинг никак не смог бы перейти к «общественно-необходимой ценности обращения». В этом понятии и заключен весь смысл и в то же время вся бессмыслица его теории, если подойти к ней с критикой на основе метода Маркса.

Если эта бессмыслица красной нитью проходит уже, хотя и в зашифрованном виде, через всю первую главу,—читатель легко может проследить ее сам<sup>1)</sup>,—то в открытом и незамаскированном виде она торжественно выходит на сцену дальше (во 2-й главе). Правда, свою теорию,—по крайней мере в «Финансовом капитале»,—Гильфердинг строит для бумажно-денежного обращения, однако она бьет дальше цели; теоретические построения вообще имеют свою логику (как говорят немцы: кто сказал А, тот должен сказать и Б), и она с равным успехом или, правильнее, с таким же успехом должна быть расширена и на металлическое, в частности золотое денежное обращение. Впрочем, в позднейшей своей статье<sup>2)</sup> Гильфердинг и дает ей такое распространительное толкование.

Итак, раскроем содержание понятия «общественно-необходимой ценности обращения»; для этого предоставим слово самому Гильфердингу:

«Форма процесса обращения: товар—деньги—товар, Т-Д-Т—говорит Гильфердинг (мы увидим затем, какое употребление он делает из этой формулы и какой интерпретации он ее подвергает).—«В этом процессе деньги играют роль простого доказательства, что индивидуальные условия, при которых произведен товар, соответствуют общественным условиям производства»<sup>3)</sup>.

Это верно, но если мы останемся в пределах только этого процесса: однако вместе с тем, логически, для нас деньги будут уже даны до этого процесса. Ибо, как на это указывает и сам Гильфердинг, «в сфере товарного обращения деньги первоначально появляются как твердый кристалл стоимости, а потом расплываются просто в эквивалентную форму товара»<sup>4)</sup>. Но у Гильфердинга не только деньги расплываются в эквивалентную форму товара, вместе с тем у него расплывается также теория ценности и теория денег Маркса в нечто чрезвычайно напоминающее вульгарные построения буржуазных количественников. Действительно, непосредственно вслед за этим он продолжает:

1) Укажу, хотя бы, стр. 22—23 «Финансового капитала».

2) Статья «Деньги и товары».

3) Р. Гильфердинг, Финансовый капитал, стр. 33. Курсив мой.

4) Там же, стр. 35.

«Но необходимыми представляются (деньги. В. II.) только потому, что только таким образом стоимость товара может улучшить общественно-значимое выражение, и что только так товар может превратиться из денег снова в какой-либо другой товар»<sup>1)</sup>.

В этом «общественно-значимом выражении» мы встречаемся уже со специфически гильфердинговским уклоном; дальше он развивается его следующим образом:

«Выражение в денежной форме остается лишь мимолетным, оно приобретает важность не само по себе... таким образом здесь важна исключительно общественная сторона денег, то их свойство, что как стоимость они равны товару»<sup>2)</sup>.

Пусть не думает читатель, что эта «стоимость» есть ценность самих денег, т. е. того материала, из которого сделаны деньги. Эта «стоимость» оторвалась от того презренного товарного тела, с которым она раньше была связана, и получает особое абстрактное, нематериальное бытие. Ибо, хотя «эта общественная сторона осязательно, материально выражена в денежном материале, например, в золотых деньгах», «но она непосредственно может быть выражена посредством сознательного общественного регулирования, — а так как сознательный орган общества, построенного на товарном производстве, есть государство, то, следовательно, посредством государственного регулирования»<sup>3)</sup>.

Во-первых, хорошо это «сознательное общественное регулирование» в принципиально неорганизованном, неурегулированном обществе! Во-вторых, несмотря на резкое отмежевание Гильфердинга от государственной теории денег, здесь весьма заметны следы влияния княповских построений; и, в-третьих, это «сознательное общественное регулирование» Гильфердинг связывает с определенным материалом, и если, как в данном случае, он связывает его с золотом, то это вовсе не необходимая, а чисто случайная связь. Золото в данном случае можно заменить бумагой; ценность денег не есть ценность самого денежного материала, отраженная ценность противостоящего денежка товару. Тут мы вошли *in medias res* теории Гильфердинга: в «Финансовом капитале» свою теорию он развивает именно в применении к бумажно-денежному обращению, но, как мы указывали, нет никаких логических препятствий распространить ее и на случай любого денежного обращения.

Однако приведем формулировку самого Гильфердинга:

«При чистом бумажно-денежном обращении с принудитель-

<sup>1)</sup> Там же. Раньше по отношению к золотым деньгам Гильфердинг говорил: «И лишь после того, как обмен совершился, производитель... находит подтверждение, что он правоспособный член общества товаропроизводителей» его общественная полнота подтверждается для него той вещью («Вещь, которая посредством коллективных действий товаров получила полномочие на то, чтобы выражать стоимость всех остальных товаров, это — деньги», — говорит немного ниже Гильфердинг), какую он получает в обмен за свою. Эта вещь, которая может дать производителю упомянутое подтверждение, должна иметь необходимую легитимацию (со стороны общества. В. II. «Финанс. кап.», стр. 25. Здесь он еще говорит о вещи, но дальше, как мы видим, он рвет всякую связь с этой вещью, т. е. с особым товаром — деньгами.

<sup>2)</sup> Гильфердинг, «Финанс. капит.», стр. 35. Курсив мой.

<sup>3)</sup> Там же.

ным курсом<sup>1)</sup>, при неизменности времени оборотов, стоимость бумажных денег определяется суммой цен тех товаров, которые должны пройти через сферу обращения; бумажные деньги здесь приобретают полную независимость от стоимости золота и непосредственно отражают стоимость товаров согласно закону, что их общее количество представляет стоимость, определяемую формулой

$$\frac{\text{сумма товарных цен}}{\text{число оборотов одноименных монет.}}$$

Из этого тотчас же видно, что возможно не только обесценение, но и повышение цены бумажных денег по сравнению с их первоначальной ценой<sup>2)</sup>.

Итак, — резюмирует Гильфердинг, — стоимость бумажных денег определяется суммой стоимости товаров, находящихся в обращении. Здесь чисто общественный характер стоимости обнаруживается в том, что такая не имеющая стоимости вещь, как бумага, выполняя чисто общественную функцию, обслуживая обращение, приобретает вследствие этого стоимость, и что величина последней определяется не общественной стоимостью бумаги, совершенно ничтожной, а стоимостью массы товаров, — представляет отражение товарной стоимости на бумажных знаках. Как луна, которая уже давным-давно охладилась, может светить только потому, что она получает свет от раскаленного солнца, так и бумажные деньги только потому имеют стоимость, что общественный характер труда сообщает товарам стоимость. Отраженная трудовая стоимость делает бумагу деньгами точно так же, как отраженный солнечный свет заставляет светиться луну. В бумаге отблеск стоимости, именно товарной стоимости; свет луны — отблеск солнечного света<sup>3)</sup>.

«Величина стоимости самого этого «мерила стоимости» (бумажных денег и металлических при закрытой чеканке. В. II.) определяется уже не стоимостью того товара, из которого оно образовано, не стоимостью золота или серебра, или бумаги. Напротив, эта «стоимость» в действительности определяется совокупной стоимостью товаров, находящихся в сфере обращения (причем предполагается неизменная быстрота оборотов). Действительное мерило стоимости не деньги: «курс» самих этих денег определяется тем, что я назвал бы общественно-необходимой стоимостью обращения»<sup>4)</sup>.

Не приходится доказывать, что подобного рода теоретические построения плохо вяжутся с основами теории Маркса; впрочем, это видит и сам Гильфердинг. Маркс писал:

«Неимеющие ценности марки являются знаками ценности лишь постольку, поскольку заменяют золото в процессе обращения, и заменяют его лишь постольку, поскольку оно само вошло бы в обращение, как монета — это количество определяется его собственной ценностью, если предположить, что меновая ценность товаров и быстрота их обращения даны»<sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> Мы уже указали, что если вообще признать правильными взгляды Гильфердинга, то эти положения должны быть распространены и на металлическое денежное обращение.

<sup>2)</sup> «Финансовый капитал», стр. 37—38. Курсив мой.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 39. Курсив мой.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 49—50.

<sup>5)</sup> К. Маркс, К критике политической экономии, стр. 123.



Эти слова Маркса приводит и Гильфердинг, но он не согласен только с тем, по его мнению, обходным путем, к какому прибегает Маркс. «Излишним представляется только тот обходный путь, — так формулирует он свое отличие от Маркса, — в который пускается Маркс, определяя сначала стоимость необходимого количества монеты и лишь через нее — стоимость бумажных денег<sup>1)</sup>».

Весь вопрос и заключается в том, насколько правильно такое прямое выведение? Случайно ли, в самом деле, что Маркс «запутался» на обходных путях? Не лежит ли необходимость такого обходного пути в самой природе товарного общества? Не говорит ли сам Гильфердинг, что «рабочее время (закладочное в товаре. В. П.), как таковое, не получает непосредственного выражения», что для этого требуется приравнять к другой вещи, т. е. наличность этой «другой вещи», и таковой «вещи», как разясняет тот же Гильфердинг, которая сама обладает ценностью. И дальше — в полемике против количественной теории денег — разве сам Гильфердинг не говорит: «Важно, кроме того, что вообще невозможно сопоставлять количество металла на одной стороне и количество товаров — на другой. Какое отношение может существовать между  $x$  килограммов золота или серебра, или даже бумажных денег и  $a$  миллионами сапса,  $b$  миллионами коробок сапжной ваксы,  $c$  центнерами пшеницы,  $d$  гектолитрами пива и т. д.? Сопоставление массы денег, с одной стороны, и товарной массы, с другой, уже само по себе предполагает нечто общее между ними, — как раз то самое отношение стоимости, которое требуется объяснить»<sup>2)</sup>.

Но еще нелепее сопоставлять количество товаров на одной стороне и кучу бумажек на другой, а к этому и сводится все «новое» открытие Гильфердинга. Ведь «знак ценности есть непосредственно знак цены, следовательно, символ золота, и только окольным путем символ ценности» (Маркс)<sup>3)</sup>, и именно символ ценности золота, а не каких-либо иных товаров, а тем более не всей товарной массы. Так утверждал Маркс, и иначе он не мог утверждать. Очень хорошо, что Гильфердинг приводит здесь совершенно правильные положения Маркса, очень жаль только, что о них он сейчас же и забывает; впрочем, мы вернемся еще к этому вопросу. Теория ценности Маркса и логически с ней увязанная, логически из нее вытекающая теория денег абсолютно непримиримы с собственной теорией Гильфердинга и с его «общественно-необходимой ценностью обращения».

Нехотным пунктом Гильфердингу служила, как мы видели, Марксова формула товарного обращения Т-Д-Т; вместе с тем

1) См. «Финансовый капитал», стр. 67, сноска. И он продолжает: «Истинно общественный характер этого определения выступает много яснее, если стоимость бумажных денег выводит непосредственно из общественной стоимости обращения. Что бумажно-денежные системы исторически возникли из металлических систем, это вовсе не основание рассматривать их так и теоретически. Стоимость бумажных денег следует вывести, не прибегая к металлическим деньгам».

2) «Финансовый капитал», стр. 48.

3) «Das Wertzeichen ist unmittelbar nur Preiszeichen also Goldzeichen, und nur auf einem Umweg Zeichen des Werts der Waren». Эти слова цитирует Гильфердинг, «Финансовый капитал», стр. 68, сноска.

деньги для него выступали прежде всего и исключительно, как Посредствующее звено в этой формуле товарных метаморфоз, т. е. как средство обращения; правда, они в то же время выполняли известную социальную функцию, они давали общественное признание труду частного товаропроизводителя, они выступали как мерило ценности; но эта их функция быть мерилом ценности подчиняется Гильфердингом их основной функции как средства обращения, вытекает из нее. Следовательно, Гильфердинг выводит сущность денег из их функции, и именно из функции средства обращения; подобное выведение лежит явно или скрыто в основе любой количественной теории. Нелепость такого выведения сущности денег из формулы Т-Д-Т всякому марксисту бросается в глаза; поэтому Гильфердинг проводит эту же операцию, но в более сложном виде; он исходит из двух отдельных, но сцепленных между собой метаморфоз, он берет все товарное обращение данного общества.

«Предположим, — говорит он, — что в определенный момент обращение требует 5 миллионов марок, для чего необходимо приблизительно 3.600 фунтов золота. Тогда все обращение приняло бы у нас такой вид: (5 миллионов марок в) Т — (5 миллионов марок в) Д — (5 миллионов марок в) Т. Если золото заменили бумажными знаками, что бы ни было оттиснуто на этих знаках, сумма их во всяком случае должна представлять сумму товарных стоимостей, следовательно, в нашем примере — 5 миллионов марок. Если отпечатано 5.000 знаков равного достоинства, каждый будет равен 1.000 марок; если оттиснуто 100.000 знаков, каждый будет представлять 50 марок. Если, при прежней быстроте оборотов, сумма товарных цен удвоится, а количество знаков не изменится, то они будут равнозначны 10 миллионам марок; если сумма цен упадет на половину, то всего 2½ миллиона марок<sup>4)</sup>».

В чем заключается основная ошибка всех построений Гильфердинга? Хотя его «Финансовый капитал» иногда и называли четвертым томом «Капитала», однако эта теория денег, конечно, не могла получить единогласного признания среди марксистов. Основной грех его теории его критики видят в смешении ценности с ценой. «Основная ошибка, — говорит т. В. Мотылев, — всех подобных попыток заключается в смешении стоимости и цены»<sup>5)</sup>.

Каутский в своей критике Гильфердинга<sup>3)</sup> развивает ее в двух направлениях. «Он отождествляет стоимость и цену»<sup>4)</sup> — говорит Каутский. «Путь от стоимости к цене и есть именно тот окольный путь, который прокладывается Марксом... Гильфердинг избавляется от этого «излишнего» окольного пути лишь тем, что употребляет стоимость и цену, как тождественные понятия»<sup>5)</sup>. И дальше:

«Стоимость определяется общественно-необходимым рабочим временем. Если в массе товаров овеществлено общественно-необходимого труда в количестве 5 миллионов рабочих часов, то

1) Гильфердинг, Финансовый капитал, стр. 37.

2) Указ. статья в «Под Знамя Марксизма», стр. 166.

3) Указ. статья «Золото, бумажные деньги и товары».

4) Указ. статья, стр. 148.

5) Там же.

она будет иметь соответственную по величине стоимость. Если в течение рабочего часа производится  $\frac{1}{1395}$  фунта золота, и это количество называют маркой, тогда можно также сказать, что сумма стоимости товарной массы составляет 5 миллионов марок. Точнее выражаясь, это, собственно, не сумма стоимости, а сумма цен, которой обозначают определенную величину стоимости, выраженную посредством количества золота, на которое она обменивается. Цена и стоимость отнюдь не совпадают, но для упрощения можно их иногда в теории приравнять друг к другу. Но при этом не следует, однако, забывать, что выражение стоимости в деньгах предполагает наличие такой стоимости и без такого предположения—бессмысленно. И правильное, действительно, такое выражение обозначать как цену.

Почему говорит здесь Гильфердинг о сумме стоимости, вместо того, чтобы говорить о сумме цен? Сумма стоимости товаров дана сама себе; она независима от стоимости денег. Сумма же цен предполагает, напротив, не только определенную стоимость товаров, но и определенную стоимость денег. Тем, что он отождествляет сумму стоимости и сумму цен, он делает возможным сделать цену независимой так же, как и стоимость от предположения определенной данной стоимости денег<sup>1)</sup>.

Итак, основная ошибка Гильфердинга, по мнению Каутского, а, впрочем, и других марксистов, заключается в том, что он смешивает или отождествляет ценность и цену. Но это возражение, во-первых, не верно, а, во-вторых, если бы оно даже и было верно, оно не полно, к тому же само страдает некоторой неопределенностью и допускает различные интерпретации, одна из которых может быть правильной, в другой же интерпретации это возражение само подпадает под те же возражения, которые можно сделать по адресу теории Гильфердинга.

Неверно оно потому, что Гильфердинг определенно различает такие понятия как ценность и цена.

«Если мы предположим,—говорит он,—что количество товаров—величина данная, то количество обращающихся денег увеличивается, или уменьшается в зависимости от колебания товарных цен, при чем безразлично, соответствует ли изменение цен действительному изменению стоимости, или же это простое колебание рыночных цен<sup>2)</sup>».

И эти слова находятся именно во второй главе, где он, как мы знаем, развивает свою специфическую теорию денег. Каутский думает, что Гильфердинг просто сопоставляет сумму цен товаров, с одной стороны, и всю массу обращающихся бумажных денег—с другой. Но цена есть денежное выражение ценности в деньгах, и именно в деньгах, обладающих своей собственной ценностью; это выражение в «настоящих» (т. е. в золотых) деньгах Гильфердинг и упускает из виду. Однако оно является необходимым условием и необходимой предпосылкой для сколько-нибудь разумного сопоставления товарной массы на одной стороне и бумажных денег на другой. Ведь бумажные деньги не обладают своей собственной ценностью и, следовательно, не могут явиться тем

<sup>1)</sup> Там же, стр. 148—149.

<sup>2)</sup> «Финансовый капитал», стр. 34.

материалом, который выражает цены товаров; цена в данном случае предполагается, как данная, и она дана выражением ценности товаров в золоте. Все это, конечно, верно, но это насколько не затрагивает построения Гильфердинга, ибо, по его мнению,—и в этом центр тяжести вопроса—бумажные деньги обладают своей собственной ценностью; это—не ценность собственного материала, это—даже не ценность представляемого ими золота, это—функциональная, отраженная, об'ективированная в них ценность товарной массы. И поскольку это так,—мы избегаем, во-первых, смешения ценности с ценой, а, во-вторых, получаем право говорить и о денежном (в таких деньгах) выражении ценности.

Общественно-необходимое рабочее время, заключенное в каком-либо товаре, сопоставляется с некоторым количеством всего общественного рабочего времени, отраженного и об'ективированного в данной пачке бумажных денег. Здесь вполне допустимы и превращения ценности в цену, а также и колебания цен. Другой вопрос, насколько позволительна такая об'ективация?

Мы указали выше также на неполноту и некоторую неопределенность этих возражений; Каутский, напр., говорит: «Что мы имеем по предположению Гильфердинга? Массу стоимости, скопление товаров<sup>1)</sup>». Двумя страницами дальше он говорит снова: «В формуле же Гильфердинга мы имеем, напротив, как это уже отмечено, сумму стоимости товаров, которая должна быть превращена в сумму цен, прежде нежели определена стоимость денег<sup>2)</sup>».

Эти места можно, пожалуй, понять так: если мы не можем вслед за Гильфердингом говорить о сумме цен, ибо для этого потребуются наличие золота (хотя бы и мысленно представляемого), то, в действительности, мы можем говорить здесь о сумме ценности. Но в праве ли мы это сделать? Здесь мы и обратимся к той формуле Гильфердинга, о которой упоминает Каутский, и которую мы уже приводили раньше, и вместе с тем приведем второе возражение Каутского против Гильфердинга.

Эта формула, как мы знаем, имеет следующий вид: Т-Д-Т. При чем она изображает у Гильфердинга все товарное обращение данного общества. Каутский именно в таком толковании этой формулы видит «опасность» для всех гильфердинговских построений; в этом он безусловно прав; но эту опасность он видит совсем не там, где она в действительности находится, а вместе с тем его аргументация бьет мимо цели.

«Т-Д-Т представляет собой,—говорит Каутский,—формулу обращения для единичного товара. Но ведь то, что Гильфердинг здесь хочет показать,—это не обращение единичного товара, а оборот совокупной массы товаров и золота в обществе. Он представляет, однако, произведение, результат многочисленных процессов обращения, взаимно друг друга поглощающих,—совокупность которых невозможно выразить посредством фор-

<sup>1)</sup> Указ. ст., стр. 149.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 152.

Под Знаменем Марксизма.

мулы Т-Д-Т. В формуле Т-Д-Т, Т по стоимости должно быть равно Д. Напротив, сумма стоимости обращающихся денег почти никогда не равна сумме стоимости товаров, обращение которых ими обслужено<sup>1)</sup>.

Здесь Гильфердинг, по словам Каутского, упускает из виду такой простой момент, как скорость обращения денег. И Каутский воображает, что вместе с тем падает и вся теория Гильфердинга! Но это вовсе не возражение: стоит только отвлечься от этой скорости обращения денег, предположить, напр., что все меновые акты происходят одновременно,—а теоретически это вполне допустимо, ибо в противном случае придется выбросить также, хотя бы, учение Маркса о воспроизводстве,—в таком случае, утверждаем мы, если что и падает, так это именно возражение самого Каутского. «В формуле (Т-Д-Т) Т по стоимости должно быть равно Д»,—говорит он. Да имеем ли мы вообще тут право говорить о ценности? В этом и весь вопрос в этом же основной грех теории Гильфердинга, здесь также лежит и различие между Марксом и Гильфердингом. Приведем еще раз цитированные уже слова Каутского: «в формуле же Гильфердинга мы имеем, напротив,...—сумму стоимости товаров, которая должна быть превращена в сумму цен». Мы утверждаем, наоборот, что в формуле Гильфердинга мы ничего не имеем, что она представляет из себя тавтологию, что в ней нет никакого содержания. В ней нет не только цены, но и ценности.

В самом деле, сам Каутский отмечает, что она получается путем суммирования всех меновых актов, совершенных в данном обществе. Но целое не всегда равно сумме составляющих его частей: иногда целое есть нечто большее, чем простая их сумма, иногда же,—здесь мы и имеем как раз такой случай,—сумма частей может не дать абсолютно никакого целого. Количество превращается в полное отсутствие всякого качества, а следовательно, и количества (впрочем, и это есть, однако, некое качественное изменение). Хотя это отсутствие качества никак не место уже и в каждой единичной формуле, но только в скрытом состоянии, и не так бросалось в глаза.

Как известно, эта формула у Маркса представляет специфические метаморфозы двух отдельных товаров. В ней встречаются лицом к лицу два товароладельца, владельцы этих двух товаров. Объективный смысл ее в обмене одной потребительской ценности Т<sub>1</sub>—на другую, отличную от нее, потребительскую ценность—Т<sub>2</sub> для одного товароладельца, и обмен Т<sub>2</sub> на Т<sub>1</sub>—для второго. Мы отвлекаемся от третьего лица—владельца денег, данной связи он нас не интересует.

Пусть теперь перед нами будет ряд товароладельцев А<sub>2</sub>, А<sub>3</sub>, А<sub>4</sub> . . . . В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>3</sub>, В<sub>4</sub> . . . . обозначим соответственно товары каждого—Т<sub>1</sub>, Т<sub>2</sub>, Т<sub>3</sub>, Т<sub>4</sub>, . . . . Т<sub>1</sub>, Т<sub>2</sub>, Т<sub>3</sub>, Т<sub>4</sub> . . . . Пусть дальше они вступают в меновые сделки, совершающиеся попарно между А<sub>1</sub> и В<sub>1</sub>, А<sub>2</sub> и В<sub>2</sub> и т. д. и предположим, что все они в совокупности составляют товарное обращение общества.

<sup>1)</sup> Ук. ст., стр. 145.

Итак, для продавцов категории А дело примет такой оборот:

$$\begin{aligned} T_1 &= D - T'_1 \\ T_2 &= D - T'_2 \\ T_3 &= D - T'_3 \\ T_4 &= D - T'_4 \\ &\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

Но обращение примет такой вид, если мы на этот товарный танец будем смотреть с точки зрения товароладельцев А<sub>1</sub>, А<sub>2</sub> . . . Но всякая продажа для одного есть покупка для другого. С точки зрения В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>3</sub>, В<sub>4</sub> . . . . этот товарный танец будет выглядеть иначе:

$$\begin{aligned} T'_1 &= D - T_1 \\ T'_2 &= D - T_2 \\ T'_3 &= D - T_3 \\ T'_4 &= D - T_4 \\ &\dots \\ &\dots \end{aligned}$$

Сумма этих двух таблиц и даст нам все товарное обращение данного общества. Мы получаем, следовательно, следующую развернутую формулу:

$$T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + \dots \left\{ - D - \right\} T'_1 + T'_2 + T'_3 + T'_4 + \dots \\ \dots T'_1 + T'_2 + T'_3 + T'_4 + \dots \left\{ - D - \right\} \dots T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + \dots$$

В левой части мы имеем сумму всех проданных товаров, в правой—сумму всех купленных товаров; но и то, и другое—это та же самая товарная масса. Каждый товар фигурирует сперва в числе проданных товаров, но так как всякая продажа для одного есть в то же время покупка с точки зрения другого контрагента, то этот же товар затем выступает среди толпы проданных товаров. Или иначе это можно представить еще так: некая определенная масса товаров в некий момент одновременно выносится на рынок. Для того, чтобы для каждого отдельного товароладельца совершилось Т', Т'', необходимо, чтобы его Т прежде всего поменялось местами с D; для всех Т, таким образом, совершается Т—D, вся масса товаров замещена деньгами, все вынесенные на рынок товары проданы. Затем должен был бы начаться второй акт—D должны поменяться местами с Т. Но это D—Т уже произошло. Ибо всякое Т—D было в то же время и D—Т. Мы отвлекаемся здесь от третьих лиц—от владельцев денег, ибо они в данном случае нам помочь не могут; в крайнем случае нам пришлось бы только привлечь сюда предыдущие метаморфозы. А теперь подставим сюда на место D гильфердинговские бумажные деньги, эти непосредственные отражения ценности обращающейся массы товаров, и мы приходим к тому, очень простому результату, что перед нашими глазами не только обладающие своей собственной ценностью деньги расплываются в эквивалентную форму, но что расплывается также и сама ценность, теория ценности Маркса остается где-то в стороне sine usu, и вместе с тем собственная теория

Гильфердинга расплывается в типичную нелепицу количественной теории. Говоря проще, перед нами в классическом, законном виде *reductio ad absurdum*.

Одна и та же товарная масса, лежащая справа и слева от кучи бумажек, отражает, по Гильфердингу, в этой бумажной куче свою ценность; другими словами, данная товарная масса выражает свою ценность в отражении своей собственной ценности, т. е. она при этих условиях превращается в некую непознаваемую экономическую вещь в себе.

Читатель, наверное, заметил уже, что мы пришли к простой, случайной или единичной форме ценности:

T — D

или

waare A ist u waare B werth<sup>1)</sup>.

Все своеобразие гильфердинговской теории заключается, таким образом, в том, что он подсовывает здесь вместо D Маркса кучу бумажек и тем не менее утверждает, что имеет перед собой форму ценности. На самом же деле его формула, не выражая никакой формы ценности, сводится, самое большее, к самоутверждению бытия некоторой массы потребительных ценностей.

Как легко сообразит всякий марксистски грамотный читатель, ошибка Гильфердинга заключается в том, что в то время, как «рабочее время, как таковое, не получает непосредственного выражения... оно проявляется лишь в приравнивании одной вещи другой в акте обмена»<sup>2)</sup>, здесь он забывает об этом основном положении и хочет непосредственно выразить его, уловив его отражение на клочок бумаги, поднесенный к данной товарной куче. Не приходится, следовательно, видеть эту ошибку в сличении ценности с ценой; у него исчезают в равной степени обе эти экономические категории; вместе с тем его «общественно-необходимая ценность обращения» принимает вид загадочного сфинкса, его же бумажные деньги — эти непосредственные отражения товарной ценности — становятся отражением невыраженной и никаким образом в таком противопоставлении не выражаемой ценности, т. е. отражением того, что не отражается и вообще здесь не может быть отражено.

Неизбежным следствием этого является фатальный порочный круг, в который попадает Гильфердинг. Это любезное *idem per idem* заключается в следующем. Как мы уже отметили, Гильфердинг различает между ценностью и ценой. Но сама ценность денег есть непосредственное отражение «общественно-необходимой ценности обращения», или, в конечном счете, ценности товарной массы, разве что деленной на скорость обращения денег. Однако ценность бумажных денег он определяет также, — и не может иначе определять, — суммой цен товаров<sup>3)</sup>. Если он и говорит иногда о ценности, то, в конце концов, он неизбежно сводит ее к цене. Но что такое, по Гильфердингу, цена товаров? Это — ценность, выраженная в деньгах, от величины ценности денег

<sup>1)</sup> К. Маркс, *Das Kapital*, I B., 1922, стр. 15.

<sup>2)</sup> Р. Гильфердинг, «Финансовый капитал», стр. 24.

<sup>3)</sup> См. «Финансовый капитал», стр. 38.

изменяется и ее величина. А ценность денег есть отраженная обективировавшаяся в деньгах сумма цен товаров, которая в свою очередь зависит от величины ценности денег. Итак, ценность денег определяется ценой товаров, а цена товаров зависит от ценности денег. И то, и другое остаются, следовательно, неопределенными и неопределимыми. Впрочем, если мы на минуту согласимся с Гильфердингом, что деньги отражают ценность товаров, то и в таком случае мы не выберемся из этого порочного круга: изменится лишь плоскость, в котором он будет лежать.

Иного и не могло получиться, раз в основу всей теории положена тавтология, не содержащая в себе ни выражения ценности, ни выражения цены. Как это ни странно, но теория Гильфердинга еще задолго до своего появления была подвергнута специальной критике со стороны Маркса.

«В процессе T-D-T, — говорит он, — поскольку он (т. е. знак ценности. В. II.) является только как движущееся единство или непосредственное и взаимное превращение друг в друга обеих метаморфоз, — а таким собственно он и является в сфере обращения, в которой функционирует знак ценности, — меновая ценность товаров получает в цене существование только в идее, а в деньгах она получает только абстрактное, символическое существование. Меновая ценность является, таким образом, только как воображаемая или вещественно представляемая, реальное же существование она имеет только в самих товарах, поскольку в них овеществлено определенное количество рабочего времени. Поэтому кажется, будто знак ценности (гильфердинговские деньги. В. II.) непосредственно представляет ценность товаров, выступая не как знак золота, но как знак ценности, заключенный в самих товарах и выраженный только в их ценах. Но это представление совершенно ложно. Знак ценности есть непосредственно только знак цены, т. е. знак золота, и только посредством знака ценности товаров»<sup>1)</sup>.

В этих словах Маркс, таким образом, уже антиципировал будущее «открытие» Гильфердинга и весьма категорически выступил против подобной интерпретации и «углубления» своей теории.

Путь, которым Гильфердинг пришел к столь удивительным результатам, мы охарактеризовали выше. Деньги для него прежде всего средство обращения, и эта их функция, и также связанная с ней и играющая по отношению к ней, пожалуй, служебную роль, функция их, как мерил ценности, кладутся им в основу: отправляясь от них, Гильфердинг пытается подойти к сущности денег; но он приходит, в конце концов, туда, куда он и не мог не прийти на раз избранном пути: к самой поверхностной, вульгарной теории денег, и к отрицанию основ экономической теории Маркса.

Мы попробовали последовать за ним по пути его рассуждений, и в результате пришли к простой, единичной или случайной форме ценности. И это не случайность. Ибо исходным пунктом марксовой теории денег как раз и является эта простая

<sup>1)</sup> К. Маркс, К критике политической экономии, стр. 120.

элементарная форма; отсюда Маркс выводит сущность такого явления как деньги.

«Трудность понимания денежной формы, — говорит Маркс, — заключается только в трудности уразумения всеобщей эквивалентной формы, т. е. всеобщей формы ценности вообще. Эта последняя форма может быть приведена обратно к форме II, к развращенной форме, а составным элементом ее является форма I: 20 арш. холста = 1 сюртуку, или  $x$  товара А =  $y$  товара В. Простая форма ценности есть, следовательно, зародыш денежной формы»<sup>1)</sup>.

Тайна всякой формы ценности скрывается в этой простой форме»<sup>2)</sup>. Вместе с тем «загадка денежного фетиша есть поэтому та же загадка товарного фетиша, которая лишь стала вполне видимой и ослепляет взор своим металлическим блеском»<sup>3)</sup>. И это вполне понятно, ибо простая форма ценности заключает в себе также и все содержание теории товарного фетишизма. Что означает это простое уравнение или, лучше сказать, равенство? Оно показывает, что для выражения ценности любого товара необходима наличность, по крайней мере, двух товаров. Одного — меновая ценность которого выражается, и другого, который эту ценность выражает, но выражает ее в своем материальном теле. Товар А, стоящий в левой части равенства, находящийся в относительной форме ценности, это — прежде всего некая потребительная ценность, но в данном выражении фигурирующий с точки зрения его владельца только как меновая ценность, тогда как эквивалентная форма (или товар В в эквивалентной форме) есть прежде всего сама меновая ценность, но не меновая ценность самого себя, — она здесь вообще не получает никакого выражения, — а меновая ценность товара А, отраженная в потребительной ценности или в теле товара В; следовательно, в данном выражении он прежде всего и только потребительная ценность, и одновременно выражение своей собственной противоположности — ценности, но меновой ценности товара А. Другими словами, ценность, — а мы знаем, что она есть определенное общественное отношение, — существует как некое количество вещей (товара В). И вся трудность разгадки как фетишизма товарного общества вообще, как и тайны денежного фетишизма, а, стало быть, и природы денег, заключается именно в понимании этой простой формы ценности. В то же время эта сторона вопроса совершенно ускользнула от внимания буржуазной экономии — даже классической.

«Нам, однако, предстоит исполнить задачу, — говорит Маркс, приступая к анализу формы ценности, — к которой буржуазная политическая экономия никогда даже не приступала, а именно — представить генезис этой денежной формы, т. е. проследить развитие ценности, как выражения менового отношения товаров, начиная с простейшей и наименее видной и кончая окончательной денежной формой. Вместе с тем разяснить и эту загадку, которую представляют собой деньги»<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> К. Маркс. Капитал, т. I, пер. П. Струве, 1907 г., стр. 28.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 11.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 44.

<sup>4)</sup> К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 11.

Итак, мы теперь можем ответить на вопрос: что такое деньги? Деньги — это товар, но товар, ставший всеобщим эквивалентом; в товаре-эквиваленте простой формы ценности мы имеем, таким образом, уже деньги *in potentia*. Дальнейшее развитие от простой или случайной формы ценности к денежной форме, будучи одновременно процессом развития самой ценности, только лишь показывает, как эквивалентная форма для всех товаров срачивается с определенным товаром, который и становится деньгами *in facto*. И главная принципиальная трудность лежит не здесь, не в этом развитии эквивалента, а именно в самом возникновении эквивалента, в простой форме ценности.

Правда, собственная ценность этого товара-эквивалента в этой форме ценности не получает никакого выражения; но она необходимо предполагается, ибо иначе не будет и самой формы ценности. Здесь и лежит различие между теорией денег Маркса и теорией денег Гильфердинга. Ибо последний допускает возможность выражения ценности одного товара (вся совокупная масса товаров данного общества в данном случае составит единый товар) в вещах, никакой ценностью не обладающих. Но это, как указывает Маркс, означало бы непосредственное выражение заключенного в товарах общественного рабочего времени, и потому предполагает общественно-организованный процесс производства. Но в таком организованном обществе вообще нет места для денег.

Однако определение денег как товара, ставшего всеобщим эквивалентом, еще слишком абстрактно; оно лишнее конкретного содержания, хотя оно уже включено в нем. Собственно говоря до сих пор, однако, мы знаем лишь одну функцию денег: это — служить формой проявления товарной ценности, или являться тем материалом, посредством которого величины ценности товаров получают общественное выражение»<sup>1)</sup>. Эта чрезвычайно важная функция, которая характеризует качественную определенность денег. Но она в то же время, как мы только что указали, и чрезвычайно абстрактна, ибо тут нет еще количественной определенности денег, что только и дает конкретную определенность деньгам. Классическая политическая экономия исследовала только последний вопрос, тогда как она совершенно не догадывалась о существовании другой стороны вопроса. О существовании этой качественной стороны знает Гильфердинг, но в его построениях она фактически расплывается, и *ex ipso*, независимо от своих субъективных устремлений, он скатывается к позициям буржуазной экономии.

Деньги — этот особый товар — выражают меновые ценности всех остальных товаров; но они выражают при этом не только их ценности вообще; они выражают определенные по своей величине меновые ценности. Отсюда вторая функция денег. — деньги, как мерило ценности. Но невесомой гирей вешать нельзя; как мерило ценности деньги должны поэтому обладать собственной ценностью. Более того, устраняя эту внутреннюю ценность денег, мы тем самым устраняем и самую форму ценности, а, стало быть, и ценность. Но для выражения величины ценности требуется также определенная единица измерения; по своей при-

<sup>1)</sup> Там же, стр. 42.

роде она носит к тому же вполне условный характер. Здесь, и только здесь, мы встречаемся с творческой ролью государства, этого «сознательного органа общества, построенного на товарном производстве»<sup>1)</sup>. Здесь, и только здесь, и можно говорить о сознательной «легитимации».

Но товаровладелец, это единственное действующее на рынке лицо, прибегает к подобному «окольному» выражению ценности своего продукта не ради своего удовольствия. Этот процесс есть в то же время рыночный процесс, меновой акт. Его цель — переход товара из рук товаропроизводителя, для которого он не является потребительной ценностью, в руки его контрагента. Данный меновой акт есть в то же время лишь одно звено общего товарного обращения; деньги вместе с тем выступают в новом качестве, как посредник в этом акте, они получают новую функцию — функцию средства обращения.

На деньгах в функции средства обращения нам нужно остановиться несколько подробнее, хотя бы потому, что из этой функции Гильфердинг и выводит их сущность, как непосредственных отражателей «общественно-необходимой ценности обращения». Как отмечает уже Маркс, сам процесс денежного обращения приводит к отрыву монетного наименования от его действительного содержания. Ибо монеты (золотые) при обращении стираются; их номинальная ценность уже перестает совпадать с их имманентной ценностью; вместе с тем деньги становятся знаком ценности. Но знак ценности, рожденный в процессе обращения, и может функционировать только в качестве средства обращения, в качестве среднего члена Т-Д-Т.

Но мы уже видели, что эта формула Т-Д-Т, как символ всего товарного обращения данного общества, сводится по существу к простой форме ценности, к виду

Т-Д.

Но и для каждого отдельного менового акта эта форма ценности (Т-Д), хотя видимо и не выступает, но все же необходимо предполагается. Товары в обращении выступают как определенные ценности, но это и значит, что всякий данный товар уже занял свое место в этой формуле, что он, находясь в относительной форме ценности, уже выразил свою меновую ценность в противостоящем ему эквиваленте — в деньгах. Но знак ценности таким эквивалентом быть не может. Следовательно, знак ценности, напр., те же бумажные деньги, оторванные от этого действительного выражения ценности товара в товаре-эквиваленте, обладающем поэтому своей собственной ценностью, перестают быть даже знаками ценности, ибо здесь нет ценности вообще, они становятся просто клочками испорченной печатной бумаги. Такие бумажные деньги перестают быть и деньгами.

Понятие бумажных денег, поскольку мы говорим о них, как о деньгах, необходимо поэтому включает в себя понятие о таком всеобщем эквиваленте, который обладает собственной внутренней ценностью, знаком которого они и являются. Знаки ценности являются, поэтому, знаками золота, как деньги

<sup>1)</sup> Гильфердинг, Финансовый капитал.

раг excellence. Но вовсе не обязательно, чтобы это золото при этой фактически находилось в обращении.

В самом деле, обратимся к той формуле, которая получилась у нас в итоге критики теории Гильфердинга.

Т —  $\Delta$  (в виде некой кучи бумажных денег).

Мы указывали, что здесь, собственно говоря, нет даже формы ценности. Она получает этот смысл лишь в том случае, если мы эту кучу бумажных денег будем рассматривать как представитель некоторого количества золота, т.е. если мы подведем под них золотой фундамент:

Т —  $\Delta$  (куча бумажек)  
Д (золото)

Законы, сюда относящиеся, мы можем кратко формулировать, прибегнув, по примеру Гильфердинга, к оптической метафоре. Он, как мы знаем, рассматривал деньги как непосредственное отражение тех ценностных лучей, которые исходят от общей товарной кучи. Но все дело в том, что эти лучи невидимы, и в условиях товарного производства они непосредственно никаким способом обнаружены быть не могут. Стать видимыми они могут только в том случае, если они отразятся в другой вещи. В деньгах, и только если эта вещь сама обладает равно великой ценностью, по которой в то же время, тем не менее, здесь не получает никакого выражения. Эти ценностные лучи путем «обходного» отражения и отражаются на бумажных деньгах. Сила этого отражения, как это ясно с первого взгляда, зависит от двух моментов: 1) от силы ценностного источника света, т.е. от величины Д (от количества золота) и 2) от той площади, на которой они рассеиваются, или в которой они отражаются, т.е. от количества циркулирующих знаков ценности.

В свою очередь, величина Д определяется величиной Т; но она вовсе не обязательно равна ей. Для каждого данного момента, в каждом отдельном метаморфозе Т-Д и Т и Д должны быть равновелики по ценности. Но для ряда последовательных моментов это соответствие исчезает, ибо одно и то же Д может последовательно  $x$  раз отражать ценности различных товаров. Но что важнее, — реальная наличность этих Д (золота) вовсе не необходима; реально они должны выступать только в том случае, если за этим сейчас же следует фактический переход товара из рук в руки, но при этом деньги становятся лишь средством обращения, но, как таковые, они могут быть и знаком ценности. Но, так как для обращения требуются реально существующие деньги, хотя бы реально существующие знаки ценности, то одновременно встает вопрос и о необходимом количестве их. Определяя эту величину, Маркс и выводит свою формулу, определяющую количество потребных для обращения денег, здесь, и только здесь, и выступает общественно-необходимая ценность обращения.

Мы оставим в стороне другие функции денег; для наших целей достаточно и сказанного, ибо теперь должны быть вполне ясны как сущность теории Гильфердинга, так и все различие между Марксом и Гильфердингом. Гильфердинговский прямой путь увел его очень далеко в сторону от Маркса: деньги для

него снова превратились в некую загадку, в некую мистическую вещь.

В результате он оказывается беспомощным перед рядом явлений реального денежного обращения; но «обходный» путь Маркса дает нам крепкую Ариаднину нить и выводит нас из самых запутанных проблем этого реального денежного обращения. Для иллюстрации мы и остановимся в заключение на одном любопытном примере.

Каутский в указанной выше статье характеризует теорию Гильфердинга, как чисто австрийскую теорию<sup>1)</sup>. Действительно, явления денежного обращения Австрии, а также аналогичные факты, относящиеся к индийской рупии, несомненно дали непосредственный толчок Гильфердингу к ревизии марксовой теории денег. В Австрии и в Индии он встретился с чрезвычайно любопытным явлением: после того, как в обеих этих странах, при наличии серебряного обращения, был совершен переход к блокированной системе, и свободная чеканка гульденов и рупий была прекращена, их курс поднялся выше паритета. Ценность металлической монеты—гульдена и рупии—уже не определялась больше ценностью серебра. «Что мучает теоретиков денег,—говорит по этому случаю Гильфердинг,—так это—вопрос, что же является при закрытии чеканки мерилом стоимости. Очевидно, им не может быть серебро (совершенно такое же явление может наступить и при блокированной золотой валюте)<sup>2)</sup>. Однако и Каутского, критикующего Гильфердинга, это обстоятельство точно также поставило в некоторое затруднение. Из этого затруднения он пытается выбраться следующим образом: он ставит вопрос, при каких условиях это произошло?—При наличии золотой валюты и золотого обращения во всех прочих странах. Но тем самым, по мнению Каутского, золото фактически являлось мерилом ценности и в Австрии и в Индии, несмотря на их серебряное обращение. Под серебряный гульден и серебряную рупию он подсовывает таким образом золото, обращающееся в качестве денег во всех остальных, по крайней мере, капиталистически развитых странах. Но как же быть в таком случае с блокированной золотой валютой? Что тогда является мерилом ценности? Ибо теоретически вполне мыслим случай такой блокированной золотой валюты. Теория Маркса дает на эти вопросы очень простой ответ. Впрочем, этот ответ дает и сам Каутский, в своей более поздней работе: «Ценность бумажных денег безусловно не определяется тем трудом, который в них действительно овеществлен, но она, однако, определяется общественно-необходимым трудом,—и именно тем трудом, который был бы общественно необходим, чтобы произвести то количество золота (которое мы рассматриваем как единственный денежный металл), которое в процессе обращения замещается бумажными деньгами»<sup>3)</sup>.

Если ценность бумажных денег здесь Каутский сводит к ценности золота, которое обращалось бы, если бы бумажных денег не было, то ценность серебряных гульдена и рупии и даже бло-

<sup>1)</sup> Ук. ст. Каутского в «Под Знаменем Марксизма», стр. 152.

<sup>2)</sup> Гильфердинг. Финансовый капитал, стр. 47—48.

<sup>3)</sup> K. Kautsky, Sozialdemokratische Bemerkungen zur Uebergangswirtschaft. 1918, глава «Das Geld», стр. 122.

кированной золотой монеты определялась бы на основании точно такого же принципа. Ибо они с прекращением свободной чеканки превращаются по существу в простые знаки ценности, или в бумажные деньги, но напечатанные на золоте или серебре. И вовсе нет никакой необходимости для того, чтобы объяснить явления подобного рода, предпринимать ревизию Маркса и конструировать «общественно-необходимую» ценность обращения, которая ничего не объясняет, и к тому же самым решительным образом противоречит основам теории ценности Маркса.

**IV Ленинский Сборник.** Изд. Института Ленина при ЦК ВКП(б), под ред. Л. Б. Каменева, стр. 462.

Писать о том огромном значении, которое имеют «Ленинские Сборники» для практики, теории и истории нашей партии, — значило бы постыдиться в открытую дверь. К сожалению, за этим признанием не всегда следует действительно глубокое и всестороннее изучение даваемого ими материала. А без этого изучения не может быть подлинного знания того, чему учил Ленин.

Новый Ленинский Сборник включает такой же разносторонний и богатый материал, как и предыдущие.

Первую часть его составляют 4 письма В. И. Потресову 98—99 гг., дающие ценнейшие данные для истории развития основных идей жеманства. Нам хотелось бы отметить здесь три момента. Прежде всего бросается в глаза огромная внутренняя работа, проделанная В. И. в ссылке. Поражает всесторонний интерес, проявляемый им буквально ко всему новому во всех областях теории, сочетаемый одновременно с основательнейшей работой над классиками. Нас в данном случае особенно интересует внимание, оказываемое В. И. философской литературе. Он тщательно следит за всем — начиная со статей Н. Г. (Жидловского) в «Русском Богатстве» против «материализма и диалектической логики» и кончая полемикой Плеханова с Бернштейном и Конрадом Шмидтом. Его удивляет, почему Плеханов не высказывается в русской литературе «решительно против неокантианства», предоставляя Булгакову и Струве изображать дело так, будто с ними согласны русские марксисты. Неокантианские разглагольствования возмущают его как «слепая теоретико-познавательная схоластика». Одновременно В. И. пишет, что занимается изучением классиков философии (начавши с Гольбаха и Гельвеция, предполагает прийти к Канту) и собирает важнейшую философскую литературу. Какой пример для наших упрощателей!

Второй момент, нас в данном случае интересующий, — маленькое примечание к 3-му письму о том, что такое материалистическое понимание истории. Вспоминая свой спор с «общим знакомым» в «прекрасном журнале» (очевидно, с Плехановым за границей), Ленин выражает свое удовлетворение тем, что так же, как и он, Каутский, в последней его статье, переведенной в журнале «Жизнь», называет материалистическое понимание истории — методом. Таким образом Ленин несомненно называет материалистическое понимание истории — методом. Отсюда и науку о том, что мы теперь именуем историческим материализмом, следует называть методологией истории, методологией общественных наук. Это вытекает из всего понимания В. И. учения Маркса, согласно которому основное историческое материализм — понятие общественно-экономической формации — в противовес буржуазной социологии, искавшей всегда годовых для всех времен, отвлеченных и универсальных схем и определений.

Наконец, третье, что мы хотели отметить в письмах Потресову — Ленинские замечания по поводу статей П. Аксельрода в «Neue Zeit» о тактике русских социал-демократов. Они показывают, как глубоко было

зложено различие в оценке революции и ее движущих сил между будущими вождями большевизма и меньшевизма, лишь значительно позже перешедшее в прямое противоречие. Уже тогда, с одной стороны, Ленин отмечает слишком много «благоволения» у Аксельрода к фрондствующим аграриям и либералам, недостаточно резко подчеркнутый классовый характер социал-демократического движения, с другой — ту поддержку, которую способны будут оказать пролетариату крестьяне, склонные представлять не предрассудок, а рассудок, не прошлое, а будущее своего класса. Разве не в сочетании этих обеих сторон — суть большевизма в трех революциях.

Далее в «Сборнике» следуют: первоначальный проект составленного В. И. заявления от редакции «Искры», вместе с впервые опубликованным отрывком из воспоминаний Мартова о так называемом псковском совещании, и продолжение переписки редакции «Искры» и «Зари». Переписка представляет воспоминания Н. К. Крупской о периоде перед вторым съездом. По этим воспоминаниям будут несомненно изучать не только биографию Ленина, но также и нарисованную с изумительной живостью и глубиной картину тогдашнего периода партийной истории.

За перепиской следует конспект речи во второй Госуд. Думе по аграрному вопросу, написанный В. И. для выступления Алексинского. Речь может и поныне быть блестящим образцом того, как следует использовать легальные возможности. Это — настоящий шедевр коммунистической парламентской речи. Именно с этой целью ее следовало бы немедленно перевести на иностранные языки. Можно бы составить предмет целой работы, как им образом критикует В. И. именно с парламентской трибуны (да еще с quasi-парламентской!) представитель различных общественных классов. Правых помещиков он собственноручно не критикует. Он показывает их подлинное лицо зубров, не желающих давать ничего крестьянству. Кадетов-буржуа он разоблачает как союзников помещиков. Трудовиков-крестьян он подталкивает к последовательно-революционным выводам, в то же время вскрывая утопичность их надежд на равенство, пока держится власть капитала (стр. 264).

Пятый отдел посвящен документам, относящимся к эпохе февральской революции. Здесь обращает на себя внимание отчет газеты «Volksrecht» о докладе В. И. о задачах Р. С. - Д. Р. П. в русской революции, написанный, вероятно, в основном самим В. И. Далее очень важен план брошюры об апрельской конференции. Замечательно отмечаемое В. И. «превращение» в условиях момента: «максимум марксизма — максимум популярности и простоты». Эта формула — лучшая характеристика всего, написанного Лениным: максимум марксизма — максимум популярности и простоты. И именно потому, что самые запутанные политические вопросы решаются в расчете на миллионные массы и сводятся к основным отношениям между классами. Поэтому же против всех и всяческих обвинений в демагогии, выдвигавшихся реакционерами во все революции, именно марксизм — гарантия» (291).

Переход к материалам, характеризующим подготовку Октября, уже начиная с июльских дней, показывает, как с беспрепятливо возрастающей настойчивостью выдвигает Ленин задачу восстания. Трезво оценивая положение и неминуемые попытки со стороны буржуазии расправиться с рабочими вождями, он пишет записку Каменеву с поручением ему в том случае, «если меня укокошат», издать основную свою работу по теории революции, — «Марксизм и государство» (позднейшее «Государство и революция»). Одновременно всюду и везде подчеркивается, что «всекие на-



дежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно, что разговоры о преждевременном восстании способны принести величайший вред, что глупо себя связывать сроками съезда Советов, который соглашательский ЦИК всегда может отложить. И одновременно снова и снова выдвигается мысль, что «восстание—искусство, что в связи с этим «история сделала коренным политическим вопросом сейчас вопрос военный», что все должно быть подчинено этой, решающей, цели. И «проект резолюции о современном политическом моменте» (сентябрь 1917), и письмо т. Смилге, и письмо к большевикам, участникам Северного областного съезда Советов, рисует один и тот же образ Ленина, с бешеной энергией организующего Октябрь.

В отделе, посвященном новой экономической политике, важнейший конспект брошюры о продналоге, уже опубликованный ранее. Новое здесь—две записки Ленина и Бухарина о системе нашего хозяйства. Вот постанова Ленина: пролетарская государственная власть держит в своих руках товарный фонд и его оптовую железнодорожную перевозку, поскольку в ее руках материальная база: фабрики, железные дороги и внешняя торговля. Что делает пролетарская государственная власть с этим фондом?—Продает его через комиссионеров за известный процент, оказывая предпочтение кооперации (стараясь по возможности организовать в нее население). «А это есть капитализм (курсив Ленина. Н. К.)—социализм» (383).

Далее следует первоначальный набросок тезисов В. И. по аграрному вопросу для второго конгресса Коминтерна, письмо к австрийским коммунистам в августе 1920 г., замечания о тезисах по аграрному вопросу французской коммунистической партии в декабре 1921 г. и хроника Института.

Таково содержание сборника, которое мы смогли лишь бегло описать в рецензии.

Этот обзор лишний раз доказывает, что «Сборники» поистине являются волшебной книгой, при каждом новом подходе к которой обнаруживаешь все новые и новые стороны, и без которой невозможно полное изучение и современной нам действительности и истории ее формирования.

Нин. Карев.

**Людвиг Фейербах.** Сочинения. Том второй. С предисловием А. Деборина. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. «Библиотека материализма» под редакцией А. Деборина и Д. Рязанова. Гос. Издат., М., 1926, 445 стр.

С выходом в свет второго тома сочинений Л. Фейербаха (том I вышел в 1923 г., том III—в 1924 г.), Институт К. Маркса и Ф. Энгельса закончил издание тех произведений Л. Фейербаха, которые оказали влияние на выработку молодым Марксом и Энгельсом материалистического мировоззрения или послужили им в качестве объектов критики при создании диалектического материализма. Издание этих сочинений Л. Фейербаха на русском языке является несомненно делом большим и в научном отношении необходимым, ибо теперь и русский читатель, не владеющий немецким языком, имеет возможность проследить по первоисточникам «премарксистский» или, точнее, «предмарксистский» период воззрений Маркса и Энгельса.

Во второй том редакции включены следующие произведения Л. Фейербаха: «Сущность христианства» (1841 г.), «Сущность религии

(написано в 1845 г., напечатано в 1846 г.) и «О сущности христианства» в связи с «Единственным и его достоинством» (1845 г.).

Первая, едва ли не основная работа Л. Фейербаха дана в известном уже переводе Ю. Антоновского, однако текст последнего тщательно выверен по подлиннику и исправлен О. Румером. Вторая и последняя работы появляются на русском языке впервые, перевод их принадлежит И. Румеру.

Книга открывается предисловием редактора А. Деборина, выясняющего историко-философское место и значение печатаемых работ Л. Фейербаха, а также рисуя отношение к этим работам Маркса и Энгельса.

Современный читатель, отделенный от материализма Фейербаха основоположниками марксизма, Плехановым и Лениным, пожалуй, с трудом представляет себе ту роль, которую сыграла в свое время «Сущность христианства». Современному читателю, пожалуй, абстрактными и бледными покажутся рассуждения Фейербаха об «истинной, т. е. антропологической сущности религии» и о «ложной, т. е. богословской сущности религии». Значительная доля понятий, в которых развивается мысль Фейербаха, не являются уже нашими понятиями.

Однако дело в том, что Л. Фейербаха, как, впрочем, и всякого мыслителя, необходимо рассматривать не абстрактно, а в конкретной исторической перспективе. А в этом случае фигура Фейербаха, действительно, вырисовывается во весь свой гигантский рост. Он, как справедливо указывает А. Деборин,—несомненно был самым крупным мыслителем из всех младогегельянцев. И хотя Д. Штраус пришел уже к подступам материалистической критики христианства в 1835 году, только Фейербах побудил Маркса и Энгельса к материализму. Борьба против позитивной религии толкала радикальных гегельянцев к материализму, но в это время они не были в силах порвать с идеалистической гегелевской схемой. «Но вот,—писал Ф. Энгельс,—спустя несколько десятилетий,—появилось сочинение Фейербаха о «Сущности христианства». Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова и без всяких оговорок провозгласив торжество материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть основание, на котором вырастаем мы,—ее произведение». Как пишет Энгельс, «мы все были в восторге, и все мы стали на время последователями Фейербаха».

Однако в год выхода в свет «Сущности христианства» (1841) Маркс оставался еще гегельянцем. Фейербаховский период воззрений Маркса и Энгельса теперь точно устанавливается как трехлетие: 1843—1845. Уже в 1845 году была написана та часть «Немецкой идеологии», которая относится к Фейербаху, при чем Маркс и Энгельс дают здесь уже критику Фейербаха. Тезисы Маркса относятся, как известно, также к 1845 году.

Нельзя сказать, что Маркс и Энгельс были уже полными историческими материалистами в 1845 году. В «Немецкой идеологии», равно как и в письме Маркса к Анненкову (конец 1846 г.), фигурирует уже категория производительных сил, но нет еще категории производственных отношений. Последнюю заменяет более широкое и менее конкретное понятие способа или формы сношений. Только в «Ницете философии» появляются производственные отношения (1847).

Тем не менее ясно, что в 1845 году Фейербах уже не удовлетворял Маркса, в 1845 году были уже заложены основы исторического материализма. И вот для исследователя генезиса марксизма приобретают таким образом особое историческое значение работы Фейербаха, относящиеся к 1841—1845 годам. На них создавался материализм Маркса и Энгельса, на них же, в порядке критики, выковывался и марксизм.

Все работы Фейербаха, вошедшие во второй том, относятся к указанному периоду. Автор предисловия, А. Деборин, выясняет все сильные и слабые стороны этих работ. Он намечает то живое, что от Фейербаха вошло в марксизм, и здесь же подчеркивает то, против чего восстали Маркс и Энгельс: абстрактность родового человека, недостаточность «антропологической» или даже «физиологической» точки зрения Фейербаха, отвлеченность феербаховской «сущности человека». Однако несомненно характерно, что именно в контексте критики Фейербаха Маркс и Энгельс дали свой первый абрис материалистического понимания истории. Это означает, что Фейербах, с их точки зрения, заблуждался меньше, чем все другие гегельянцы.

Небольшая фрагментарная работа «Сущность религии», как документально устанавливает А. Деборин, не оказала уже никакого влияния на основоположников марксизма. Точка зрения Фейербаха была уже превзойдена. Маркс и Энгельс пошли дальше, а Фейербах топтался на месте. Тем не менее интересно то внимание, какое уделил Энгельс этой работе. Прочтя ее, он тотчас же сообщает о ней Марксу (письмо от 19 августа 1846 г.) и собирается прислать ему ряд выписок. Однако уже в октябре он сообщает, что эта работа не вносит ничего нового в философию Фейербаха, а потому не может внести чего-либо нового и в их критику Фейербаха.

Отзыв Энгельса, конечно, справедлив, однако он сам признает: «Сущности религии» наличие «несколько тонких замечаний». К числу таких замечаний Фейербаха, несомненно, относится краткая почти в художественной форме данная им критика телеологии. «Если бы земля находилась где-нибудь в другом месте,—иронизирует Фейербах,—например, там где находится Меркурий, то все погибло бы на ней от чрезмерной жары. Как же премудро помещена земля как раз туда, куда она подходит по своим свойствам! Но к чему сводится эта мудрость?—спрашивает Фейербах и отвечает,—если ты оторвешь друг от друга то, что неразрывно связано в природе, как астрономическое положение небесного тела и его физические свойства, то, конечно, после этого единство в природе покажется тебе целесообразностью, ее необходимость—планом, действительное, необходимое, тождественное с его сущностью место небесного тела покажется тебе, в противоположность неудачно выбранному тобою, разумным, правильно рассчитанным, мудро выбранным местом». Можно было бы привести и еще несколько подобных остроумных мест из «Сущности религии», «тонких замечаний», по выражению Энгельса.

Третья работа Фейербаха, его ответ М. Штирнеру на критику последнего «Сущности христианства», также имеет значение и представляет интерес для марксоведо-теоретика, поскольку Маркс и Энгельс подвергают эту работу критике в «Немецкой идеологии».

Таким образом подбор материала для второго тома сочинений Фейербаха следует признать удачным и заслуживающим внимания со стороны каждого марксиста. Книга, несомненно, является ценным вкладом в нашу переводную литературу классиков материалистической философии.

И. Луппол.

**А. Деборин.** Книга для чтения по истории философии. Том II. Изд. «Новая Москва». 1925 г. Стр. 686.

Перо не поворачивается назвать эту книгу «хрестоматией». Хрестоматий у нас расплодилось так много, что порой не знаешь, читают ли их

даже сами авторы. Обыкновение заменять голову ножницами и клеем не может служить хорошей рекомендацией. Новый том «Книги для чтения по истории философии» поэтому—не хрестоматия, а действительно нужная, полезная и новая книга. Содержание ее охватывает сенсуализм и материализм во Франции XVIII века (Вольтер, Мелье, Кондильяк, Даламбер, Ламеттри, Гельвеций, Робинз, Дидро, Гольбах, Кабанис), классический немецкий идеализм (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), предшественники научного социализма (Сен-Симон, Фурье, Оуэн, Прудон), левых гегельянцев (Б. Бауэр, Штирнер, Лассаль) и Фейербаха, позитивизм Конта, естественно-научный материализм (Бюхнер), утилитаризм (Бентам, Д. С. Тилль), дарвинизм и эволюционизм (Дарвин, Спенсер), русскую радикальную философию XIX века (Герцен, Бакунин, Лавров и Чернышевский). Один уже этот перечень указывает на богатство содержания книги. Значительная часть отрывков из всех этих философов дается в русском переводе впервые. Особенно нужно отметить переводы из Вольтера («О Локке», «О Декарте и Ньюtone»), Кондильяка, Робинза (неизвестного вовсе русскому читателю), Канта («О понятии отрицательных величин»), Гегеля («Введение в историю философии»). В части, касающейся русской предмарксистской радикальной философии, очень ценно то специальное внимание, которое оказано замечательным «Письмам об изучении природы» Герцена, из которых дано все второе письмо Герцена, о котором Ленин писал, что он «даже теперь головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков» и теми тем нынешних философов-идеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом» (Ленин, т. XII, ч. I, стр. 96). Жаль лишь, что не дано и особо отмеченное Лениным первое письмо «Эмпирия и идеализм». Интересен также отрывок из Бакунина о «системе мира». Поскольку дан в этом томе отрывок из Бюхнера—следовало представить и такого блестящего русского естественно-научного материалиста, как Писарев. В целом отрывки подобраны интересно, дано в основном именно то, что составляло исторически-прогрессивное в мировоззрении того или иного мыслителя.

К «Книге» приложены составленные И. К. Лупполом примечания, особенно ценные в части, касающейся французских материалистов, так как пока это единственный удовлетворительный справочник о них на русском языке.

Недостаток книги—совершенно недоступная цена—5 руб. Уж лучше было разбить книгу на две части, дав в первой части непосредственных предшественников Маркса, а во второй—современников и русских радикалов, нежели выпускать ее на рынок в заведомо недоступном массовому читателю виде. А книга—действительно нужная.

Н. Н.

**М. Бубликов.** Борьба за существование и общественность. Дарвинизм и марксизм. Изд. «Сеятель». 1926 г. 240 стр.

Мимо этой книги пройти нельзя. Посвящена она «смычке» между дарвинизмом и марксизмом в вопросах борьбы за существование, общественности, а также и прочим вопросам, трудно поддающимся определению. Изложив невинные вещи о борьбе за существование у растений и животных, автор переходит к вопросам общественности, как фактора борьбы за существование у растений, животных и людей. Задачу свою автор определяет следующими положениями: «Биология и социоло-

Под Знаменем Марксизма

гия,—пишет он,—родственные науки, или, говоря точнее, социология—дочь биологии». «Социология, если исключить (!) из нее специальный элемент (1), касающийся чисто экономических отношений и вопросов, есть часть биологии, социальные формы существующих у растений и у животных» (стр. 10). А поэтому задача заключается в том, чтобы «дать социологии биологическую основу» (стр. 78). Известно, что здесь Бубликов не оригинален — ему предшествуют в попытках дать всеобщую «социологию» целая плеяда вульгаризаторов, додумавших даже до физико-химических основ социологии. Но способы доказательства у Бубликова во многом не лишены интереса. Прежде всего — что такое общественность? Бубликов заявляет: «Мы будем употреблять это слово в самом широком смысле, имея в виду не только то, что марксизм называет надстройкой, идеологией, но и все т.-е. взаимоотношения в обществе, основанные на экономике, вытекающие из производства» (стр. 77). Определив так точно и так понятно для себя и других главный предмет своего обсуждения, автор переходит к существу вопроса. Исключительно характерно, что автор рекомендует себя как марксиста. Произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова — беспрерывно цитируются им с самым пониманием. Исторический материализм, диалектический материализм — это водные звезды Бубликова, истинная суть его философии — недаром он так тепло говорит. При изложении материала, — пишет он, — мы будем стоять на почве марксизма» (стр. 165). Никакой другой почвы Бубликов признавать не желает.

Прежде всего, автор констатирует наличие общественности у тех или иных организмов, как колониальное растение — вольвокс — «ее источник первую, самую низшую ступень» (стр. 83). Затем он видит ее более ярко выраженной в телах всех многоклеточных организмов. Каждая клетка, — пишет он, — получает от коллектива (других клеток. В. С.) в меру своих потребностей и дает ему в меру своих сил (коммунализм) (стр. 87). Узрев коммунизм (даже выраженный ленинской формулой) в телах многоклеточных — автор идет дальше и устанавливает принципы социологии у растений («фитосоциология»). Он находит у растений «господствующие классы» и «угнетенные классы», порожденные борьбой за существование. «В растительном сообществе, — пишет он, — образуются классовые группировки, ведущие между собой ожесточенную борьбу» (стр. 97). Еще ярче видны принципы социологии в жизни животных. В общем — в основе общественности «лежит односторонний и тот же механизм и у растений, и у животных, и у человека» (стр. 102). Беспардонно сваливая в кучу качества совершенно разнообразные явления (жизнь котонии, жизнь тела, жизнь человеческого общества и пр.), автор имеет, деликатно выражаясь, смелость покрывать все это уверениями в своей верности диалектическому материализму. Особенно безграмотно-развязан наш «марксист», когда он начинает говорить специально о человеческом обществе. Совершенно извратив истинное содержание исторического материализма (стр. 169), он на каждом шагу проявляет полное непонимание сути Марксистского учения. Своеобразия, специфичности общественных законов — для него совсем не существует. Чем обуславливается «успех» во взаимной борьбе людей? — спрашивает Бубликов и отвечает: «Если исключить то, что называется в жизни удачей (?), то теми же моментами, какими мы видели у животных; так, физическая сила, крепкое здоровье, стойкость, выносливость, опыт, более высокая степень умственного развития, наконец, просто хитрость играют огромную роль в жизни человека, увели-

вают его шансы на победу над конкурентом». А для того, чтобы не было никакого сомнения, что он в историческом материализме ничего не понимает, автор добавляет: «это, конечно, относится к обществу, основанному на началах угнетения и эксплуатации, а не к бесклассовому обществу» (стр. 163). Это механическое, перенесение дарвинизма в социологию, конечно, не ново и десятки раз опровергалось, но в данном случае оно интересно тем, что подносится под соусом марксизма, диалектического материализма.

Таким же абсолютным непониманием своеобразия общественного процесса человеческой истории «несет» от других положений Бубликова. Напр., на стр. 207 он пишет: «Проявление крайнего индивидуализма, ставящего интересы той или иной группы, ячейки (читай класса. В. С.), какой бы широкий круг особой она ни охватывала, выше интересов человечества, должно считаться своего рода атавизмом, возвратом к начальной стадии эволюции» (стр. 207). В свете этой «марксистской» мысли вся история борьбы пролетариата, классовая борьба, ставящая интересы пролетариата выше интересов «общечеловеческих», представляется также атавизмом, возвратом к первобытному зоологическому состоянию. Этого «марксист» Бубликов не додумал. Он подходит к изучению общественной жизни с широкими биологическими перспективами и в результате пустой бездушной биологической фразой поглощает всю социологию, всю методологию исследования общественной жизни в ее конкретности, в ее своеобразии и специфической закономерности. Можно привести еще десяток мест, доказывающих, что Бубликов в историческом материализме ничего не понимает, но это уже будет скучно, за этим мы отошлим читателя к самому источнику «бубликовизма».

Бубликов — биолог, но он отличается от многих других биологов своим очень явным желанием быть «созвучным» эпохе. Желание это хорошее, у многих естествоиспытателей вполне искреннее, и, конечно, имеет в своей основе потребность естествознания выйти на ясный путь диалектического материализма. Но можно выходить на этот путь по-разному. Бубликов на него выходит очень некрасиво. Прочитав несколько марксистских книг, толком их не переварив, поняв в диалектическом материализме одну «видимость», — он совершенно не подошел к главной задаче, которая перед новым естествоиспытателем должна стоять. Именно, он совершенно не пересмотрел с точки зрения диалектического материализма основные методологические положения биологии, он не перевел самое биологическое на рельсы диалектического материализма, не перекладил свое биологическое тело на огне марксизма. У него весь марксизм лег поверхностями напластованиями на его биологические взгляды, с точки зрения марксизма, далеко еще не доброкачественные, нуждающиеся в переработке методом диалектического материализма, в синтезе с этим материализмом.

В результате его «марксизм», как «чужеродное тело», остался «не при месте» и лишь один биологический «дарвинизм», расширенный автором до пределов «бубликовизма», царит в его книге. Так марксизма взять нельзя. Опыт Бубликова должен послужить для естествоиспытателя образчиком, того, как не следует обращаться с диалектическим материализмом. Пристегиванием марксизма к естествознанию, как чего-то постороннего, органически чуждого, постепенно добавочного — достигнешь только издевательства над собой и над марксизмом. Надо серьезно, вдумчиво изучать марксизм, так же, как изучают

основы естествознания, нужно сделать диалектический материализм методологией естественных наук, активным элементом самого познания, — и тогда вульгарные, безграмотные издевательства «бубликовизма» марксизмом отойдут в историю.

Вас. Слепков.

**И. И. Рубин.** Физикраты. Очерк из истории экономической мысли. Изд. «Книга». Ленинград—Москва 1926.

Наша экономическая литература о физикратах не отличается богатством; она, пожалуй, ограничивается известным очерком Маркса в I томе «Теорий прибавочной ценности», да еще старой (переводной) книжкой Гигса о физикратах, если не считать различных историй политической экономии, где учение физикратии излагается ex professo, и притом не столько излагается, сколько искажается. Источник искажения при этом лежит не в субъективных целях и намерениях этих историков экономической мысли, — хотя и это бывает, — а в моменте объективного порядка — в специфической ограниченности их мировоззрения: все подобные «Истории» принадлежат ведь перу буржуазных экономистов! Подобные, преломленные сквозь призму буржуазной точки зрения, представления о физикратах со страниц «Историй» проникли также и в марксистскую литературу.

Вообще, как мы недавно писали, дать действительно объективную, научную историю экономической мысли, по нашему глубокому убеждению, может только марксистская школа. И не случайно, что знаменитая «экономическая таблица» Кенэ оставалась для буржуазных экономистов в течение доброй сотни лет «книгой за семью печатями»; только Марксу удалось не только ее расшифровать, но и вскрыть ее глубокий теоретический смысл. Поэтому понятно, что всякая новая, да при том марксистская история физикратии представляет большой интерес. Тем с большим удовольствием мы должны констатировать, что в данном случае — в книге Рубина — мы встречаемся поистине с блестящим очерком из истории экономической мысли. Марксистский метод позволил автору не только вскрыть ошибки физикратов, не только выявить сильную сторону их теоретических построений, но и ярко показать социально-классовое лицо физикратии.

Мы не будем здесь излагать содержание книжки; мы настоятельно рекомендуем бы каждому интересующемуся историей экономической мысли познакомиться с очерком непосредственно. Мы хотели бы здесь сделать только некоторые частные замечания.

Какова социально-классовая характеристика школы физикратов? — в этом отношении в историях экономической мысли царит невообразимая путаница: с одной стороны, их считают идеологами крупного землевладения (притом дворянского), с другой — в них видят представителей буржуазии, предтеч Великой Французской Революции; некоторые же истолковывают их, как своеобразных народников, пытавшихся видеть в них мужичских печальников.

Рубин совершенно справедливо видит в них представителей сельской буржуазии, идеологических защитников ее интересов. Физикратия «в общем и целом стремилась создать благоприятную социальную почву для роста и укрепления сельской буржуазии, т.е. фермерского класса и родственных ему групп зажиточного крестьянства» (стр. 138). Ее теоретические построения, ее учение о воспроизводстве и чистом доходе играет, таким образом,

роль теоретического оружия для защиты интересов сельской буржуазии против меркантилистической политики поощрения торговли и промышленности» (стр. 139). Но острее ее направлено, как указывает Рубин, также и против дворянского землевладения; отсюда же также вытекает и пренебрежение к интересам основной массы сельского населения, т.е. мелкого крестьянства. Что физикраты в то же время облекали свои теоретические построения в костюм естественного права, ничуть не колеблет такой их характеристики. Хотя их идеалом и является естественный порядок, т.е. такой строй, который соответствует законам природы, хотя они, поэтому, и изучают законы и свойства этого идеального строя, но сам этот естественный экономический порядок был ни чем иным, как капиталистическим, фермерским сельским хозяйством. Но тем самым их теория была далека от цели, которую они себе ставили. Капитализм в сельском хозяйстве принципиально ведь ничем не отличается от капитализма в промышленности. Они дают, в сущности, первый, и притом очень глубокий анализ капиталистического общества вообще, правда, в сельско-хозяйственных терминах. Но это обстоятельство также и запутало их, поскольку характерную особенность капитализма вообще они объясняли особыми физическими условиями сельского хозяйства, как такового, заставляя, напр., ренту расти из земли.

Но эта социальная база, — и довольно узкая, как отмечает Рубин, — одновременно является достаточным объяснением быстрого краха физикратии: сельско-хозяйственная буржуазия была во Франции того времени очень слабой группой. Но дело в том, что эта база, в действительности, была еще более узкой, чем думает Рубин.

Вполне прав Рубин, когда он утверждает, что «неправильно видеть в физикратии реакционный протест против роста капиталистического хозяйства, как, с другой стороны, нельзя ограничить характеристику физикратической программы, как буржуазно-капиталистической» (стр. 138). «Однако, — говорит он же, — у многих авторов характеристика физикратической системы, как буржуазной, носит слишком суммарный и неопределенный характер» (стр. 137). Этой «суммарности и неопределенности» Рубин, как мы видели, избежал, но не вполне; его характеристика все же несколько суммарна. Более того, эта «суммарность» прямо вытекает из его уже настоящей «суммарности и неопределенности» в главе, рисующей экономическое состояние Франции в середине XVIII века».

Там он пользуется, правда, весьма употребительным, но в то же время ошибочным приемом, — он говорит о сельском хозяйстве во Франции вообще. Такое «суммарное» понятие, как «сельское хозяйство», было, правда, в ходу еще долго спустя после Французской Революции 1789 года. Еще в 30 г.г. XIX века сельско-хозяйственную Францию (т.е. сельско-хозяйственный юг Франции) как целое противопоставляли промышленной (северной) Франции (см., напр., брошюру Dombasle'я о «Будущем Франции»). «Действительно, — говорит Рубин, — сельское хозяйство во Франции находилось в XVIII веке в состоянии величайшего упадка и разорения» (стр. 15). «Деградация сельского хозяйства во Франции XVIII века являлась ярким признаком вопиющего противоречия между потребностями развития производительных сил и устаревшим социально-политическим порядком» (стр. 21). Он говорит также об «обнищании крестьянства» (стр. 27). Все это, конечно, верно, но этого недостаточно. Если бы в действительности все сельское хозяйство деградило, то откуда в таком случае могла бы взяться сельско-

хозяйственная буржуазия? — и само появление физиократии было бы загадкой. «Обнищание крестьянства», «деградация» сельского хозяйства не исключает, а, наоборот, предполагает классовую дифференциацию в деревне. Одни опускаются, но зато другие поднимаются, — явление, которое представляет вполне естественный результат проникновения товарно-денежных и капиталистических отношений в деревне. Если мы обратимся к эпохе Великой Французской Революции, то мы увидим там ожесточенную борьбу классов в деревне (при решении, напр., такого большого для деревни вопроса, как вопрос о разделе общинных земель).

Но эта борьба классов несомненно имела место и раньше, — в эпоху Кенэ и физиократов. Более детальный анализ позволил бы более подробно осветить и позицию физиократов, а также объяснить и судьбы физиократии во Франции.

Рубин, напр., мимоходом замечает, что «физиократы стали рыцарями защитниками новых приемов агрикультуры» (стр. 57). Это — очень характерная черта. Во второй половине XVIII века во Франции развитие агрикультуры и новая сельско-хозяйственная техника стали очень актуальной проблемой; появляется даже довольно обширная литература на эту тему. Но все своеобразие положения заключалось именно в том, что развитие агрикультуры, т. е. развитие производительных сил в сельском хозяйстве было мыслимо в то время лишь как развитие капиталистического сельского хозяйства. Однако обратной стороной медали было влияние развития агрикультуры на массу крестьянского населения. И недаром, несколько позднее — в эпоху революции — велись оживленные дебаты в следующей плоскости: совпадают ли интересы развития агрикультуры с интересами крестьянства (тогда так называли основную массу крестьянства) или им противоречат? Кроме того Рубин думает, что феодальные тяготы — все эти всевозможные повинности и поборы, десятины и т. д. — падали только на французского крестьянина. Но это не совсем так: они падали также и на буржуазию. Конечно, поскольку эта буржуазия выделялась из рядов крестьянства, постольку ей приходилось оплачивать все эти феодальные повинности. Но они падали не только на такую, вышедшую из рядов крестьянства, буржуазию. Эти поборы были связаны с определенными участками земли, независимо от того, кто ими пользовался. Не кушка у крепостного крестьянина участка земли, обремененного такими повинностями, переносила эти повинности на покупателя, т. е. бы он ни был — фермер, городской буржуа, или даже дворянин. Известен случай, когда такие феодальные повинности приходилось нести и самим сеньерам, если к ним тем или иным способом переходила обремененная такими повинностями земля. Но ясно, что это еще более затрудняло приток капитала в земледелие. Наконец, это было даже и дворянство, поскольку оно становилось капиталистическим сельским хозяином.

Вместе с тем, такой более дробный анализ показал бы в то же время, что база для физиократии была еще более узка. Сельская буржуазия была не однородна. На ряду с фермерами-производителями хлеба мы встречаем, напр., также промышленных скотоводов — тип довольно многочисленный на севере и северо-востоке Франции. Если для первой подгруппы феодальные порядки были путями, и во всяком случае влекли за собой новые издержки, то они, наоборот, лили воду на мельницу для второй подгруппы. Буржуа-скотовод в самых широких пределах пользовался разными *droit de pâturage*, *droit de parcours* и т. д. Но тем уже становится социальной база физиократии, и тем легче понять такое быстрое ее фиаско.



Второе замечание мы хотели бы сделать относительно Тюрго. Рубин рассматривает Тюрго в общем как одного из представителей физиократии. Опять-таки, это верно, но не вполне. Сам же Рубин говорит, что «Тюрго отличается более широким кругозором и в большей мере склонен был считаться с интересами промышленности и торгово-промышленной буржуазии» (стр. 150). Тюрго сам не считал себя членом «секты», — на это неоднократно указывает и Рубин. Тем не менее, Тюрго был все-таки физиократом — это правильно; но, с другой стороны, мы имеем во Франции того времени и другое течение, представлявшее интересы торгово-промышленной буржуазии (Гурнэ, Герберт и др.), и мы видим сверх того, что Тюрго протезирует одному из таких решительных противников физиократии, пишет даже разбор и комментарии к его работе. Мы разумеем Grasin'a, которого Desmar's называет даже предшественником Адама Смита. В лице Тюрго мы имеем, таким образом, «смычку» или попытку смычки этих двух течений экономической мысли.

И жаль, что у Рубина совершенно не освещен этот любопытный момент. Правда, это раздвинуло бы рамки его работы. Но если принять во внимание, что Смит выработал свою экономическую систему только после посещения Франции, и что из физиократов он был ближе всего именно к Тюрго, что он несомненно был знаком также с его «Размышлениями о создании и распределении богатств» и многое позаимствовал отсюда, то освещение этой стороны вопроса представило бы большой историко-экономический интерес.

В заключение одно замечание терминологического порядка. В русской экономической литературе употребляются два термина: «ценность» и «стоимость». Автор и в своих «Очерках по теории стоимости Маркса» и в настоящей работе всюду употребляет «стоимость», «меновая стоимость». Однако, на ряду с этим, мы встречаем здесь у него выражения — «ценностная производительность» (стр. 74), «физическая и ценностная точка зрения» (стр. 85, а также во многих других местах). По нашему мнению, было бы последовательнее придерживаться единообразной терминологии.

В. Позняков.

## Условия приема в Институт Красной Профессуры на 1926—27 учебный год.

В текущем году прием будет производиться на следующие отделения: 1) экономическое, 2) философское, 3) историческое, 4) правовое, 5) естественное и 6) подготовительное.

### Условия приема на основные отделения.

1) На все отделения принимаются лишь члены ВКП(б), обладающие 5-годовичным партийным стажем.

Примечание. Для рабочих в отдельных случаях возможно исключение в виде понижения стажа.

2) Товарищи, желающие поступить в Институт Красной Профессуры, должны представить в правление Института (Остоженка, 53) не позднее 1 мая 1926 года: 1) рекомендацию Центрального Комитета ВКП, ЦК Нацреспублик, Обкомов (Оббюро) или Губкомов ВКП; 2) заявление с указанием адреса; 3) краткую автобиографию; 4) свидетельство партийного партстажа; 5) копию воинского документа, 6) заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья за последние 2—3 года и 7) печатные работы (если последние имеются). В заявлении должна быть указана желательная для данного товарища тема пробной вступительной работы и отделение, на которое товарищ желает поступить.

Примечание. От поступающих на естественное отделение ставящее своей задачей дать товарищам с законченным естественным историческим образованием подготовку по истории естественных наук, техники и философии, представление письменной работы не требуется, но требуется представление свидетельства об окончании соответствующего Вуз'а или свидетельство о завершении всей программы Вуз'а, за исключением специальной (дипломной) работы.

3) Заявления рассматриваются мандатной комиссией при участии представителей ЦК ВКП(б) и затем поступают в правление Института. В случае удовлетворительного решения вопроса, правление допускает соискателя к представлению письменной работы. Тема работы устанавливается по соглашению с приемочной комиссией Института, производящей устный коллоквиум. Предельным сроком представления письменных работ устанавливается 1 июля 1926 года.

4) Все соискатели, пробные письменные работы которых будут признаны удовлетворительными, допускаются к устному коллоквиуму в промежутки между 1 и 15 сентября, после чего правление имеет окончательное суждение о кандидате.

5) Поступающие на любое из отделений Института экзаменуются по философии и теоретической экономике; поступающие на отделения философское, экономическое, историческое и правовое сверх того экзаменуются по истории, а поступающие на правовое — и по теории права. Для поступающих на естественное отделение помимо экзамена по философии и экономике обязательен коллоквиум по вопросам теоретической естествознания. Для всех поступающих желательно знание одного или нескольких (европейских) языков.

6) От поступающих требуется основательное знакомство со следующими проблемами в объеме нижеуказанной литературы.

### 1. Проблемы по теоретической экономике.

(Для всех отделений).

1. Предмет и метод политической экономии. Основные направления в экономической науке. Важнейшие особенности экономической системы марксизма.

2. Теория ценности. Общее понятие об объективных и субъективных теориях ценности и о «политической экономии без ценности». Теория товарного фетишизма. Учение о форме ценности. Абстрактный труд. Обще-ственно-необходимый труд. Проблема «редукции». Производительный труд. Развитие форм ценности.

3. Деньги. Методологическая постановка проблемы. Функции денег. Металлические деньги. Монометаллизм и биметаллизм. Бумажные деньги, их виды. Их роль в государственном хозяйстве и в экономике. Денежная система СССР и важнейших капиталистических государств. Инфляция и связанные с ней проблемы. Кредитные деньги.

4. Теория прибавочной ценности. Учение о ценности рабочей силы. Масса и норма прибавочной ценности. Абсолютная и относительная прибавочная ценность. Борьба за рабочий день. Этапы фабричного законодательства и его современное состояние.

5. Относительная прибавочная ценность. Кооперация, мануфактура, машина. Проблема сверхприбыли (технической ренты). Производительность и интенсивность труда.

6. Общая характеристика простого и расширенного воспроизводства. Концентрация и централизация капитала.

7. Всеобщий закон капиталистического накопления. Органический состав капитала и его изменение. Абсолютное и относительное перенаселение. «Железный закон» заработной платы. Резервная армия. Форма относительного перенаселения. «Теория обнищания».

8. Заработная плата и ее формы. Экономическая роль профессиональных союзов и предпринимательских организаций.

9. «Первоначальное накопление». Промышленный переворот. Основные этапы в развитии капитализма в России.

10. Кругооборот капитала. Основной и оборотный капитал. Воспроизводство и обращение общественного капитала в целом. Проблема реализации прибавочной ценности. Теория рынка. Теория кризисов. Народники и марксисты по вопросу о реализации прибавочного продукта. Теория Р. Люксембург. Теория Туган-Барановского.

11. Учение о прибыли. Цена производства и издержки производства. Отклонения цен производства от цены. Закон тенденции нормы прибыли к понижению.

12. Торговая прибыль. Ссудный процент. Банковская прибыль. Роль и формы кредита. Основные функции банков. Акционерные общества. Дивиденд. Цена акций. Фондовая биржа и фиктивный капитал. Учредительская прибыль. Финансовый капитал.

13. Вертикальные, горизонтальные и «крестообразные объединения» в промышленности. Синдикат, трест, концерн, фузия. Роль тяжелой индустрии. Экономическая политика финансового капитала.

14. Мировое хозяйство. Экспорт товаров и экспорт капиталов. Торговый и платежный баланс. Вексельные курсы. Империализм, как новейший этап капитализма.

15. Теория ренты. Дифференциальная рента (1 и 2) и абсолютная рента.

16. Аграрный вопрос (для естественников необязательно).

Примечание. По 10 пункту для лиц, поступающих на философские, исторические и правовые отделения, достаточно общего знакомства с постановкой проблемы воспроизводства общественного капитала, а по 14 для них необязательно знание теории вексельного курса.

Для поступающих на естественное отделение по п. 3 достаточно общего знакомства с основными функциями денег и их видами. По п. 10 знакомство с проблемой в объеме, указанном для философского отделения. По п. 12 только общее понятие о финансовом капитале, акционерных обменах, роли банков. По п. 14 учение о балансе и вексельных курсах необязательно.

Литература по теоретической экономии.

- 1) «Нищета философии».
- 2) «К критике политической экономии»<sup>1)</sup>.
- 3) «Капитал» (I, II и III т.т.) (II том обязателен только для экономистов).
- 4) Гильердинг—«Финансовый капитал»<sup>2)</sup>.
- 5) Ленин—«Империализм».
- 6) Том III и IX (т. IX для естественников необязателен).
- 7) Бухарин—«Империализм и мировое хозяйство».
- 8) Бухарин—«Политическая экономия рантье»<sup>3)</sup>.
- 9) Каутский, К.—«Аграрный вопрос» (для естественников необязательно).
- 10) Знакомство с курсом какого-нибудь буржуазного экономиста (Туган-Барановского, Железнова и др.), а также знакомство с экономической географией и конкретной экономикой Союза<sup>4)</sup>.

## —2. По философии.

(Для всех отделений).

Проблемы.

1. Основные школы древне-греческой философии. (Особое внимание обратить на Демокрита, Эпикура и Лукреция)<sup>1)</sup>.
2. Номинализм и реализм средневековой философии.
3. Фр. Бэкон.
4. Декарт.
5. Гоббс.
6. Гассенди.
7. Локк.
8. Спиноза.
9. Беркли.
10. Юм.
11. Лейбниц.
12. Французский материализм XVIII в., его исторические корни и его особенности. Ламеттри, Дидро, Гельвеций, Гольбах.

- 1) Для философов, историков, правовиков и естественников обязательно введение и предисловие.
- 2) Для естественников необязателен.
- 3) Для правовиков и естественников необязателен.
- 4) Для естественников необязателен.
- 5) От естественников требуется только общее знакомство.

13. Кант.

14. Немецкий классический идеализм после Канта (до Гегеля).

15. Гегель.

16. Фейербах.

17. Марксизм, его исторические корни и основные этапы:

- а) Проблема философии с точки зрения марксизма.
- б) Диалектический материализм.
- в) Значение и роль материалистической диалектики.
- г) Теория познания марксизма.
- д) Учение об обществе.
- е) Теория общественных классов.
- ж) Учение о классовой борьбе.
- з) Теория диктатуры пролетариата.
- и) Учение о государстве.
- к) Учение о партии.
- л) Идеологии.
- м) Борьба философских школ в марксизме.

Литература по философии.

Энгельс: 1) «Л. Фейербах», 2) «Анти-Дюринг», 3) «Диалектика природы».

Маркс и Энгельс: 4) «Немецкая Идеология» (Л. Фейербах). Плеханов: 5) «Основные вопросы марксизма», 6) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», 7) «Очерки по истории материализма».

Ленин: 8) «Материализм и эмпириокритицизм», 9) «К вопросу о диалектике».

10) Аксельрод—«Философские очерки».

Деборин: 11) «Введение в философию диалектического материализма», 12) «Л. Фейербах».

13) Ланге—«История материализма» (т. I).

14) Гегфдинг—«История новейшей философии» от Канта.

15) Гомперц—«Греческие мыслители».

16) Вундт—«Введение в философию».

17) Бухарин—«Теория исторического материализма».

Примечание. №№ 3, 4, 10, 12, 14 обязательны лишь для философов и естественников. Для первых, кроме того, обязательны №№ 13 и 15.

## 3. По истории.

История России.

(Для всех отделений, кроме естественного).

- а) Проблемы и литература по русской истории.
  1. Торговый капитализм в России и крепостное хозяйство (Покровский—«Очерк истории русской культуры», I, ч. I, гл. 3 и 4).
  2. Спор с Троцким о происхождении русского самодержавия. (Троцкий—«1905», введение и прилагаемая, начиная с 2 изд., статья против Покровского) (Покровский—«Марксизм и особенности исторического развития России». Сборник статей. 1922—1925 г.г.).
  3. Внешняя политика эпохи крепостного хозяйства (Покровский—«Русская история», т. IV, стр. 30—44; его же—«Дипломатия и войны царской России XIX века»; статьи—«Русский империализм» и «Крымская война»; последняя может быть заменена ст. «Крымская война» в словаре Граната).

4. Декабристы (Покровский—«Русская история», т. III, гл. XIII) (Покровский—«Декабристы». Сборник статей. Изд. Централрхива).

5. Крестьянская реформа. («Очерк» Покровского, ч. I, гл. 5-я первого отдела; его же—«Крестьянская реформа» в «Истории России XIX века», изд. Граната).

6. Аграрный вопрос в России после реформы (Ленин—«Сочинения», т. IX).

7. Промышленное развитие пореформенной России (Ленин—«Сочинения», т. III, гл. V—VIII).

8. 1905 год (Ленин—«Сочинения», т.т. VI и VII; для фактической стороны, как минимум, Покровский—«Русская история в самом сжатом очерке», ч. III).

9. Столыпинщина и война (Покровский—«Очерки по истории революционного движения XIX и XX в.в.», лекции 7—10; его же—«Как началась война 1914 года». «Пролетарская Революция» № 7 (30) 1924 г.; его же—«Как русский империализм готовился к войне», «Большевик» 1924 г., № 9).

10. Февральская и Октябрьская революции (Троцкий—«Октябрьская революция»; Ленин—т.т. XIV, XV; Бухарин—«От империализма к диктатуре пролетариата»; «За ленинизм»—сборник статей).

Кроме того, для общего знакомства с русским историческим процессом предполагается знание «Русской истории в самом сжатом очерке» всех 3 частей.

#### История Запада.

(Для всех отделений, кроме естественного).

Знакомство с общим ходом исторического процесса на конкретном материале истории важнейших стран Западной Европы. Кроме того, необходимо основательное знание следующих вопросов:

1) Происхождение современного капитализма (Лукин—«Новая история»; «Капитал», т. I, гл. 24).

2) Классические примеры буржуазных революций (Лукин—«Новая история» (Конради—«История революции», ч. I. Энгельс—«Революция и контрреволюция в Германии»).

3) Первые шаги рабочего движения (чартизм) (Лукин—«Новая история»).

4) Основные направления в утопическом социализме (Лукин—«Новая история»).

5) Сорок восьмой год во Франции (Ренар—«Республика 48 года», отд. I; Маркс—«Классовая борьба во Франции», «18 брюмера»).

6) I Интернационал (Стеклов—«I Интернационал», ч. I; Рязанов—«Маркс и Энгельс»).

7) Парижская Коммуна (Маркс—«Гражданская война во Франции»; Лукин—«Парижская Коммуна»).

8) Основные типы рабочего движения и развития социализма в последней четверти XIX и первом десятилетии XX в.в. (Лукин—«Очерки по истории Германии»; Ротштейн—«Очерки по истории английского рабочего движения» (посл. часть; Каутский—«Республика и социализм во Франции»; Бер—«Всеобщая история социализма и классовой борьбы» (новейшее время).

9) II Интернационал (Зиновьев—«Война и кризис социализма»).

10) Колониальная политика империалистических государств (Лукин—«Очерки по истории Германии» (гл. «О внешней политике»); По-

кровский—«Как возникла мировая война»; Зиновьев—«Война и кризис социализма»).

11) Кризис международного социализма и зарождение Коминтерна. (Зиновьев—«Война и кризис социализма»; Зиновьев и Ленин—«Против течения»).

Помимо того, требуется общее знакомство с историей экономического развития по книге Кулишера: «Лекции по истории экономического быта» и знание фактической истории в объеме учебников Випера.

Для специалистов историков, кроме названных проблем, необходимо еще знакомство со следующими вопросами:

1) Теории экономического развития древнего мира (Петрушевский—«Очерки по истории средневекового общества и государства»; Тюменев—«Капитализм в древней Греции»).

2) История аграрных отношений в древней Греции и Риме. (Тюменев—«Капитализм в древней Греции»; Виппер—«Очерки по истории Римской империи»).

3) Происхождение и сущность феодализма (Петрушевский—«Очерки по истории средневекового общества и государства», «Восстание Уота Тейлора». Изд. 1914 г., гл. III и IV).

4) Городской строй и городские движения в средние века («Книга для чтения по истории средних веков», т. IV. Ст. Покровского—«Хозяйственная жизнь средних веков»; Каутский—«Предшественники новейшего социализма»).

5) Крестьянские войны (Каутский—«Предшественники новейшего социализма», исключая статью Бернштейна об английской революции; Энгельс—«Крестьянская война»).

6) Конституционное развитие Англии (Эсмен—«Основные начала государственного права», гл. II, § 1, гл. III—§ 1, гл. IV, стр. 83—91, гл. V—§ 1).

Кроме того, требуется знание книги Кареева: «История XX в.».

#### 4. По теории права и государства.

(Только для юристов).

Проблемы.

а) Право (общая часть).

1. Право и классовое общество. Право, как форма господства. Право, как форма, порождаемая разделением труда и обменом.

2. Обычай и право. Зачатки права у первобытных народов. Возникновение и эволюция института частной собственности.

3. Право и экономика. Базис и правовая надстройка. Право, как отношение. Право, как норма и право, как идеология.

4. Основные подразделения права (право в субъективном смысле и право в объективном смысле, право публичное и право частное и т. д.). Смысл этих подразделений и их критика с марксистской точки зрения.

5. Основные воззрения на право. Теория естественного права. Историческая школа. Теория Иеринга. Юридико-догматический позитивизм. Психологическая школа права. Классовая теория права.

6. Источники права в техническом смысле: обычай, закон, прецедент. Применение права. Истолкование норм права. Роль юриспруденции.

7. Государственное право РСФСР. Декларация прав трудящихся. Организация центральной власти. Система выборов. Союз Советских Республик и его органы.



8. Уголовное право и классовое общество. Советское государство и его уголовная политика. Наказания и меры социальной защиты. Отличительные черты нашего уголовного кодекса.

9. Гражданское право. Основные политические черты нашего Г. К. Ограничение «частно-правовой автономии». Защита интересов трудящихся и советского государства. Основные начала вещного, обязательственного и наследственного права по Г. К.

10. Трудовое право. Кодекс законов о труде. Порядок найма и привлечения к труду. Коллективные договоры. Профессиональные союзы и их роль. Социальное страхование.

11. Земельное право. Источники земельного права. Порядок землепользования. Субъекты землепользования. Двор.

12. Судостроительство и процесс. Система судебных учреждений. Процессуальность. Порядок обжалования. Основные начала нашего уголовного и гражданского процессуальных кодексов.

#### б) Государство.

1. Происхождение государства. Распад рядового общества. Государство и классы.

2. Государство, как организация классового господства.

3. Типы государства: античное государство, феодальное государство, сословная монархия, буржуазное государство.

4. Формы правления: абсолютизм, конституционная монархия, республика. Дуалистические и парламентарные государства.

5. Причины развития и упадка парламентаризма. Буржуазное государство в эпоху империализма.

6. Учение Маркса и Ленина о диктатуре пролетариата. Задачи пролетарской революции по отношению к буржуазному государству. Государство пролетариата. Теория анархистов.

7. Отмирание государства.

#### Литература по теории права и государства.

Ленин—«Государство и революция».

Энгельс—«Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Стучка—«Революционная роль права и государства».

Гурвич—«Основы Советской конституции».

Карнер—«Социальные функции правовых институтов».

Гойхбарг—«Хозяйственное право», т. I.

Гражданский Кодекс.

Пашуканис—«Общая теория права».

Кроме того, требуется основательное знакомство с конституциями СССР и РСФСР и основными кодексами, а также знакомство с курсом какого-нибудь из буржуазных государствоведов (напр., Гумплович, Дюринг, Орун, Острогорский) и с политическим строем западно-европейских государств (Англии, Франции, Германии, С.-А. С. Ш. и т. д.).

6) Все принятые в Институт товарищи, согласно постановлению ЦК от 30 марта 1921 г., снимаются со своей прежней работы и переводятся в Институт.

7) Слушатели обеспечиваются денежным довольствием и по возможности общежитием.

Правление Института Красной Профессуры.

### Условия приема на подготовительное отделение Института Красной Профессуры на 1926—27 учебный год.

§ 1. Подготовительное отделение имеет своей задачей подготовку к поступлению в ИКП. Срок пребывания на отделении устанавливается 2-летний.

§ 2. Подготовительное отделение имеет единую программу и на отделения не разбивается.

§ 3. На подготовительное отделение принимаются товарищи: 1) окончившие рабфак, 2) или имеющие соответствующую общеобразовательную подготовку и обладающие трехлетним партстажем и опытом массовой партработы (преимущественным правом пользуются рабочие и вышедшие из рабочей среды товарищи).

§ 4. Кандидаты на подготовительное отделение намечаются преимущественно рабфактов столицы и крупных центров и утверждаются соответствующими губернскими или окружными комитетами ВКП(б).

§ 5. Число поступающих на курсы определяется для каждого приема правлением ИКП, а разверстка Агитпропом ЦК ВКП(б).

§ 6. Товарищи, командируемые на подготовительное отделение, должны представить в правление ИКП (Остоженка, 53) не позднее 15 июля с. г.: 1) заявление с указанием адреса, 2) краткую автобиографию, 3) засвидетельствованный партстаж, 4) командировку учреждения, утвержденную губкомом или окружкомом, а также 5) удостоверение об окончании рабфака или другого учебного заведения, 6) копию воинского документа и 7) заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья за последние 2—3 года.

Представленные документы рассматриваются мандатной комиссией (при участии представителей ЦК ВКП(б)).

§ 7. Допущенные мандатной комиссией подвергаются испытанию в промежуток 1—15 сентября 1926 года.

§ 8. От поступающих на подготовительное отделение требуется знание следующей литературы:

#### I. По политической экономии:

Каутский—«Экономическое учение К. Маркса».

Михалевский—«Начальный курс политической экономии».

Ленин—«Империализм, как новейший этап капитализма».

Крицман—«Три года новой экономической политики».

Ленин—«Продialog».

#### II. По историческому материализму.

Бухарин—«Теория исторического материализма».

Энгельс—«Развитие социализма: от утопии к науке».

Маркс и Энгельс—«Коммунистический манифест с комментариями Рязанова».

#### III. По истории:

Покровский—«Русская история в самом сжатом очерке». Три части.

Лукин—«Робеспьер».

Стеклов—«Революция 1848 г. во Франции».

Маркс—«Гражданская война во Франции».

Степанов—«Парижская Коммуна».

Каутский—«Противоречия классовых интересов в 1789 г.».

Моносов—«Зарождение промышленного капитализма в Англии».

Арк.-Ан.—«Три типа рабочего движения» (об Интернационалах).

Кроме того, необходима общеобразовательная подготовка в объеме рабфака и знакомство с основными фактами из истории ВКП(б).  
§ 9. В отношении материального обеспечения слушатели подготовительного отделения приравниваются к действительным слушателям ИКП.

Правление Института Красной Професуры.

### Разверстка на подготовительное отделение Института Красной Професуры на 1926—27 учебный год.

#### Московские рабфаки:

Им. Бухарина—4, им. Покровского—5, ИНХ—5, МИИТ—2, МВТУ—2, Горной Академии—2, Рог.-Сим.—3, им. Ленина—3, им. Тимирязева—2, Межевого И-та—2, Ломоносов. И-та—2, Менделеевского И-та—2, им. Свердлова—4, 1-го Мая—2, Вхутемас—1, ТСХА—2.

#### Ленинградские рабфаки:

Гос. Ун-тета—4, Электр. И-та—2, И-та Инж. Пут. Сообщ.—2, Политехн. И-та—4, Технолог. И-та—2, Горного И-та—2, С.-Х. И-та—2, Педагог. И-та им. Герцена—3, Лесного И-та—2.

#### Провинциальные рабфаки:

Казанский—2, Саратовский—2, Иркутский—1, Черемховский—1, Донской—2, Уральский—3, Пермский—2, Тульский—2, Тверской—1, Костромской—1, Ив.-Вознесенский—2, Ярославский—2, Нижегородский—2, Воронежский—1, Вятский—1, Тамбовский—1, Владикавказский—2, Далеко-Восточный—1, Омский—1, Смоленский—1, Чувашский—1, Ульяновский—1, Брянский—2, Крымский—2, Томский—2.

ЦК ВКП(б)—5, Севзапбюро—3, МК—5, Уралобком—3, Сибиряком—5, Севкавказком—5, Ср.-Аз. Бюро—4, Крымобком—1, Немобком—1, Чувобком—1, Якутобком—1, Киробком—1, Башобком—1, Татобком—2, Вотобком—1, ЦК КП(б)У—5, ЦК Белоруссии—2, Калмобком—1, Комобком—1, Маробком—1, Бур.-Монг. Обком—1, Дагобком—1, Карельский Обк.—1, Казакобком—2, Закрайком—4, Дальвостобком—2.

Губкомам: Архангельскому—1, Астраханскому—1, Брянскому—1, Владимирскому—1, Вологодскому—1, Воронежскому—1, Вятскому—1, Гомельскому—1, Ив.-Вознесенскому—2, Калужскому—1, Костромскому—1, Курскому—1, Ленинградскому—4, Орловскому—1, Оренбургскому—1, Пензенскому—1, Рязанскому—1, Самарскому—2, Саратовскому—1, Нижегородскому—2, Сев.-Двинскому—1, Смоленскому—1, Сталинградскому—2, Тамбовскому—1, Тверскому—1, Тульскому—2, Ульяновскому—1, Ярославскому—1.

Комвузы: КУНЗ—2, КУТВ—2, Свердловский—2, Зиновьевский—3, ПУР—3.

Правление Института Красной Професуры.

Редактор: Редакционная коллегия.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

## „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“.

ИМЕЮТСЯ на СКЛАДЕ:

### „ЗА ЛИНИЮ ПАРТИИ“

(сборник статей).

#### СОДЕРЖАНИЕ:

Этапы дискуссии.	О приближении крестьянства к социализму.
О социализме в одной стране.	О раслоении деревни и кулацкой опасности.
Оценка изла.	Общие линии экномич. политики.
Общие линии экномич. политики.	Регулирование партсостава.
Госкапитализм и госпромышленность.	Разное.

Стр. 263. Цена 1 руб. 50 коп.

#### Н. Бухарин.

„Международная буржуазия и Карл Каутский—ее апостол“.

4-е изд. Цена 45 коп.

„ЦЕЗАРИЗМ ПОД МАСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ“.

Цена 30 коп.

„О РАБОРЕ и СЕЛЬКОРЕ“ (Статьи и речи).

Изд. 2-е. Цена 50 коп.

СБОРНИК СТАТЕЙ  
под ред. А. Слепнова.  
„БЫТ И МОЛОДЕЖЬ“  
Цена 40 коп.

Г. А. Шенгели.  
КАК ПИСАТЬ  
СТАТЬИ, СТИХИ и РАССКАЗЫ.  
Цена 70 коп.

Б. Семенов.  
КИТАЙ  
в БОРЬБЕ с ИМПЕРИАЛИЗМОМ.  
(Популярный очерк). Цена 30 коп.

Виктор Ваков.  
СЕМЬ ДНЕЙ,  
КОТОРЫЕ ПОТЯЯСЛИ ЯПОНИЮ.  
С предисловием А. Лозовского.  
Цена 50 коп.

Лариса Рейснер.  
В СТРАХЕ ГИНДЕНБУРГА.  
ОЧЕРКИ.  
Ц. 25 коп., в перепл. 35 коп.

А. Безыменский.  
ПУТИ-ДОРОГИ  
ПОЭМА.  
Цена 25 коп.

ЗАКАЗЫ и ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ в гл. КОНТОРУ

„ПРАВДЫ“

Москва, М. Чернаский пер., 3/4, и во все отделения изд-ва.